

ОКЛЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И ОБЩЕСТВЕННО — ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

2

КНИГА

ФЕВРАЛЬ

1952

II

ОКЛЯБРЬ

1952

ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ГОД ИЗДАНИЯ ХХІХ

2

КНИГА
ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА 1952

Здравствуй, университет!

Роман *

3

Хорошо с крепкого мороза войти в метро и при свете ярких огней спускаться на эскалаторе к поездам. Струя нагретого воздуха ударяет в лицо и будто смывает с него колючий холодок улицы.

Катя Жигарева держит перед собой ветку белой махровой сирени.

Сирень в феврале! Пассажиры, которых эскалатор вносит наверх, смотрят на цветы, на пунцовые круглые щеки девушки в помятом пальто с воротником из серого искусственного меха, на веселых принарядившихся друзей ее и улыбаются.

Взяв под руку Юру Кораблева, Катя не оборачивается к Тимофею, который тащит вместе с Галей обшитый белым полотном ящик с полугодовым запасом катиного домашнего варенья. Но она рассказывает Юре о Вологде очень громко, пожалуй, излишне громко...

И до чего же радостно Кате опять слиться возле университета с густым и пестрым студенческим потоком, который волнует ее шумными спорами об интегралах, о раскопках в Хорезме, встревоженным восклицанием о будущих зачетах и воодушевленным обсуждением последней новости: «Слышали, как досталось в «Литературке» нашему формалисту?!»

Ого, три минуты до звонка! Кто-то, тяжело дыша, перегнал Катю. За ним, размахивая портфелями, бросились еще несколько юношей. Марафонский бег вдоль Манежа начался. Поспей-ка наравне со всеми с чемоданом или ящиком в руках!

— Э-эй, наши! — окликнул своих товарищей Петр Гай, который, пританцовывая на снегу, ждал их у ворот. — С корабля на бал?

Мимо Петра бегут, раскинув руки, навстречу друг другу, обнимаются и целуются студентки, которые не видели подруг — подумать только! — целых две недели. Он прислушивается к их суматошным восклицаниям, к взволнованному тенорку какого-то юноши в кепке с наушниками: «Весь архив перерыли! А нашли!..» — и мрачнеет. О чем сам-то он, Петро Гай, сможет говорить теперь с таким энтузиазмом? Об особенностях яканья или аканья? О новооткрытом письме какого-то виршеплета, известного лишь двадцати литературоведам? Тьфу!..

Петр сменяет Галю и несет вместе с Тимофеем катино варенье. Ветровка, которой перевязан ящик, режет ему ладонь, и он недовольно ворчит.

— Не могли вещи домой забросить? Подумаешь, опоздали бы на первую лекцию.

— Да ведь первая-то — Гордеева! — удивленно перебивает его Катя и, полуобернувшись, подносит к красному от ветра лицу Петра ветку сирени.

Катя на ходу рассказывает Юре о том, что она начала изучать соотношение диалекта вологжан и литературного языка — для будущей семинарской работы.

— ...И на вечеринках записывала, — возбужденно говорит она, помогая Юре волочить ее увесистый чемодан в сером чехле. — и в клубе,

* Окончание (см. «Октябрь» № 1. 1952 г.).

и на базаре... Отступают диалекты, да!.. В самую глушь! Молодежь — та вообще!..

Петр со все возрастающим ожесточением шепчет Тимофею:

— Просадить полстипендии на букет! Свихнулся? Седина в бороде — бес в ребро?..

Разлившийся по двору студенческий поток внес первокурсников в тамбур главного входа. Тамбур — коричневый деревянный ящик, вложенный в большой каменный вестибюль. Проскочили в гардероб и — бегом к пологой широкой белой лестнице.

— Ой как! — невольно вырвалось у Кати. — Смотрите, — она показала вверх... Недосыгаемо высоким казался стеклянный купол, за которым голубело небо.

Посмотрев на купол, Тимофей Лосев вздохнул. Очень знакомое, сотни раз пережитое, но всегда свежее, яркое чувство взлета: когда колеса самолета отрываются от земли, и небо, далекое, волнующее, вдруг заголубеет и впереди тебя и над кабиной...

Видно, это ощущение при входе в университет испытывал не только он.

— А ну, на взлет! — шутливо воскликнул Юра и бросился наверх. — Петро, а ты куда?

Петр не ответил. Он шмыгнул — до звонка — в боковой, без окон, коридорчик: глотнуть газировки, а заодно избежать назойливых расспросов товарищей о жите-бытье. И — натолкнулся на преподавателя Рожнова.

— Ну как, фольклорист, дела? — Рожнов дружелюбно пожал ему руку.

— Ничего, Сергей Христофорович.

Рожнов положил туго набитый портфель на стол и поправил модный, с узким, будто веревочным, узлом галстук цвета вишневой настойки.

— С Тюхловским-то как живешь? В согласи? — прищурив один глаз, небрежно спросил Рожнов.

— Как кролик с удавом...

— Ах вот как! — Рожнов ухмыльнулся: «Наивно было ждать другого». — У кого же ты будешь в семинаре? У Рыбакова, наверное?

— Фольклор — по боку! Вернее, меня от фольклора... — Петр отвернулся.

— Чем же ты намерен заняться? — рассеянно спросил Рожнов, собираясь уходить.

— Может, языками. А?..

— Тэ-эк... — Рожнов взял со стула свой раздутый, похожий на бо-чок, портфель. — Подойди ко мне после лекций. Поговорим.

Нахмурившись, Рожнов быстрым шагом пошел дальше. «Чем ему, видите ли, заняться... — желчно подумал он. — А кто скажет, чем мне теперь самому заняться?.. А?!»

Смотря себе под ноги, он вяло поднимался по лестнице.

«Ну и окаянная ночька!..»

Рожнов был «ночной птицей»: работал только по ночам. Когда утихали за стенкой жужжание бормашины и вскрики пациентов его отца и засыпала, наконец, их квартира с полуоблупившейся эмалевой дощечкой на дверях: «Зубной врач Х. В. Рожновъ. Лѣчение и удаление безъ боли», он обычно усаживался за свой старинный, из резного дуба, рабочий стол.

Настроение у него было в эту ночь — хоть марши пой! Уже звонили ему из издательства университета — торопили с работой для очередного сборника. Значит, и там Гром рекламировал Рожнова как своего последователя! Что ж, он подкрепит успех своей новой научной работой, — да, настоящей работой марриста, которая покажет всем, что слово Рожнова никогда не расходится с делом...

Гром еще с неделю назад передал ему картонную папку с материалами студенческих диалектологических экспедиций: «На-ка, это для твоих крепких зубов».

Рожнов разобрал карандашные, с разными почерками заметки. Оказывается, в предуралье, в татарских и башкирских селах, нередко произносят фразы вроде этой: «молодой баба пришел». Гром прав: явное отражение матриархата. Клад, а не материалы. Только успевай обобщать...

К полуночи Рожнов уже прохаживался по комнате, хмурясь.

Прикурив папиросу от папиросы, он решительно сгреб все разложенные на столе бумаги и запихнул их в нижний ящик стола.

«Чепуха на постном масле! Галиматья!.. «Молодой баба пришел»... Да ведь ни в татарском, ни в башкирском род-то не различается! Ну, а малограмотные, те и по-русски шпарят в одном роде... Тэ-эк, малограмотность за матриархат принял. Нагородил семь верст до небес... Спасибо Грому, подсунул материал!»

Рожнову на какое-то мгновение стало жалко Амвросия Федосеевича: «Светлейшая голова... эх, да божьей коровке досталась... А не то... уж доказали бы мы с тобой, старик, что этот Гром не из тучи... Бросить бы в лицо Грому все эти бумажки — подавись! Растолковать бы студентам, как он использует их записи!..»

В полдень Рожнов позвонил в издательство. Пусть его извинят, — он не успеет написать работу к очередному сборнику. Увы, дела, педнагрузка...

После лекций Петр отыскал Рожнова в преподавательском гардеробе, когда тот надевал перед зеркалом высокую бровную шапку.

Они сели на скамейку около выхода.

— Значит, — сказал Рожнов Петру, — хочется живого дела... Тогда иди в языковедческие семинары. Ко мне. Или к Грому.

— Или к вам... — Петр заерзал на лавке, — ...или к кому?..

— К Грому! — Рожнов сказал это таким непоколебимо-уверенным тоном, что Петр растерялся.

— А вы... вы не шуткуете?

— Шу-чу? — Рожнов усмехнулся уголком рта. — Мы говорим о твоей судьбе, Петр... Шуткам не место.

— Да ведь Гром — маррист!..

— Ну и что?.. — Рожнов взглянул на Петра исподлобья. В его темных холодных глазах Петр не увидел ничего. Разве только где-то в прищуре глаз угадывалась неприязнь к нему, Петру.

— Марристы-то, — обалдело сказал Петр, думая, что здесь произошла какая-то досадная путаница, — ведь это те самые, которые... помни-те?.. «здоровы», — Петр постучал кулаком по отполированному дереву скамьи, — «здоровы» сравнивать.

Сергей Христофорович несколько секунд молча смотрел через плечо Гая на застекленную, занятую сразу двумя девушками будку телефона-автомата, по которой нетерпеливо стучали монетой: «Эй, надо совесть знать!»

Тонкие бескровные губы Рожнова нервно подергивались.

— Языкознание... да... не большак, по которому маршируют под духовой оркестр... Заруби это себе на носу... Разве обязательно итти за Громом, как слепому за поводырем?.. Принято думать...

Петра так изумил этот странный, по его мнению, для ученого оборот — «принято думать», что он невольно пропустил мимо ушей несколько медлительных, будто процеженных сквозь зубы, фраз Рожнова. «Ого!.. Значит, думаешь лишь то, что «принято думать»... Первооткрыватель...»

Петр взлохматил рукой волосы.

«Так что же теперь у вас принято думать?..»

— ...Из семинара Грома... — успокоясь, Сергей Христофорович откинулся на спинку скамейки, — прямой путь в аспирантуру... Учти... Прочтешь для начала одну-две наиболее доступные статьи Марра...

«Нужен мне Марр, как рыбке зонтик», — уныло подумал Петр.

И он нетерпеливо взмахнул рукой:

— Э, куда там... меня в аспирантуру. Без сопливых обойдутся... Вот у нас есть девушка одна, Катя Жигарева, ту... да... она уже сейчас строчит о каких-то диалектах.

«Без сопливых обойдутся», — Рожнов улыбнулся про себя. — Завидная безыскусственность... Мы так уже о себе не скажем... даже, если и уверимся в этом».

— Ты о девушках-то не беспокойся, хлопче, — с прежним дружелюбием сказал Рожнов, вставая и направляясь к выходу. — Сколько их у вас в группе?.. А что толку! Народят они всем коллективом тридцать три богатыря... а там внуки — вот и все науки.

Он взял Петра под руку.

На улице заметно потеплело, падал мокрый снег. Рожнов поскользнулся и еще крепче ухватился за Петра.

— Опять гололедица... Ну и погодка!..

— Только водку пить, — мрачно сказал Петр. Он протянул рубль краснолицей женщине в белом халате, которая кричала застуженным голосом: «...на палочке! В вафлях!», и едва не брякнулся на обледенелый снег.

— Устойчив... как корова на льду! — пробурчал он, откусывая «эскимо».

— Вроде меня.

Петр взглянул на разъезжавшиеся в разные стороны бурки Рожнова:

— Ну, до вас мне далеко...

Они медленно, бок о бок, шли вдоль университета.

— Что ты все о девушках заладил, — с усмешкой, самоуверенным тоном возражал Рожнов. — Диплом им — как приданое. Уж я-то знаю!.. И я их не осуждаю, нет... Прикинь-ка на ладони хотя бы две семьи, хлопче. Как живут Гром и Тюхловский?

— Они мне не исповедуются.

— Посуди сам. Женились они на своих дипломницах. У Нины Гром сейчас и горшки, и аспирантура. Некогда сыну нос вытереть. Пришлось ей мать вызывать из деревни. А та, вторая жена Тюхловского, не то Валя, не то Ляля, живет как у Христа за пазухой. По комиссиям бегают.

— Жи-итуха...

Рожнов, увлеченный своим рассказом, не расслышал иронии в голосе Петра.

— А сами мужья?.. Кончились лекции. Гром, как ошалелый, бегают по факультету: «Не видели Нины?..» А Тюхловский звонит домой: «Птенец, я выехал!» — и там сразу же открывается кран в ванне... Вот и скажи мне, хлопче, кто тут живет ущербной жизнью?.. Чур, без демагогии!

На углу, возле стеклянных дверей кафе, Рожнов остановился.

— Зайдем со мной, опрокинем по маленькой.

За огромным зеркальным окном висела белая картонная табличка: «Сегодня пельмени».

Проглотив слюну, Петр кивнул в сторону таблички:

— Не люблю пельменей!

И он изо всех сил побежал в студенческую столовку.

Во дворе университета, на высоком проводе, сидел, нахохлившись, воробей. Когда Петр протопал мимо него, он слетел вниз, на грязный снег, оставив на металлическом проводе примерзший серый пушок.

— Каков ты без перьев-то, — с ожесточением думал Петр, рывком открывая дверь столовой. — У!..

Ударило в нос влажным паром.

— Ка-тя! — Петр разглядел ее под низкими сводами зала, у окошка фанерной кассы. — Выбей!.. Что себе, то и мне!

Они уселись за стол, подвернув с двух сторон клеенку. Отщипывая по кусочку хлеб, Петр спросил:

— Катюшка, кому ты хочешь показать свои вологодские писульки?

— Не знаю еще, — ответила Катя, снимая с подноса официантки гарелку со щами. — Не декану же!.. Дай-ка перцу! Амвросий Федосеевич болен... К Грому?.. Или к Рожнову?..

Доедая остатки хлеба, Петр, к ужасу Кати, бухнул в свои «суточные щи» столовую ложку горчицы:

— Добре! Никаких посторонних запахов!.. Только к Рожнову ты, Катенька, не иди.

— Что за новость? — возразила Катя, поднося ложку ко рту. — По-моему, у него наиболее четкий взгляд на все эти... проблемы языкознания.

— Не знаю, на все ли... Но на Марра... — Петр выловил вареную морковь, которую он терпеть не мог, — на Марра четче его взгляда не бывает: годится — молиться, не годится — горшки накрывать.

Освещая улицу матовым светом обледенелых окон, к Сокольникам подъехал трамвай. Прижатые пассажирами к окну, они стояли на передней площадке прицепа.

Катя держала над головой завернутые в газету цветы и вспоминала свои горькие мысли в вагоне поезда: «Влюбляются все какие-то богом обиженные... то этот придурок с математического, то юрист краснорожий. А Тимофей!..» И теперь она счастливо улыбалась.

Петр надышал на слегка дребезжавшем стекле глазок, прижался лбом к раме в мохнатой снежной коросте.

— Простудись! — Катя оттянула его за плечо. — Надень шапку как следует... «Как это его угораздило дать стрекача?..»

Ей так хочется расспросить об этом Петра, но ведь обещала же она Тимофею: «Ни-ни!..»

«Обидно... И чего же я так холодно поздоровалась на перроне с Тимошей?.. Что же он подумает? Вот натворила!»

А попробуй-ка разберись в своих чувствах после первого дня занятий, в студенческом общежитии, когда у каждого и новостей и домашних сладостей — на неделю! Как минимум. Прибежали две соседки в новых ярких свитерах и лыжных брюках. Раскачиваясь в такт мелодии, как на качелях, дважды исполнили дрожащими голосами студенческую песню:

...ничего, что вина-а маловато...

— Безобразие! — Набросив на плечи пальто, Катя всердцах хлопнула дверью и вышла в коридор. — Что скажут о нас люди? Пьют эти студенты, как сапожники. Студенческая песня — так обязательно «налей», «чокнемся», да «посуда мала»?.. Что они, поэты, о студенческих годах вспоминают только за рюмкой, что ли?!

Катя выбежала в сырую темноту квадратного двора. Хоть здесь-то спокойно!

Где-то рядом звенела капель. Найди-ка в такой вечер свободную скамейку! И вообще, зачем их придумали такими длинными? Все равно на каждой из них сидят только двое.

Отвернув голову от скамеек к ярко освещенным окнам, Катя спешила по асфальтовой дорожке. С первой лавочки донесся вспугнутый девичий шопоток: «Кого-то несет!..»

«Кажется, крайняя свободна? — Катя, увязая в рыхлом снегу, ускорила шаг. — Вот досада!» И тут темнела чья-то сгорбленная, будто старушечья, фигура.

Сидели бы здесь двое, Катя, не задумываясь, прошла бы мимо. Да и какой бессовестный примостится на такой скамейке хотя бы на краешке!

«Придут к ней, тут же уйду», — решила Катя.

Повернулась спиной к безмолвной соседке, отыскала глазами свое широкое окно на третьем этаже, задернутое марлей...

«И чего веселятся?..»

Нет, Катя была решительно недовольна собой. Показалось, что Тимофей разлюбил ее, и она готова была уже смириться с этим, хныкала: «Ну и пусть!»

«Ра-астяпша... Так и во всем будешь?.. Чуть что — в слезы?.. А если мне про мои записи скажут то же самое, что Тюхловский о тетрадках Гая? Тут же выброшу?»

— Как бы не так! — вдруг сказала она вслух.

И покосилась на соседку. Не слыхала ли? Но сгорбившаяся девушка даже не шелохнулась. Она без пальто? Да кто это? Не знаком ли ей этот чуть горбоносый профиль и островерхая тубетейка, похожая в темноте на шлем?

— Зефира? — неуверенно прошептала Катя. — Ты?.. Зефирочка! — Катя подскочила к молчавшей подруге. — Ты что?

Черные слегка раскосые глаза Зефиры неподвижно смотрели перед собой.

Катя присела на лавку. Обхватив Зефиру за плечи, испугалась. Не только пальто, но даже вязаной кофточки не надела та, выбегая на улицу. Темная блузка ее была влажной от капель, которые падали и падали на спину Зефиры с обледенелых ветвей.

— Зефирочка, подружка моя! Ну что с тобой?

Зефира даже не оглянулась. Смуглое лицо ее было сейчас почти что черным.

Темное, худощавое, казалось, окостеневшее лицо Зефиры вздрогнуло. Прозвучал сильный и резкий звук. Но Катя не понимала по-казахски.

— Зефирочка! Ну что же?..

— Никому нельзя верить. Уй, никому! — вдруг тихо и жестко произнесла Зефира.

— Конечно же...

Но Катя все-таки была решительно не согласна с Зефирой и настоятельно переспросила ее:

— Почему — никому?.. А?

Зефира не сразу произнесла что-то жесткими, сведенными от холода губами. Такого страшного отчаяния, которое прозвучало сейчас в ее хриловатом голосе, Катя и слыхом-то не слыхивала за всю свою, казалось, полную огорчений девичью жизнь.

— Что ты сказала? — испуганно переспросила Катя.

— Мухтар...

— Ну?

— ...хочет жениться!

И, приложив к набухшим глазам платок, который лежал у нее на коленях, она заплакала.

Мухтар хочет жениться?! Студент из Алма-Аты, с которым Зефира просидела за одной партой почти все школьные годы? Тот, который чуть ли не ежедневно присылал ей объемистые конверты, исписанные снаружи?

И какие это были письма! Зефира как-то имела неосторожность показать одно из них Гале. Галя целый день мешала Кате слушать лекции своим, казалось, ироническим, а на самом деле завистливым шопотом:

«...И сравнивает он ее — каково! — то с чинарой, то с белым лебедем, то с каким-то кара-тургаем!..»

И вдруг...

— Зефирочка, — едва не всплакнув от жалости к подруге, спросила Катя, — а на ком?.. Может, она какая-нибудь... такая...

— Да на мне! — нервно воскликнула Зефира и заплакала еще громче.

Катя от неожиданности вскочила на ноги.

— Чего же ты реवेशь, дуреха этакая?!

Зефира раскачивалась из стороны в сторону и горестно и хрипло тянула свое однообразное:

— А-а-а!..

— Да ты не акай, а говори путем! — Катя рассердилась.

Зефира вытерла платком лицо и, всхлипывая, рассказала:

— Техникум он окончил... месяц назад. На завод, в Джебказган, послали... Я в Алма-Ату приехала, он мне по междугороднему звонит: «Женимся?»

— А ты?

— Ну, и я... А он: документы из Москвы запроси, здесь в Джебказгане поступишь... Я ему: там же нет филологического факультета!.. А он: — уй, я не могу!.. — а тебе не все равно, говорит, филологический или акробатический?

— То есть как это все равно?

— Вот-вот... и я ему то же... А он: что же ты — выйдешь замуж и работать будешь?.. Вот еще!

Катя так и ахнула:

— Ка-аков мерзавец!

— Это не он!.. — поспешно возразила Зефира. — Это у него бабка — такая ведьма, такая ведьма!.. А он наслушался...

Не договорив, Зефира прижалась распухшим от слез лицом к теплему плечу Кати:

— У меня мог быть от него ребенок.

— Ребенок?! — ужаснулась Катя.

— Что мне делать? — спорбившись, с отчаянием твердила Зефира. — Ведь я... я его люблю!.. Ему нельзя верить — никому нельзя верить!..

«А Тимоше можно», — неожиданно подумала Катя и внутренне застыдилась от этой откровенно счастливой мысли.

Увязая в снегу, Зефира послушно тащилась за Катей к подъезду:

— Что же мне делать, Катюшечка, Катюшечка-джан?!

4

В узком коридоре факультета растянулась вдоль стены длинная студенческая очередь. Она выстраивается так каждый месяц, как только по аудиториям пронесется слух: «Дают!» В маленьком окошке, которое в такие дни то и дело закупоривается головами нетерпеливых студентов, рыхлый мужчина в синей бархатной толстовке выдает стипендию. Он отсчитывает деньги так, будто совершает священный обряд: прижимая к столу бумажки дрожащими от старости руками, шелчет выписанные суммы, как заклинания. Повторяя фамилии, кассир добродушно ворчит, но по всему видно, что он рад за студентов не меньше их самих.

Обряд совершается медленно. Студенты читают, заучивают латинскиеклонения, спорят о новых песнях, острят по всякому поводу и без повода.

Лиля и Катя сидели на одном стуле.

— Катя, — шепнула Лиля, — говорят, ты была на кафедре языка, когда выступали Гром и Сергей. В чем там суть? — Лиля подняла глаза на Катю. — Меня уже раз пять спрашивали: за Марра я или нет?

— Что же ты отвечаешь?

— Я? Я только глубокомысленно улыбаюсь. Не могу же я, как попугай, вторить Сережке.

— И я до сих пор не решила,— Катя вздохнула.— Когда сидела на кафедре, чувствовала только одно: какое же я ничтожество! Не могу понять самых простых вещей.

Видя, что Лиля не удовлетворена ее рассказом, она добавила вполголоса:

— Марр борется с буржуазным языкознанием, Лиля, с этим... как он называется... методом... да, сравнительным! Это, наверное, хорошо. Но, знаешь, почему-то слишком много умных людей против Марра. Тут что-то не то...

Лингвистическая тема была полностью исчерпана, и Катя, помолчав, спросила:

— Лилечка! Сходим сегодня в Третьяковку?

Катя Жигарева очень привязалась к Лиле. Лиля была ленинградкой, а Кате никогда не забыть эшелоны изможденных, но спокойных, мужественных ленинградцев, которых вывозили через Вологду из блоkirованного города. Ту голодную зиму провел в Ленинграде отчим Кати, старый животновод. Полгода отлеживался дома, в Вологде, а потом опять повез продовольствие через Ладогу. Если бы Лиля знала, что значит для Кати слово «Ленинград»!

Катя охотно прислушивалась к тому, что рассказывала Лиля о музеях, выставках, концертах, и сама спешила все обойти, посмотреть, узнать. Однажды Лиля вызвалась пойти с Катей в Третьяковскую галерею. «Вот где я удивлю тебя, удивленные глаза!» — воскликнула Лиля.

Но в музее не Лиля рассказывала Кате, а Катюша объясняла подруге. Она обратила внимание Лили и на насыщенные светом, но сдержанные тона красок «Девушки с персиками» Серова, и на глубокое, историческое содержание суриковской «Боярыни Морозовой». «Никогда не думала,— говорила потом Лиля,— из захолустья, из семьи кружевниц... и такое тонкое чувство прекрасного. Я и то увидела в картинах куда больше, чем прежде...»

— Лилечка! Я совсем забыла. Как же ты пойдешь со мной в Третьяковку? Ты же сегодня ждешь Сергея...

— Ну, я оставлю ему записку.

— Как? Ты же его сама приглашала,— удивилась Катя.

— Он у меня не обидчивый,— Лиля улыбнулась.

— Не обидчивый... Значит, он тебя любит,— Катя вздохнула.

— Наверно.

— А ты его... нехорошо это!

— Мне иногда бывает с ним интересно. Ой-ой! — Лиля ухватилась за свой стул, который едва не опрокинули напивавшие сзади студенты.— Вы что, в своем уме, ребята?

Очередь продвинулась. Девушки переставили стул вперед и снова уселись.

— Я на твоём месте, Лиля, все-таки не морочила бы ему голову,— продолжила Катя.— Сказала бы ему...

— Он тебе нравится?

— Сергей Христофорович? Такой, пожалуй, и моей маме не понравится.

— Так ты для мамы выбираешь друзей? — насмешливо заметила Лиля.

— Мне кажется, я не могла бы полюбить человека, который не сможет стать ей другом.

В нескольких шагах от девушек Петр Гай, прислонясь стриженным затылком к холодной стене, размышлял: «Отдам долги. Починю ботин-

ки. Остается... остается сто шестьдесят девять рублей. Калоши надо купить. Не пропадать же ордеру! Какой только у матери размер?»

Рядом с Петром засмеялись девушки, и он обернулся к ним. Катя Жигарева предлагала ввести в систему склонений новый падеж — стойтельный, отвечающий на вопрос: «за кем, за чем стоишь?»

Оглушительнее всех, запрокинув голову, опираясь рукой о стену, чтобы не упасть, хохотал Иво Бакош. Глядя на него, все заулыбались.

Услышав голос Бакоша, несколько студентов протолкались к нему, стали обнимать.

Иво Бакош принимал поздравления третью неделю: у него родился сын, и на факультете все — и студенты и профессора — знали о том, что сынишка удался на славу — двенадцатифунтовым.

Иво не спал, наверное, несколько суток, но, возбужденный, он даже не присаживался.

— Дали телеграмму отцу, в Братиславу.— Иво дважды повторил это обступившим его студентам.— Срочную: «Родили москвича!»

Иво называл своего первенца не иначе, как «мой москвич», шумно радовался тому, что сын его сможет всю жизнь гордиться: родился в Москве!..

— Жену? Да, уже выписали.— Иво едва успевал ствечать: казалось, эти веселые юноши и девушки только затем и заняли очередь, чтобы задавать Иво вопросы.

— А кто у тебя отец, Иво?

— Столяр.

— Расскажи, Иво, как ты воевал в Белых Карпатах. Говорят, ты вместе с женой издавал партизанскую газету...

Галя стояла у противоположной стены с листочком и карандашом в руках: собирала деньги на подарок семейству Бакоша.

Испанка Селестина раскрыла свою кожаную сумочку и протянула Гале две пятерки. Наклонив к Гале жгуче-черную, коротко подстриженную сзади, «под мальчишку», голову, она шепнула озорно:

— Ой, мне тоже захотелось москвича!..

Девушки рассмеялись. Галя, полузакрыв глаза, сказала с чувством:

— Ну, а мне хотя бы...

И умолкла. Она занесла Селестину в свой длинный списочек и подошла к Петру. Петр топтался еще довольно далеко от маленького окошка, из которого лился яркий электрический свет.

— Много собрала? — спросил ее Петр.

— Шестьсот двадцать... пока.

— Сейчас и я подкину пятерочку.

— Ты не давай.

Петр закусил губу, и Галя торопливо добавила:

— Петенька, кто на одну стипендию живет — ни к чему!.. Обойдемся.

— Вот еще!.. Румяный! — Петр окликнул Юру Кораблева, который, получив стипендию, протягивал Гале сложенную вдвое десятирублевую бумажку. — Дай-ка ей и за меня. Столько же. Получу — верну.

И, обиженный, долго ворчал про себя:

— Что у человека... только и света, что в этом окошке?

Из учебной части быстро вышел заместитель декана Борис Агафонович.

— Ш-ш-ш! — зашипели в коридоре.

Он прошел вдоль очереди, почти никого не смущая своей обычной сердитой и напряженной торопливостью. Напускная суровость заместителя декана пугала только тех, у кого совесть была не совсем чиста.

«Подальше от царей, голова целей», — сказал себе Петр Гай, прячась за чью-то спину. Он самовольно ушел с занятия по физкультуре и потому не рад был появлению Бориса Агафоновича.

Борис Агафонович привычным взглядом сразу же определил, кто из студентов его побавивается. Не раздумывая, подошел к Петру Гаю.

— Почему вы не на занятиях?

— Сейчас у нас физкультура. А деньги нужны позарез,— Петр провел краем ладони по своему горлу.

Борис Агафонович критически оглядел Гая, его старую, лоснящуюся гимнастерку, узкие зеленые брюки из легкой материи. Некоторое время колебался, но все же дал волю гневу:

— Если вы сейчас же не пойдете на занятия,— грозно заключил он,— я вынесу вам выговор.

— Ну и выносите! — всердцах воскликнул Гай.— Никуда я не уйду.

Борис Агафонович заглянул в учебную часть, распорядился записать студенту первого курса Гаю строгий выговор и направился в комнату профкома.

— Покажите-ка мне списочек на ордера,— попросил он.— Так...— просматривал он фамилии.— Этому правильно, этой тоже надо, а зачем аспиранту Рыбакову ордер на ботинки? Ботинки надо дать Гаю.

— Гаю уже дали ордер на калоши.

— И на ботинки тоже. А Рыбакову вообще не давать.

— Помилуйте! — всплеснула руками маленькая черноволосая женщина — председатель профкома факультета.— Рыбаков — почти что кандидат филологических наук.

— Ах так! Почти что кандидат? Так он и по коммерческой цене купит...— Борис Агафонович еще что-то громко говорил маленькой женщине, которая привыкла все терпеливо выслушивать. Его сухой, дребезжащий голос раздавался даже в коридоре.

Петр Гай просунул голову в комнату профкома, увидел Бориса Агафоновича, размахивавшего руками, и зло, с силой захлопнул дверь: «И здесь кричишь, бюрократ проклятый!»

Он широкими шагами прошел к кассе. Но его очередь еще не подошла, и, потоптавшись, Гай заглянул в профессорскую. Там, около окна, спиной к Петру, стоял высокий мужчина в коричневой куртке. Петр сразу смягчился. Усмехнулся над собой:

— Аглицкий лорд... положим, бывший...

— Ты о ком? — удивленно спросил Юра Кораблев, который ждал здесь Катю Жигареву. Чуть приоткрыв дверь профессорской, Юра заглянул туда.

— Никого там нет... такого... — шопотом возразил он Петру. — Один Рыбаков у окна.

— Я о нем и говорю. «Забрать бы у него тетрадки...»

— О нем? — Юра Кораблев обошел Петра сбоку и изумленно посмотрел на него.

— У тебя вот тут все дома? — Юра пальцем постучал себе полбу.

— А что?

— Да ты знаешь, что за человек Рыбаков?

— Знаю, румяный, знаю.

— Ничего ты не знаешь! Это ясно, как дважды два! Рыбаков вместе с моим отцом на одном эвакуированном заводе работал. Отец и сейчас его добрым словом вспоминает.

— Рыбаков? На заводе?

— Конечно!

Петр вошел и плотно прикрыл за собой дверь профессорской.

— Василий Иванович, дайте, пожалуйста, мои тетрадки.

— Я еще не прочитал!..

— Ну, и к лучшему. Их ценность мне хо-ро-шо известна.

— Нет, что вы, товарищ Гай! — Рыбаков подошел к нему.— Я обязательно их просмотрю. Вы меня извините, пожалуйста. Замучился со своей диссертацией.

— Тем более, не стоит затрудняться, Василий Иванович. Отдадите? Дobre?

— С собой у меня их нет.'

— Если разрешите, я к вам приеду вечером.

— Нет-нет, зачем же, я вам сам привезу...

Петр начал возражать, но его неожиданно перебили:

— Разрешите пройти, молодой человек!

Глядя на размахивающего руками Петра, профессор Гордеев задержался в дверях.

— Ох, извините! — и Петр отступил в коридор.

В профессорской Гордеев подошел к окну, где стоял Рыбаков.

— Василий Иванович,— заговорил Гордеев взволнованно. Рыбаков по-солдатски «кру-гом», на каблуках повернулся к нему.— Как хорошо, что вы еще не ушли!.. Вы не читали главу докторской диссертации Тюхловского «О происхождении сюжетов двух песен»? Диссертация в литературном кабинете...

— Нет еще,— сказал встревоженный аспирант.— Понимаете, завяз со своей...

— Какой конфуз! — Сергей Викентьевич всплеснул руками.— В своих лекциях Тюхловский объяснил особенности песен влиянием русского фольклора, а в этой главе доказывает сравнительным методом их германское происхождение. Я сейчас встретил Тюхловского. И он... Подождите-ка, я сяду... Он мне сказал.. подумайте! На лекциях, мол, я преследовал учебно-воспитательные цели, а здесь нужен научный объективизм.

— Вот те и на...— растерянно произнес Рыбаков, присаживаясь.

— Помилуйте, о каком научном объективизме вы говорите? — спрашиваю я Ростислава Владимировича.— Ведь это веселовщина чистейшей воды, от которой вы отказались только два месяца назад! У меня же вот тут,— Гордеев порывистым движением расстегнул никелированные замки своего портфеля,— лежит стенограмма заседания ученого совета. Что говорил Тюхловский? Вот,— перелистав несколько страниц, Гордеев поднес к глазам Рыбакова лист с густо напечатанным на машинке текстом.— Полюбуйтесь!

Рыбаков и без того хорошо помнил, как вел себя тогда его руководитель профессор Тюхловский,— вторая, уже более широкая дискуссия о Веселовском, врезалась ему в память особенно прочно. Но все же он послушно прочел:

«Я понял сейчас вредный политический смысл защиты Веселовского — идеалиста, врага революционной демократии, сводившего изучение литературы к анализу мертвых схем, к сопоставлению кочующих сюжетов и образов, игнорировавшего национальное и конкретное историческое содержание фольклора и письменной литературы...»

— А главное — смотрите, что он обещал! — перевернув страницу, Гордеев показал пальцем на текст стенограммы.— Нет, нет, дочитайте!

«Всеми силами буду бороться с буржуазно-либеральным космополитизмом в науке».

— Сергей Викентьевич,— Рыбаков поднял голову от стенограммы.— Если я не ошибаюсь, диссертацию Тюхловский написал еще во время войны. А защитил ее и получил звание доктора филологических наук, как известно, в сорок пятом...

— Какое это имеет значение?! — огорчился Сергей Викентьевич непонятливостью аспиранта. — Рекомендовал-то он ее вам, аспирантам, как учебное пособие, сейчас.

— Неужели Ростислав Владимирович не понимает, что его концепция...

— Дело даже не в концепции,— перебил Гордеев.— Не так уж, в конце концов, важно, что думает сам Тюхловский. Не по его пути идет наша наука. Я — о молодежи,— Сергей Викентьевич показал на дверь, за которой шумела студенческая очередь.— Мы спорим-то друг с другом не под стеклянным колпаком. Они к каждому нашему слову прислушиваются... Нет, какой позор! — Гордеев качал головой.— В литературном кабинете теперь лежат рядышком стенограммы лекций и диссертация Тюхловского. Так сказать, перлы принципиальности. Понимаете, дорогой!.. Василий Иванович,— Гордеев заговорил просящим тоном,— сходите, пожалуйста, в литературный кабинет, возьмите его диссертацию на мое имя. Неровен час, заглянут студенты в эти тюхловские откровения.

В коридоре прозвонил длинный, настойчивый звонок. Профессор Гордеев прикурил, сделал несколько торопливых затяжек и отправился на лекцию.

Идя в литературный кабинет, Рыбаков думал о Тюхловском. Он знал о многих личных недостатках Ростислава Владимировича, но уважал его. Все восемь лет учебы считал себя его учеником. Правда, в споре о Веселовском Рыбаков с самого начала поддерживал Гордеева. Но это уже казалось ему пройденным этапом: он был уверен, что Тюхловский понял наконец, к чему ведет защита веселовщины сейчас.

«В чем же тут дело? Блестящий эрудит, талантливый полемист. Умница. И в то же время... Интересно, как это обосновывает сам Ростислав Владимирович? Что это? Небрежность? Ошибка? Линия поведения?.. Не может быть,— поспешил оправдать Василий Рыбаков Тюхловского, вспоминая его клятвы на заседании ученого совета.— Разве он не советский человек?»

Войдя в литературный кабинет, Рыбаков увидел, что первокурсница Лиля Крылова держит в руках диссертацию Тюхловского и уже протягивает библиотекарю свой студенческий билет. Услышав, что труд Тюхловского срочно понадобился профессору Гордееву, Лиля смущенно извинилась:

— Ай-ай, что я могла натворить...

«Нет, она даже не подозревает, что могла она натворить»,— Рыбаков облегченно вздохнул, выходя из литературного кабинета.

Недаром, видно, парторг Иван Матвеевич Жаков просил его внимательно перечитать учебный курс Тюхловского. «Действительно, может быть, не только в его старой диссертации эти опасные ошибки. А я, к стыду своему, до сих пор не взялся...»

Василий Рыбаков, сидя у окна профессорской, перелистывал диссертацию Тюхловского. Он вынул из кармана куртки серебряные часы, пристегнутые кожаным ремешком,— его научный руководитель, профессор Тюхловский почему-то запаздывал.

На ходу разматывая свой шарф, издали улыбаясь Рыбакову, в дверях показался Ростислав Владимирович. Крупный, высокий, он по привычке пригнул голову, хотя и не доставал до притолоки.

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Василий Иванович,— подчеркнуто дружелюбно сказал Тюхловский, дважды кивнув аспиранту.— Ох, рука отнялась! — Ростислав Владимирович положил на стол туго набитую картонную папку.— Ни много, ни мало четыреста страниц. А язычок-то у вас тяжеловат...

Тюхловский не сажился.

— Мою диссертацию взяли в литкабинете? — Тюхловский удовлетворенно взглянул на коленкорную папку в руках Рыбакова.— Полезно! Она отчасти устарела, но там есть кое-какие важные для вас отправные положения.— Тюхловский кашлянул и, взглянув в дерзкие мальчишеские глаза Рыбакова, в которых, кажется, промелькнула усмешка, заторопился:

— Вы меня, Василий Иванович, извините. Сегодня я очень занят. Потолкуем завтра, в это же время. Вы не против? В двух словах: надеялся я на вас, и не напрасно. Порадовали вы меня. Написано умно и свежо. Кое с чем... гм, со многим... я принципиально не согласен,— как бы вскользь сказал Тюхловский.— Об этом пометил на полях. Более обстоятельные пометки — на отдельных листочках. Вложил в рукопись. Смотрите, не потеряйте их.— И, не дождавшись ответа, он вышел.

Тяжелая дверь закрылась. Василий Иванович рассеянно посмотрел на титульный лист: «Аспирант Рыбаков В. И. Проблема взаимосвязи художественной литературы и народного творчества в период Великой Отечественной войны. Кандидатская диссертация». Перелистал. Пометок профессора было не очень много.

«О чем вставка? — он взял листочек, вложенный Тюхловским между страницами рукописи.— Неужели я сделал неверный анализ этой песни?»

Есть на Волге утес, он Отчизне принес
Две победы, бессмертье и славу...

Зимой сорок третьего года Рыбаков впервые услышал эти слова от солдат-сталинградцев, проходивших через село, в которое он вернулся учительствовать. Морозной метельной ночью они грелись рядом с наспех выкопанной землянкой, где ютились жители, недавно освобожденные от эсэсовцев. Пламя солдатского костра выхватывало из мрака торчавшие над землей печные трубы, похожие на надгробные памятники. Дымились железные котелки с кашей... Солдаты лежали на снегу, попыхивали цыгарками.

Гармонист заиграл знакомое, мощное, раздольное — «Есть на Волге утес», и один солдат, приподымаясь на локте, застуженным голосом предложил:

— Споем, ребята, ту, что покойный лейтенант запевал?

Лица этого солдата Рыбаков не видел, видел только глаза, в которых дрожал красный отблеск костра, да еще забинтованную руку. Не дожидаясь ответа, солдат хрипло, с натугой затынул, и его товарищи сразу подхватили песню.

Сталинградский утес вместе с Родиной рос,
Вместе с Родиной жил и трудился.
Вместе выдержал бой и, как воин-герой,
Он победы великой добился...

Не успел узнать от солдат Василий Рыбаков, написал ли новые слова покойный лейтенант, о котором вспомнил раненый запевала, или вот так, где-нибудь в заметаемых снегом окопах, по одному слову, по строчке напели свои думы люди, которые и не подозревали, что они — герои.

— Запиши, запиши, учитель,— одобрительно сказал кто-то из темноты, заметив, как Рыбаков, подвинувшись к пламени, записывает строчки этой песни на обрывке газеты.— Погиб человек. А песня его, вишь, живет — плывет по-над Волгой...

«Что же думает об этом Ростислав Владимирович? — Рыбаков взял в руки листочек.— Так... «По поводу варианта песни «Есть на Волге утес».

Замечания были написаны размашисто, наскоро.

«Необходимо сопоставить варианты этой песни, созданные в прошлом, и установить в каждом доминантную функцию слова «утес». Ваш анализ этого варианта не раскрывает главного: слово «утес» здесь несет структуральную функцию. Необходимо привлечь сюжеты западноевропейских, а также чешских, сербских и других песен, где структуральную функцию «утеса» несут «камень» и прочие символы».

«Что за ахинея! — еще не веря тому, что правильно понял мысль Тюхловского, ругнулся Рыбаков. — Ведь если то же самое сказать просто, без шелухи «ученой», по-русски: «Слово «утес» — канцелярская скрепка, сцепляет строфы песни...» Нет, по-русски этого и сказать нельзя: сразу ясно — бред!»

Рыбаков растерянно взглянул на поля своей рукописи. В тексте диссертации, около фразы: «функция слова «утес» здесь, прежде всего, идейная», стоял большой вопросительный знак Тюхловского.

«Ах, вот как! — Василий Рыбаков скомкал и с силой бросил в мусорную корзину листочек с замечаниями Тюхловского. — Значит, по-вашему, Ростислав Владимирович, погибший в бою лейтенант-сталинградец думал перед боем не о своем народе, а о структуральной функции?..»

5

Первокурсники столпились на углу Манежной площади и улицы Горького, по которой мчались, разбрызгивая мокрый снег, десятки автомашин. Здесь, на широком закругленном тротуаре, возле металлической мачты с шаровыми фонарями, развилка «студенческой дороги». Хочешь не хочешь, а нужно расходиться по домам.

А как быть, если обсуждены еще не все важнейшие проблемы?

И прощание затягивается. Иногда, особенно после комсомольских собраний или диспутов, — надолго. Такая вдруг звучная юношеская многоголосица разнесется вокруг, что даже корректные милиционеры начинают проявлять законное любопытство.

Если б студентов не прохватывал промозглый, со снегом и дождем, ветер, неизвестно, когда бы закончилось шумное «прощание» и на этот раз.

— Ну, я б-больше не могу, — лязгнув зубами, сказала Лиля. — Кто к-куда, а я в кафе-мороженое... Кто со мной?

Уговаривать никого не пришлось. В день стипендии да не заглянуть в кафе-мороженое?!

Катя начала прощаться с товарищами, и Лиля окликнула ее:

— Катя, а ты?

— Я опаздываю в домоуправление, — ответила Катя, протягивая Лиле руку. — До завтра.

— Что за новости?.. Ребята, бегите, займите очередь! Мы догоним... Какое домоуправление?

— Да там... на Красной Пресне. У избирателей. Вчера проводила беседу «Положение о выборах», спрашиваю: может, что-нибудь не ясно? Смотрю, одна старушка руку поднимает. Как в школе. «Извините, — говорит, — товарищ агитатор. Когда мне управдом крышу починит?»

— А ты что? — Лиля улыбнулась.

— Вначале опешила. Потом ничего. Домоуправление было закрыто. Сегодня до пяти вечера работает. А как у тебя прошло?

— Видишь ли, Катюша, я... я не ходила к избирателям, — смущенно произнесла Лиля.

— Не ходила? Что-нибудь случилось?

— Как тебе сказать... В консерватории играли первый концерт Чайковского. Не удержалась.

— Шутишь?

— Не-ет...

— Что ты говоришь, Лиля? Ведь вчера был последний день проверки списков. Ты всех подвела... Сказала бы мне. Я б заодно и твой список проверила. Ой, как теперь быть-то? Скажи сейчас же Чепраку.

— Зачем ему говорить? Я позже у них буду.

— Как это — зачем говорить? — вдруг повисила голос Катя. — Ведь бюбю считает, что твои люди проверены.

— Чего ты горячишься? — Лиля удивленно посмотрела на Катю. — Подумаешь...

— Как не стыдно, Лиля! Я сама скажу Чепраку о тебе. Завтра же скажу.

— Что? Ты? Ты, подруга? Это же, это... прости меня... низко. Это... если хочешь знать, подлость!

— По-одлость?! — ахнула Катя.

Видно, на всю жизнь запали Кате слова Тимофея на новогоднем вечере, если она даже тут, на перекрестке, вспомнила и, слегка видоизменив, повторила их тихо и убежденно:

— ...Скрыть твою подлость — вот это действительно подлость.

— Не надо. Это нехорошо! — горячо убеждала Галя Катю. — Ведь Лиля — твоя подруга.

Галя шла по длинному коридору факультета позади Кати и, хватая ее за руку, упрашивала не идти в комсомольское бюро.

— Галя, замолчи, пожалуйста! — Катя остановилась около двери со стеклянной табличкой «Бюро ВЛКСМ» и чуть не столкнулась с Сашей Чепраком, вполголоса напевавшим: «Сильва, ты меня не любишь».

— Ты не видел Лосева? — спросила Катя.

— «Сильва, ты...» — Нет. А ты к нему по какому делу, Жигарева?

Катя смотрела на Чепрака и не могла заговорить: мешало его безмятежное настроение.

— Ну, с-слушаю, — протянул Чепрак. Катя вздрогнула — ей почудилось, что он снова запекает: «Сильва...» Она заставила себя рассказать комсомольскому секретарю о поступке Лили.

— Крылову надо обсудить на бюро, — заключила Катя, — ее поведение — не случайность...

— На бюро? — весело перебил ее Саша Чепрак. — Не за что. Если б Крылова совершила серьезный поступок, комсомольский билет потеряла...

— А это — несерьезный?! Если на это смотреть так безответственно, Крылова совсем испортится, вот что!

— Ну, ладно, обсудим заодно, — согласился Саша Чепрак, задетый яростными нотками в голосе Кати Жигаревой. — Лида! — крикнул он, приоткрыв дверь бюро. — Собери сегодня персональщиков.

«Персональщиков», — удивленно повторила про себя Жигарева, когда Чепрак ушел. — Поговори с ним! «Персональщики»... Нехватает только, чтобы их выстраивали на бюро. Надел китель да хромовые сапожки, — фронтовик. Не фронтовик ты, а франтовик!»

Катя сбежала по лестнице. В университетском дворе, где стоял на высоком постаменте гранитный Герцен со снежной накидкой на плечах, она увидела Лосева.

— Тимофей! — окликнула его Катя. — Что стряслось с нашим секретарем?

— С Сашей Чепраком? По-моему, ничего... А в чем дело, Катюша?

— Да ведь он бюрократ, чинуша!

— Ну, это ты зря! — Тимофей засмеялся. — Сашка — хороший парень. Правда, опыта маловато. Но — тянет.

— В том-то и дело, что только тянет. — И Катя рассказала Тимофею о поступке Лили. — Чепрак обещал обсудить на бюро. Ты ладом с ним поговори: боюсь, прокрутит он заседание, как пластинку, передвинет рычажок на «быстрее». Никто в сути не разберется.

— Что ты! — возмущился Тимофей. — Наше комсомольское бюро — и несерьезно! Приходи обязательно да пригласи еще кого-нибудь из комсомольцев.

— Вот что... — начала было Катя.

— Холодно, — Тимофей взял Катю за руку. — Зайдем в подъезд. — Они вошли и сели на подоконнике.

— Заболел Гай. Как бы не слег... — тихо сказала Катя. — Ведь он три раза ранен был. Помочь ему, Тимоша, надо.

— Правильно. И это обсудим.

Встретив в коридоре, около комнаты партбюро, Ивана Матвеевича Жакова, Лосев прежде всего рассказал ему о предложениях Кати.

— Если опереться на таких активистов, как Катюша, то можно, Иван Матвеевич...

— Сколько лет Катюше? — тихо, каким-то странным голосом спросил Жаков.

— Что? Восемнадцать. Но разве это имеет значение?

— Восемнадцать, — мягко и грустно сказал Жаков. — А моей Катюше было бы сейчас уже... да, двадцать три...

Лосев всегда чувствовал сковывавшую неловкость в присутствии отцов и матерей погибших на войне товарищей. Словно он был чем-то виноват в том, что они, его друзья, не вернулись, а он цел и невредим... И как некстати было его замечание: «Разве это имеет значение?»

— Когда по плану заседает комсомольское бюро? — первым прервал молчание Иван Матвеевич.

— Сегодня.

— Обязательно сходи. По-моему, Чепрак не чуткий человек.

Лосев закусил губу: «Так мне и надо».

— Он, кажется, только громко кричит о бдительности, — открывая дверь партийного бюро, не спеша, сказал Жаков. — Словом, сходи, Тимофей. А потом поговорим.

Лили сидела в коридоре и ждала, когда ее вызовут на заседание комсомольского бюро. Она вдруг вспомнила об отце, которого не видела со вчерашнего вечера. «Что он скажет, когда узнает?»

Мимо Лили прошли Саша Чепрак и похудевшая, с обтянутыми острыми скулами, Зефира Харимбаева в плохо выглаженном (это было так необычно для нее) темнозеленом платье.

— Ты чего это таешь за последнее время? — встревоженно спросил ее Саша.

— Заучилась, — шутливо бросила она.

Вот уже месяц прошел с тех пор, как она, по совету Кати, написала Мухтару резкое письмо: стыдила, умоляла одуматься. И, как говорится, ни ответа, ни привета...

— Сходи на рентген. Пусть тебя просветят. Завтра же.

— Просветят? — задумчиво повторила Зефира. И воскликнула с горечью: — Уй, попробуй-ка сразу просветить человека!..

— Да это чепуха! — возразил Чепрак, входя в комнату бюро и закрывая за собой дверь. — Сходи к терапевту. Получишь направление на рентген. Сразу.

...Заседание подходило к концу. Около двери на одном стуле примостились Женя Грачев и Юра Кораблев. Юру пригласили на бюро, но он опоздал и не решился войти. Женя подошел к нему: «Как твои дела?» Узнав от Кораблева, что уже вызвали Лилию, он присел рядом, на краешек стула. Дверь была чуть-чуть приоткрыта, и в тишину коридора, которая подчеркивала значительность происходящего, тяжело падали слова:

— Персональное дело комсомолки Крыловой.

Это было далеко не первое персональное дело в практике секретаря Саши Чепрака. Он кивнул Харимбаевой, которая пристроилась на другом конце стола. Очинив карандаш, она начала третью за сегодняшний день протокольную тетрадку.

— Встаньте! — Чепрак строго посмотрел на Лилю, которая присела на краешек стула.— Вам говорят? — повысил он голос, ибо Крылова, побледнев, не сразу поднялась.

Тимофей Лосев уже несколько раз присутствовал на заседаниях комсомольского бюро и знал, что Чепрак может двумя-тремя резкими репликами или неудачными вопросами отбить у человека охоту говорить откровенно. Он выяснил, что, кроме Лили, на избирательный участок, прикрепленный к факультету, не вышли в этот день еще несколько агитаторов, в том числе и Петр Гай. Некоторые комсомольцы даже не сообщили о том, что не посетили квартиры избирателей. «Почему мы привлекли только Лилю?» — чувствуя себя неловко, подумал Лосев.

Чепрак предоставил слово Кате Жигаревой. Она быстро поднялась со стула, маленькая, строгая, внешне спокойная. Положила руки на красный кумач стола.

— Лиля, ты помнишь,— Катя повернулась лицом к Лиле,— какую формулировку устава партии отстаивал Владимир Ильич на втором съезде?

Лиля, не ожидавшая такого вопроса, растерялась.

— Формулировку? При чем тут формулировки?

— Ответь,— сухо сказал Лосев. Ему стало стыдно, что не он, коммунист, бывший фронтовик, а восемнадцатилетняя девушка правильно расценила проступок Крыловой.

— Членом партии может быть всякий... всякий...— скороговоркой, прищурив глаза, всयोминала Лиля.

— Не думаю, что всякий,— жестко перебила ее Катя.

— Не мешай! — Чепрак застучал карандашом по графину. Лосев машинальным движением отодвинул от него графин.

— ...Всякий,— наконец припомнила Крылова,— кто признает программу партии, поддерживает ее материально и участвует в работе одной из ее организаций.

— Вот-вот! — воскликнула Катя.— Ты даже не заметила, что ленинские слова «состоит членом» заменила синонимом из комсомольского устава «участвует в работе». Состоит — значит участвует. Ведь так?.. Но вы солидарны с уставом только теоретически,— незаметно для себя перешла Катя на «вы». — Помните из истории? Ленин сочувствующих гимназистиков к партии на пушечный выстрел не подпускал. Чем же вы лучше их?.. Вы изучаете Ленина, чтобы следовать ему во всем? Или чтоб только цитировать его слова?..

— Ого! — Чепрак склонился к Тимофею.

— Не ого, а учись...

— Чем вы все-таки лучше тех гимназистиков? Сочувствуете? — с иронией повторила Катя.— Взносы платите? А от дела — в кусты?

— Но ведь не я же одна,— упрямо, поджав губы, проговорила Лиля, многозначительно посмотрев на Петра Гая.

— Да, я тоже не был на участке,— бледнее от обиды, Гай поднялся со стула.— Но вы ходили в консерваторию, а я... я... «Да что я, отчитываться перед тобой буду»,— подумал он и так и не сказал, что его вызывали в военкомат на медицинскую комиссию. Он запнулся и тихо добавил: — Я случайно, случайно не был.

— Ах, случайно...

— Да, случайно, не то, что ты! — зло выкрикнул Гай, не сдержавшись.

— Случайно? — тихо, но внятно повторила Лиля, оскорбленная его фамильярным, подчеркнутым «ты». — У вас все случайно. «Вы, по-моему, и в университет-то попали случайно»,— едва не сказала она. Схватила за спинку стула, процедила сквозь зубы: «Можете считать, что и я разговариваю с вами, невежей, тоже случайно».

Тут в комнате поднялся такой шум, что Юра и Женя за дверью долго не могли понять, что там стряслось. Когда возмущенные крики стихли, они услышали голос Чепрака.

— Высокомерие? Откуда оно у вас? Что вы-то собой представляете?! Заработали вы хоть кусок хлеба в своей жизни? Знаете ему цену?

Слова секретаря Женя ощущал болезненно: «И меня могли бы так». Юра Кораблев толкнул его локтем в бок.

— Так ей и надо. Верно?

Женя не ответил. Юра был выше его ростом почти на голову. Он сверху вниз покосился на сжавшегося в комок Грачева...

Слово попросила Галя Лебедева. Она начала вяло, сбиваясь. Посмотрев на бледного, ссутулившегося Гая, она вдруг заговорила очень резко.

Катя Жигарева почувствовала в выступлении Гали что-то неправильное. Это было не столько осуждение грубой выходки Лили, сколько раздражение, которое иногда вызывала у Гали эта уверенная в себе девушка.

Катя хотела было шепнуть о своем впечатлении Тимофею Лосеву. Но он сидел далеко от нее, и она сказала это на ухо Чепраку. Он недоверчиво улыбнулся: «Неужели?» Подумал и махнул рукой:

— Ладно, пусть выскажется, потом...

Лосев, внимательно слушавший Галю, вдруг сказал Чепраку:

— Мне кажется, все ясно. Как ты думаешь?

— Конечно,— Чепрак сразу же вскочил на ноги.— Для бюро вопрос ясен. Спасибо, товарищ Лебедева.

...За дверью теперь говорили тише. Юра и Женя почти не разбирали слов.

— Ты, кажется, чего-то струхнул? — с удивлением спросил Юра, видя, как беспокойно прислушивается Женя.

— Я... я... за Лилю перепугался,— не сразу ответил Женя.— Она очень не любит Гая... Такая детская невыдержанность...

Женя уважал Петра Гая, удивлялся его работоспособности. Он мог бы восхищаться им, если бы умел восхищаться своими годарищами. Иногда это чувство по отношению к Гаю и Лосеву переходило у Грачева в удивление и зависть. «У меня было больше возможностей. И все же...»

Женя видел, как с каждым месяцем Гай накапливает знания, смелее и интереснее выступает на групповых занятиях. Часто мысли Петра были оригинальны,— до многого он, Женя, пожалуй, не додумался бы.

В глубине души, скрывая это от самого себя, Женя иногда испытывал страх: «Они перегонят меня». И работал еще больше, до полуночи просиживая над книгами.

Это чувство усилилось после памятного ему спора в новогодний вечер в университетском клубе. Не раз уже ему приходило в голову, что он ничуть не выше своих товарищей и только раздражает их общеизвестными софизмами и сентенциями.

— Гм.. а ты разве не испугался? — нарушил молчание Женя.— Дело-то едва до кулаков не дошло.

— Я бы Лиле еще и не такого жару дал. Как она смеет!

— Неужели и ты не понимаешь, что на Лилю нельзя топтать ногами,— сказал Женя, снизу вверх заглядывая в лицо Юре.— Когда на интеллигентного человека орет чорт знает кто, когда...

— Чорт знает кто? — возмущенный, Юра поднялся со стула.— Катюша Жигарева, Чепрак, Петро Гай — это они-то для тебя чорт знает кто?

— Нет, нет, это я так... оговорился... Но разве можно на Лилю, на тебя или на меня... в этих стенах? Да это же пещерные нравы!

— Что же они, по-твоему, дикари?

— Как тебе сказать... По сравнению, ну, хотя бы с нами, менее интеллигентны.

— Чем же мы интеллигентнее их?

— Станный вопрос. Своим запасом знаний, воспитанностью, способностью понимать искусство...

— По-твоему, получается, что самый интеллигентный человек — это, очевидно, Лилин Сергей Христофорович? Как же — ходячая энциклопедия! И в консерватории он завсегдатай...

— Ну так что ж...

— Да ведь он обыкновеннейший юбочник! — крикнул Юра.

— Никогда об этом не слышал. Впрочем, кому до этого дело?

— Вот как! — Юра угрожающе посмотрел на Женю и вдруг, забыв, что рядом за дверью происходит заседание комсомольского бюро, крикнул:

— Да ты сам, если уж на то пошло, ничем не отличаешься от этого бабника!

— Что-о-о? — Женя вскочил на ноги. — Повтори, что ты сказал! Ребята стояли друг против друга, сжав кулаки.

— Да, ты такой же, как тот, мерзкий бабник! — упрямо и громко повторил Юра. — Это мне ясно, как дважды два.

— Я... я... — Женя задыхался. — Я так этого не оставляю!..

— И ты еще смеешь называть себя советским интеллигентом! Разве тебя можно сравнить с Катюшей или с Петром? Они в сто, нет — в тысячу раз интеллигентнее тебя! Они не пускают людям пыль в глаза цитатами из Гельвеция! Или из других почтенных старцев, блуждавших далеко от истины!

Женя, услышав шум отодвигаемых стульев в комнате бюро, сказал с угрозой, но уже тише:

— Мы еще поговорим с тобой!

И, забыв свой портфель, он быстро пошел по коридору.

Из приоткрытой двери комсомольского бюро показалось встревоженное лицо Чепрака.

— Что тут за крики?

— Я с Грачевым по душам поговорил, — хмуро ответил Юра.

Вслед за Чепраком вышел Петр Гай, скрестив руки на груди (это он делал всегда, когда пальцы начинали дрожать). В конце коридора его догнала Лиля.

— Товарищ Гай, — отчетливо выговаривая слова, произнесла Лиля. — Мне сказали... я должна просить у вас извинения.

Петр Гай повернул голову, взглянул на нее через плечо и процедил:

— Можете не извиняться.

Лиля вздрогнула. Перегнала Петра, на ходу накинула на плечи пальто. Быстро сбежала вниз, хлопнула дверью. «Вот именно, Гай случайный человек в университете!..» Она вскочила на подножку автобуса, забыв посмотреть номер.

В отношениях с людьми Петр Гай всегда был искренен, до резкости прям. Поэтому к его характеристикам все прибавляли что-либо вроде «резковат на поворотах»; поэтому за свою семилетнюю солдатскую службу Петр не одни сутки просидел на гауптвахте. Много таких «поэтому» было в судьбе вспыльчивого Гая, и они очень осложняли его и без того нелегкую жизнь.

— Петро, ты куда сейчас? — спросил подошедший Лосев.

— На Стрмынку, в общежитие.

— Зайдем сюда, посидим, — сказал Тимофей, заглянув в пустую аудиторию. — Закурим студенческий «Казбек», — он надорвал маленькую мятую пачку «Волны».

Пальцы Гая дрожали так, что Тимофей не смог у него прикурить.

— Я думаю, Лиля... — начал было Тимофей.

— Оставьте мне в покое з вашей Лилей! — раздраженно перебил Гай и отвернулся.

На черной классной доске, еще не вытертой после урока латинского языка, написано мелом: «Per aspera ad astra» («Через трудности — к звездам»). Кто-то разбирал эту фразу по частям речи и предложения, над словами были надписаны названия падежей.

Петр Гай скользнул взглядом по доске и мрачно сказал:

— Как же! Лечу! Со Стромынки — в стратосферу. И слова-то подобрались, будто уже мотор заводится: стр-р-р. Да. В общем, Тимоша, уйги из университета мне все-таки придется. Факт...

— Что-о?

— Да, дружище. После семилетней солдатской службы слово «тяжко» произносится редко. Но если произносится...

— Уйти?! Да как ты посмел даже заикнуться об этом! Из дому выехал — память отшибло?!

Петр смял в ладони горящую папироску.

— Петюшка, да пойми же, наконец! Ты не Лиля и не Галя, чтобы так рассуждать. Отбросить в свои восемнадцать лет два-три прожитых года и забыть их. Нам с тобой, Петро, уже за двадцать пять. А мы — первокурсники. Сам понимаешь — цейтнот: в сорок лет вряд ли сядешь за парту.

— Дуже тяжко, Тимоха, — сказал тихо Петр.

— Дуже, говоришь? А как ты на фронте поступал, когда было тяжело?

— На фронте?.. Эгей, можно из моря напиться, а каплей подавиться... на фронте-то я был нужен. Бывало, в наступлении завязнет в грязи оружие, кажется, вот-вот все жилы порвешь. А глядишь, пехотинцы уже подпирают колеса... А здесь... ну, скажи, получится из меня, Петра Гая, архивариус от фольклора?.. А к другому чему... лингвистике... да логике... нет, душа не лежит. Выбило меня из седла... Что ж мне теперь? Одной рукой себя погонять, другой — слезы утирать?.. И чего ты так возишься, Тимоша? Стоит ли ради меня...

— Ради тебя? — крикнул Тимофей, перебивая. — Ради тебя я набил бы тебе морду! Чтобы не нюнил! По тебе, по мне, по нас судят о всех. О Сереже, — голос Тимофея дрогнул, — о Сереже Ручьеве, которого я своими руками хоронил, по тебе судят. Обо всех погибших ребятах. Помнишь, как мы, школяры, смотрели на бывших красногвардейцев, на партизан гражданской войны. И Лиля, и Катя, и Юра — вся молодежь, которая еще за партами сидит, по нас будет обо всех судить. Каждый свой шаг, каждое слово надо взвешивать...

Лосев задержался в коридоре около доски объявлений. Аршинный аншлаг грозил наказанием всем, кто забыл, что последний день прививок — тридцатое число. Плакатик поменьше категорически предлагал сдать книги в библиотеку. Еще меньше — извещал, что назначается собрание. А списки на получение премий и орденов, приклеенные на краю доски, почти у самого пола, были написаны на серых листках мелким, неразборчивым почерком.

Лосев подумал, что эти объявления, пожалуй, нагляднее всего показывают отношение факультетской канцелярии к студентам. Хотелось привести щеголиху Викторю к этим спискам и заставить ее почитать собственные «произведения». Но канцелярия была на замке: Викторя не задерживалась на работе ни одной лишней минуты.

Петр вышел из аудитории вслед за Тимофеем и остановился у рукописного списка: «Получить ордера».

— Гай, — присев на корточках, он провел по графе пальцем. — Ботинки... Вот это да! Упали с неба ботинки. Я же не просил. Ты хлопотал? — спросил он, оглянувшись на Тимофея.

— Нет.

— Как это нет? А кто же еще может?

— Значит, кто-то беспокоится,— Тимофей улыбнулся, вспомнив о Кате.— Похудел ты, Петя, за эти месяцы. Здорово осунулся. Мы тебе еще немного денег выделим. Дотянешь до весенней сессии?

— Должен бы...

— Я к тебе сегодня приеду. Ладно?

Тимофей Лосев оторвал все листочки со списками. Взял у привратника ключи, снял футляр с пишущей машинки и, терпеливо отыскивая буквы, одним пальцем отпечатал фамилии. Нашел в комнате комсомольского бюро, в шкафу, красную тушь. Старательно, по линейке, вывел строгие крупные буквы заголовка и снова повесил списки на самом видном месте доски объявлений.

Заместитель декана Борис Агафонович, получасом позже проходя мимо, остановился на мгновение около этих непривычно праздничных объявлений. Просиял: «Ай да Виктория! А еще жалуются на нее...»

6

Когда Тимофей Лосев приехал на Стромьнку, уже зажглись фонари. Они осветили четырехэтажный, старинной постройки, с ржавыми подтеками на стенах, дом студенческого общежития. Низкие, густо теснящиеся друг к другу окна были завешены белыми занавесками.

В вестибюле, невдалеке от огромного, во всю стену, зеркала сидела девушка-вахтер. Закутанная в платок, она растирала свои посиневшие от холода пальцы. Тимофей поднялся на верхний этаж по каменной лестнице, пропахшей сырой штукатуркой.

Он вошел в длинный, как тоннель, коридор. Настроение у него испортилось. «Ну и зданьце!..»

Вдруг он вздрогнул от раскатистого, дружного хохота.

— Хо, хо, хо! — захлебывались низкие, басыщие голоса.— Ха-ха-ха!— встарили им звонкие девичьи.— Ой, не могу!

Лосев подошел к приоткрытой двери, из которой доносился смех. Кто-то рассказывал:

— Тогда я его спрашиваю: «Ну, а часто вы пишете правду?». Он смутился. Другие журналисты ретировались к дверям. Один из американцев задержался: «Интересно, — говорит, — так же вы хорошо знаете биологию, как разбираетесь в политике?» А наши ему: «Лучше!»

Лосев улыбнулся, вспомнив, как постыдно сбежали от прямых вопросов студентов американские интервьюеры, посетившие биологическую аудиторию университета.

Он пошел дальше, разыскивая комнату, в которой жил Петр Гай. Разглядывая номерки на дверях, он волей-неволей задержался около них. Рядом затренькала гитара, исполняя какое-то местное стромьнское «страдание». Заглушая струнный перезвон, несколько певцов шумно и вразброд затянули:

Веселее, друзья, глядите,
Первым делом...

И воскликнули категорически, словно это был ультиматум ему, новичку:

...не унывать!..

Лосев снова зашагал по коридору. Все вокруг, показалось ему, начало подпевать молодыми голосами. Нет, это подхватила песню вторая комната:

...От студенческих общежитий
До бессмертья — рукой подать!

Долго еще не мог он найти комнату Гая. То и дело долетали до него обрывки разговоров, споров. Юные, срывающиеся петушиными нотками голоса с яростью доказывали:

— Да, но сейчас во Франции бесчинствуют политические проходимцы!

— Дай срок, народ им свернет шею: Франция — страна революционных традиций...

В приоткрытые кое-где двери Лосев разглядел комнаты. Одни радовали взгляд чистотой, цветами, вышитыми салфетками на тумбочках, другие удивляли неопрятностью. В одной из комнат дребезжал фальшивый голос патефона, слышалось шарканье ног. Из распахнутой двери кухни пахло жареной картошкой.

Лосев направился к кухне, на девичьи голоса, чтобы спросить, где комната Гая. Услышал знакомый, окающий говорок:

— Тюхловскому-то... задали перцу...

«Катюша?.. И здесь чествуют адвокатов Веселовского», — подумал Тимофей.

— Ну, и что ж! Все равно я Ростислава Владимировича больше других уважаю, — донесся другой девичий голос. — Что? Нет, с его трудами я не знакома, но это неважно. Он всегда твердо отстаивает свои взгляды. Ученый, не конъюнктурщик, не Рожнов какой-нибудь... Костя, подбрось-ка полence.

— А Гордеев, по-твоему, не ученый? — Катя помешала ножом картошку, нарезанную ломтиками. — Не ученый?

— Я же не говорю...

— Три года назад на ученом совете Гордеев встал и сказал: «Я пришел к убеждению, что моя книга основана на ошибочной концепции...»

— Сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал, — продекламировал бас.

— Ну, разве так можно, Костя, о Гордееве — и декадентскими стихами?.. Зачем Гордееву кланяться, раз неверно? У него и без этой книги десятки трудов, заслуги немалые.

— Какие могут быть заслуги у филолога! — видно, подзадоривая Катю, степенно заметил бас. — Это вот у физика... Открыл что-нибудь — и сразу миллионная прибыль народному хозяйству. Весомо, грубо, зримо, как сказал великий, который кормит добрую половину вашего брата.

— Костя, не мешай! — Жигарева отмахнулась. — Мы серьезно.

Тимофей Лосев прислонился к косяку настежь открытой двери. «Сейчас Катюша им задаст».

— Что это у Гордеева за сверхзаслуги? — спросила девушка в голубом вышитом передничке, помешивая ложкой в кастрюльке.

— Ой, Зинка, тебе стыдно этого не знать! Ты же слышала... Ну, хотя бы о его известнейшем споре с французским ученым Крюшоном? — ответила Катя. — Слышала? Француз утверждал, что «Слово о полку Игореве» — фальсификация. Мол, русский народ не имел своего воинского эпоса, а значит, и военных традиций. Кто первым выступил против этой «теории»? — торжествующе спросила Катя. Схватив свою задымившую сковородку, она воскликнула: — Сергей Викентьевич! Вот! Война тоже подтвердила, кто из них прав. — Ожегшись, Катя поставила сковородку на закопченный подоконник. — Да, Гордеев — вот это настоящий ученый, — убежденно сказала она и подула на пальцы. Собралась уходить, но, видимо, колебалась, не будучи уверенной, что спор окончен.

— Катюша, попробуй! Соли досыпать? — Зина поднесла ложку ко рту подруги и снова возразила:

— Как ты можешь так говорить о Тюхловском? Это, это... с твоей стороны неблагодарность.

Зина схватила кастрюлю с супом и, держа ее перед собой, быстро пошла прямо на Лосева. Он едва успел отступить в коридор. Оглянувшись, Лосев заметил Галю.

Выражение ее лица испугало его.

— Что ты, Галя? — спросил он.

Она закрыла рукой глаза:

— Как же, обидно... — Галя глотала слезы. — Привезли мне посылку от папы. Я одна не могу ее есть... А Катя ничего не бере-е-ет!..

«Это на Катюшу похоже». Лосев постоял около Гали, не зная, что сказать ей в утешение. Пообещал заглянуть к ним попозже и, спросив, где комната Гая, пошел к нему. Но не так просто было это для человека, которого знает половина обитателей общежития. Не успел Лосев пройти и пяти шагов, как его окликнул Иво Бакош, который обтирался холодной водой до пояса в умывальной комнате:

— Тимофей, ты пришел посмотреть моего москвича?

Тимофей думал зайти к Иво Бакошу позже, вместе с Петром. Он купил по дороге на Стромынку целлулоидного попугайчика с зеленой спинкой — единственную игрушку, которая была в ближайшем промтоварном магазине. Но уж раз он попался Иво на глаза...

— Показывай! — весело сказал Тимофей.

Белая кровать с высокой сеткой, накрытая сверху марлей, перегородивала узкую и длинную комнату Бакошей чуть ли не пополам. Отвернув двумя пальцами уголок марли, Тимофей взглянул на запеленутого розовощекого ребенка.

Тимофей все равно похвалил бы малыша, будь он даже сморщенным уродцем, величиной с котенка. Попробуй-ка не похвали, когда на тебя выжидающе смотрит умиленный отец! Но крупный сынок Бакоша, а особенно темные волосики его, будто нарочно прилизанные на выпуклом лобике, восхитили его.

— Герой!

— Так москвич же, — сказал Иво почти с недоумением. — Разве можно быть москвичом и — заморышем...

В комнате было очень жарко и влажно.

«Недавно купали, — решил Тимофей. — Будет теперь полоскаться вместе с моим попугайчиком...» Довольный, Тимофей начал вытягивать из кармана широких флотских брюк свой подарок. Случайно бросив взгляд на стену, он растерялся и тут же начал запихивать попугайчика обратно.

Вдоль оклеенной светлыми обоями стены, на длинной веревке, висели рядышком, зацепленные за лапки, целлулоидные попугайчики. Точь-в-точь, как у Тимофея. Цвета пламени. С зелеными спинками.

Иво Бакош захохотал, но тут же зажал себе рот.

— Давай! Твой двадцать восьмой...

И он показал Тимофею подарки.

В платяном шкафу аккуратной стопочкой сложены голубые и белые распашонки, ползунки, шерстяные, байковые и ватные одеяльца, несколько клеенок. Весь подоконник занят погремушками, сосками и резиновыми собачками. «От каждого факультета — по погремушке. — Иво смеялся. Какой-то шутник подарил расписку: «Обязуюсь в день стипендии притащить абажур». Чехословацкое посольство прислало большой кожаный чемодан с «детским приданым».

Иво прокатил вдоль комнаты складывающуюся белую коляску с длинными никелированными ручками, которую всего лишь час назад привезла Галя Лебедева, и от удовольствия прищелкнул языком:

— Конструкция!.. Хочешь — лежи. Не хочешь — сидя книжки читай... Вот, Тимофей... Жена что-то задерживается в этой... как ее... консультации. Я тебя сам — чайком по-русскому обычаю...

Тимофей тут же стал пятиться к двери:

— В другой раз, Иво.

Прикрыв за собой дощатую дверь, он прислонился к ней спиной и вздохнул с завистью:

— Эх-ма!..

У соседней двери Тимофея схватила за плечо Зефира Харимбаева, которая бежала с объемистым конвертом в руке.

— Уй, как хорошо, что ты пришел! — воскликнула она и потянула его к себе в комнату. — Вот наши обрадуются.

Лосев пообещал Зефире зайти к ним в другой раз.

— Я слышал, ты тут всех нерях вывела, — шутливо заметил он. «От Мухтара?» — Тимофей покосился на письмо.

— Нет, пока еще не всех, — сокрушенно сказала Харимбаева. — Но мы с Катюшей этого добьемся. Уй, какой народ тут хороший!.. Недавно одну юристку мы всей комнатой перевоспитали: мелочная очень. Для нее неприкосновенность ее платяной щетки важнее, чем дружба товарищей...

— Все-таки жилье-то у вас так себе, — Тимофей покачал головой. «От Мухтара!» — Он заметил, что конверт исписан со всех сторон. «Наконец-то!..»

— Почему говоришь — так себе? — Харимбаева удивилась. — Ах, это ты про здание... Моссовет, знаешь, решение принял — капитальный ремонт произведут.

— Ты не узнавала, когда они начнут?

— Узнавала. Железа не завезли. А зачем при дырявой крыше стены белить?

— Надо подумать, можно ли ускорить ремонт. Приходи послезавтра на заседание партийного бюро. Там будем обсуждать.

Сашу Чепрака Тимофей заметил сам. В тапочках на босу ногу и в галифе, Саша на секунду задержался возле открытой двери дальней комнаты и скликнул там кого-то (с тех пор, как Саша стал секретарем, он вечно торопился). Разговаривая, он стоял сейчас, как бегун на старте — подавшись вперед. То и дело оглядывался по сторонам: искал нужных ему комсомольцев.

— Саша!

— Ты?! Каким ветром?.. Привет! Не видал Харимбаеву? Чорт, надо протоколы переписывать!

Озираясь, он шел рядом с Тимофеем по длинному коридору, то полутемному, то ярко освещенному.

— Крылова — вот от кого не ожидал! Откуда у нее это нездоровое настроение?

Озабоченное выражение лица Чепрака легко сменялось улыбкой, когда он здоровался с товарищами. Тимофей Лосев усмехнулся, наблюдая за ним.

— Меня лилино высокомерие, по правде говоря, не так уж и тревожит. Здесь все — на поверхности.

— Что же тебя так беспокоит?

— Твоя работа...

— Что? — Чепрак заглянул Лосеву в лицо.

— Вслепую работаешь, Саша, вот что. Ухитрился забыть, что главное в университете — учеба.

— Я не забыл...

— Но ведь, признайся, ты последним узнал, что Тюхловский обращается с программой по фольклору, как с резинкой? Захотел — растянул. Захотел — сжал.

— Не последним, но... поздно вато.

— А сможешь сказать, как твои комсомольцы учатся?

— Девяносто семь процентов успеваемости.

— Я не об этом, — Лосев поморщился.

— А... Всего не охватишь. Разве ты, Тимофей, не видишь, как я кручусь: вечера, субботники, докладчики, стенные газеты, бюро — до последнего поезда метро. Собrania, отчеты — все на мне.

— Вечера, субботники, — передразнил его Лосев. — Так бы и сказал: «Чего вы от меня, граждане, хотите? Я не комсомольский секретарь. Я больше по хозяйственной части...»

Чепрак улыбнулся:

— Хороший хозяйственник — не лишняя спица в колеснице.

— Хороший хозяйственник еще не значит — хороший комсомольский секретарь. А ты к тому же плохой хозяйственник. Хороший о людях никогда не забудет...

— Да я ли не пекусь о них, Тимофей? — добродушно возразил Чепрак. — Воспитательной работе львиную долю времени уделяю. Только вот сегодня мы с тобой на бюро сидели. Что мы там, по-твоему, в кошки-мышки играли?

— Ты уверен, что сегодняшнее заседание нашего бюро принесло пользу? Лиля поняла, что мы ей только добра желаем?

— А как же?

— Не думаю. Хотя мы и наговорили целую тетрадку протокола, но — разве ты, Саша, этого не чувствуешь? — толкового общего разговора-то не получилось.

— А что же, по-твоему, было?

— Судилище! Оглушили ее обвинениями.

— А чего с ней цацкаться?! — воскликнул Чепрак. — Зря ты меня на бюро прервал. Я бы ее еще и не так!

— А мне кажется, когда ты говоришь тоном прокурора со своими комсомольцами, ты обвиняешь прежде всего самого себя.

— Да ты что?

— Конечно. Собственная беспомощность довела тебя до того, что ты умеешь только орать на товарища: «Кому говорят!», «Вас спрашивают!» А Лиле ты что сказал? «Что вы собой представляете?» Можно подумать, что заслуженному человеку высокомерие простительно. Нет, серьезно, Саша. Я и то смешался от твоего рыка, не сказал ей того, что хотел. А Лиле... Боюсь, что в другой раз она пойдет со своими сомнениями уже не к нам, не к Кате и Гале, а к Жене Грачеву. Женя ей и посочувствует и, пожалуй, над тобой похихикает.

— Н-да... — Чепрак растерянно моргал. — Ну, да ведь это все мелочи, Тимоша.

— Мелочи?

— Понятно. В комитете комсомола наш факультет считают одним из лучших. Мы же почти по всем показателям впереди.

— Там пока судят по твоим отчетам. А вот знаешь, что думают о тебе рядовые комсомольцы?

— Кто это?

— Те, которые тебя выбирали. Или их голоса тебя беспокоят только на перевыборах бюро?

— Мало ли кто что скажет? Всем не угодишь!

— А ты все-таки подумай, почему Катя Жигарева, Юра Кораблев кроют тебя. Наверное, только Женя Грачев тобой доволен. Не иначе — за то, что ты его в глаза не знаешь.

— Подожди... о каком Грачеве ты все время говоришь? Убей, не вспомню. С какого он курса?

— С первого. Ну, невысокий, тихий такой, глаза словно из бутылочного стекла.

— А-а... Так бы и сказал. Помню. Он еще предлагал мне стипендию без очереди получить. Действительно, что-то мне Жигарева о нем рассказывала. Да ведь он, кажется, не комсомолец.

— Ну и что? Не комсомолец, по-твоему, заезжий марсианин?

— Нет. Но Грачев... как бы тебе сказать... Словом, он нетипичен для нашей молодежи.

— Правильно. Но ведь он — не зарубежный турист. Придем к коммунизму, а с нетипичным как? Поворот от ворот?

— Э... товарищ Лосев. У нас учебное заведение. Не будешь человека за мелочь перед строем отчитывать. Да и как, скажи на милость, ты за него возьмешься? Грачев, кажется, отличник, дисциплину не нарушает, профсоюзные взносы платит... А, наконец-то свежую газету повесили! — обрадованно воскликнул Чепрак, взглянув на фанерный щит в самом конце коридора. — Всегда так: пока мозги не вправишь... О чем мы? Да... По правде говоря, Тимофей, — дружеским тоном продолжал Чепрак, направляясь к газете, — я с индивидуалистами давно начал борьбу, но никак не могу подойти к этому вопросу вплотную.

— Как, как? — Лосев громко захохотал. И вдруг осекся. — Знаешь, Чепрак, — тихо сказал он, — в этой классической глупой фразе весь стиль твоей работы.

Они молча прошли еще несколько шагов.

— Как это получилось? — с горечью сказал Тимофей. — Я ведь, помню, говорил о тебе Петру: «Комсомольская жизнь на факультете под его руководством ключом забьет». Да и не я один так думал. Выбрали тебя. А ты... где ты успел пропитаться насквозь этими канцелярскими фразами?

— Фразами?.. Брось придирается, Тимофей.

— Ну, а Катюша Жигарева к тебе тоже придирается? Нет?.. Она уже давно на тебя жалуется: «Чепрак окончательно погряз в своих сводках да отчетах. Читает, кроме учебников, только официальную переписку да протоколы».

— Ну, она даже в шутку не права, — Чепрак улыбнулся.

— Я тоже так думаю: ты, наверное, и официальных документов не читаешь.

— Брось остричь!

— Мне, Саша, не до смеха. Вот взгляни, — сказал Тимофей, когда они подошли вплотную к газетной витрине, — «Комсомольская правда»... за вчерашнее число.

— О чем там?

— О чепраковщине...

— О че... о чем?

— Сейчас... Это где-то в передовой статье. — Тимофей приблизил глаза к самому стеклу. — Вот! Слушай: «...Идейный урсвень воспитательной работы в этой комсомольской организации низкий».

— О какой это организации? — Саша сразу потянулся к газете.

— О нашей...

— Не может быть! — Чепрак оттолкнул плечом Тимофея. — Где это? А? Фу, чорт, перепугал. Это о какой-то школе...

Чепрак обиженно взглянул на Тимофея и сказал резко и убежденно:

— Слушай, Тимофей. Ты просто нытик. Да! Ты все видишь в черном свете. Ну, осечка произошла с Лилей... Так что?.. Ее сразу не раскусишь. Она замкнулась в своей скорлупе. Как-то даже с собрания убежала. Вся жизнь ее — вне университета. Много у нас таких?.. Зато уж вот этих, — Чепрак показал на то и дело открывавшиеся двери комнат, — я знаю, как облупленных.

Раздосадованный, Тимофей ушел к Петру, а Чепрак попрежнему сновал по коридору, из комнаты в комнату, отыскивая своих активистов.

— Эй, папаша! — задорно окликнул он Иво Бакоша, который бежал по коридору, придерживая у голой груди наброшенную на плечи шинель. — Завтра на бюро приглаш...

Нетерпеливо отмахнувшись, Иво показал пальцем на дощатую дверь. То ли ему почудилось, то ли на самом деле в комнате девушек кто-то всхлипывал.

Чепрак остановился, вытянул шею. Что такое? Кто-то плакал безудержно, навзрыд. Ой, да это ревели чуть ли не в три голоса?!

Укрепив спадавшую тапочку, Чепрак пробасил негромко и участливо в замочную скважину:

— Девочки, что там у вас?

Восклицания и всхлипы тут же прекратились.

Чепрак дернул за ручку двери, запертой изнутри на крючок.

— Можно войти?

Раздались пронзительный визг, крик «Нельзя!» и чей-то, кажется, га-лин, рассерженный голос:

— Не мешай спать!

— Да что там происходит? Грабят? Режут?

В комнате притаились.

Шаркая большими, не по ноге, тапочками, Чепрак беспомощно топтался около двери. Неуверенно шагнул в сторону. Снова кто-то заплакал. На этот раз глухо, видно, в подушку.

— Ай-ай... — запричитал Иво.

— Тш-ш, — оборвал его Саша. — Без паники!

Иво пригнулся к замочной скважине:

— Катущечка здесь? Нет?.. Что случилось?

— Ничего особенного, Ивочка, — сразу ответило несколько голосов.

Шлепая босыми ногами, к двери подскочила Галя.

— Ивочка, просто плаксивое настроение... Понимаешь, у Зефиры...

Из глубины комнаты на нее шикнули, и она смолкла.

— Что у Зефиры? — переспросил Иво.

— Да что же? — нетерпеливо пробасил Чепрак. Вздвигнутый, он вдруг крикнул сорвавшимся голосом, визгливо, по-бабьи: — Ну?!

— Ой, сколько же вас там? — испуганно спросила Галя.

— Чепрак, ты все пожарные команды вызвал? — ехидно спросили из глубины комнаты.

За дверью опять зашептались. Галя тихо сказала кому-то «ладно» и взмолилась:

— Ивочка! Уведи, пожалуйста, Че... то есть, и других!

— Пойдем-ка спать! — сказал уязвленный Чепрак Бакошу. — Утро вечера мудренее.

Они отошли на добрый десяток метров, когда до них вновь долетело резкое, как вопль: «Уй, что я наделала!..»

И тут же в комнате приглушенно заголосили, зашумели.

Мрачней, Чепрак обернулся:

— Кого бы из девчат снарядить к ним?

Он начал по пальцам перечислять имена хорошо знакомых ему старшекурсниц, но, странное дело, те, кто дружил с Чепраком, никогда, как уверял Иво, не заходили в гости к первокурсникам. Вот история!

Иво Бакош предложил сбежать к Петру Гаю: «Он из их группы...»

— Незачем... — хмуро и чуть обиженно возразил Чепрак.

— Ну, тогда Лесю... Она тут рядом живет...

— Какую Лесю? Биденко? Члена вузкома? Так поздно?.. Притащить сюда весь вузком в калошах на босу ногу? — Чепрак поморщился и взмахом руки как бы отвел в сторону неуместное предложение Иво. «Чтоб они потом нас пропесочили в своем решении», — уже мысленно продолжал Чепрак. И заключил непримиримо:

— Дожидайся!

Направляясь на кухню, Чепрак впервые подумал о себе с раздражением: «Ушел, несолоно хлебавши...»

Иво плотно, до горла, застегнул темнозеленую трофейную шинель и поспешил к Лесе Биденко.

К кому же сейчас итти Иво, как не к ней?.. Не такой он человек, Иво, чтобы забыть, кто больше всех помогал ему получить отдельную комнатку. А кто отвозил его жену в родильный дом? Заполночь. По своей доброй воле. Э, пусть этот Чепрак лучше помолчит!..

Леся Биденко, рослая девушка в белой шелковой кофточке, с мальчишеской прической и неожиданными на ее энергичном лице синими грустными глазами, быстро водила почерневшим электрическим утюгом по нарядному, в ярких цветах, шелковому платью.

Иво не сразу решился переступить порог ее крошечной, на двоих, недавно побеленной ею самой, опрятной комнатки, с расшитой украинским узором занавеской на окне.

Поставив утюг, Леся двумя руками пожала руку Иво Бакошу. Они были не очень-то красивы, эти сильные красноватые руки Леси, с короткими пальцами. Но они всегда казались Иво прекрасными: пальцы Леси — бывшего подрывника в партизанском соединении Ковпака — столько раз поджигали бикфордов шнур, что цифры подорванных ею гитлеровских эшелонов и грузовиков, сложенные кем-то вместе, поражали даже его, партизана.

Узнав, зачем пришел Иво, Леся тут же стерла ваткой краску со своих полных губ. Набросав карандашом на уголке тетрадного листка: «Сейчас вернусь, Леся», — она приколотла этот клочок на двери.

Первокурсницы открыли ей не сразу.

— У нас все спят! — бодро соврала Галя и выключила свет.

— Не бузите, девушки.

Через несколько секунд послышалось неуверенное:

— Вас Чепрак позвал? Да?

— Нет, не Чепрак...

Из комнаты вновь пробила узкая световая полоска.

Войдя в комнату, Леся остановилась в изумлении. На нее смотрели настороженные, а то и заплаканные глаза.

— Что случилось, девушки? — сразу посерьезнев, мягко спросила Леся, присаживаясь возле стола.

— Ничего... — Смуглая девушка, которая сидела в одной нижней рубашке на неприбранной койке, скрестив по-турецки ноги, поправила сползавшее с плеч байковое одеяло.

— О чем ты, милая? — с искренним участием спросила Леся, мучительно припоминая, как ее зовут.

Зефира юркнула под одеяло и, глотая слезы, повернулась лицом к стенке.

— У нее — зуб мудрости... Ой-ой! — плачущим голосом сказала Галя, для убедительности прижав к своей щеке ладонь. Выключив плитку, на которой парил возле двери эмалированный чайник, она торопливо прислонила уголок простыни к своим покрасневшим глазам.

— Ну, а ты... ты сама почему? — с тревогой в голосе спросила Леся, пересев на табуретку, которая стояла в узком проходе, между кроватями Гали и Зефиры. — У тебя тоже зуб мудрости прорезался?

— Нет, я еще глупа, как про-обка! — Галя уткнулась лицом в простыню.

Леся обняла Галю за плечи, хотела даже погладить, как ребенка, по голове. Пышноволосяя голова девушки была искусно завита; русые кольца галиной шестимесячной завивки оказали на Лесю отвезвляющее действие.

— Стыдно! — сухо произнесла она. — Такая большая девушка, а ревешь белугой. Да в чем же дело?

Галя не поднимала лица. «Чего пристали? Уж и поплакать нельзя?..»

Ей было жалко, до боли жалко Зефиру. Ведь подруга получила от Мухтара письмо, полное такой обиды и гнева!..

«Ой, и как это Зефирочка могла принять всерьез телефонные угрозы Мухтара! Конечно, он зверски соскучился по ней, вот и нагородил чепухи. Сам признался в этом... Но Катя — хороша!.. Не ожидала этого от нее. Посоветовать Зефирочке обозвать Мухтара — любимого человека! — «крепостником». Кто не взвоят?!»

Посмотрев на притихшую, свернувшуюся калачиком на постели Зефиру, Галя сказала себе: «Помирятся...» И вдруг заплакала еще сильнее: «Везет же мне! У всех — как у людей, только у меня какой-то запутанный клубок...»

Английский язык в группе, где училась Галя Лебедева, преподавала высокая, сухопарая и желчная Регина Ивановна, о которой на факультете шутили, что она зайца научила не только спички зажигать (это-то что!), но и по-английски говорить. Неделю назад она вернула Гале ее контрольную работу, перечеркнутую крест-накрест, с размашистой припиской внизу: «Очень плохо. Наполовину списано у Крыловой».

А ведь все произошло совсем не так!.. Конечно, Лиля знает английский лучше Гали — с детства им занималась. Галя и сама понимает, что ее помощь нужна Лиле, как собаке пятая нога. Но в тот день Лиля опоздала больше чем на пол-урока.

— Придется вам в следующий раз писать, — сказала ей Регина Ивановна. — Я специально подберу текст...

— Ну, зачем же специально, — с подчеркнутой скромностью возразила Лиля. — Я и сейчас...

Лиля работала на редкость быстро, и все же не успела закончить перевода с русского. В спешке, после звонка, она шепнула Гале, чтоб та пододвинула ей свою тетрадь. Лиля списала только одну фразу. Одну из двадцати пяти!.. Но, как на грех, именно в этой «ужаснейшей» фразе, в которой было непостижимое для Гали английское время — «будущее в прошлом», и гнездились все ее ошибки...

Галя встала с кровати, переставила чайник с плитки на стол и, смахнув локтем на пол граненый стакан, заревела громко, почти во весь голос.

«Лилька... подругой называлась... Получила свою четверку и даже не спросила, что мне-то поставили... Какого же мнения обо мне преподаватель?..»

И Галя уже явственно видела, как «срезает» ее на экзамене «злопамятная Регинища», как Чепрак позорит ее на всех собраниях и все студенты (и Петюша Гай) презирают ее, двоечницу...

«Раз ее все равно засыпят... она плюнет на английский. Вот! Займется лучше литературой... Хоть бы мамуся-то была рядышко-ом!..»

Это полное горечи «о-ом!» Галя неожиданно для себя произнесла вслух, и Леся Биденко испуганно дотронулась до ее плеча.

— Да что с вами?.. Что с ней, Зина? — спросила она только что вошедшую девушку в голубом передничке, которая, пригласив Лесю пить чай, поставила на стол стеклянную банку с вишневым вареньем. «Я вроде как допрос устраиваю», — неодобрительно подумала Леся, помогая Зине расставлять на столе стаканы. И сказала просто, по-дружески:

— Чайку? Выпью. У меня галеты есть — пальчики облизешь.

Когда Леся вышла, наконец, из комнаты первокурсниц, к ней подскокил («Словно из-под земли вырос», — усмехнулась Леся) встревоженный Саша Чепрак.

— Ну?!

— Плачут: «Домой хочется»... — Она хотела еще что-то сказать Саше, но тот, вытерев ладонью мокрый лоб, перебил ее:

— Так и знал!.. Одна вопит по глупости, остальные — из солидарности!

В коридоре почему-то погас свет, и Леся пошла к себе, наощупь придерживаясь стены.

Почему она так недовольна собой? Ведь она, кажется, сумела располжиться к себе девушек.

Да, Лесе удалось расположить к себе первокурсниц. Недаром она считалась одним из самых толковых членов университетского комитета комсомола, или «вузкома», как называли его студенты. Увы, она стучалась в их дверь до сегодняшнего вечера только один раз: как-то «проверяла

чистоту» — хвалила за подснежники в длинных и зеленых, как стебли, цветочницах, купленных вскладчину, одобрила кружевные накидки на подушках, улыбулась находчивости девушек: они использовали мебель общежития, как шутили сами, «вполне диалектически»; забитые книгами этажерки, например, в то же время отгораживали у них угол комнаты — «будуар», в котором можно было переодеться и напудриться даже «при гостях — мальчишках».

Может быть, Леся и не должна была заходить сюда чаще? Не одну тысячу комсомольцев объединяет университетский комитет... Конечно, если она вполне полагается на Чепрака...

Леся подумала о тревожениях Зефиры, о которых девушки, в конце концов, поведали ей, и ощущение не вполне осознанной тревоги будто подхлестнуло ее. Леся шла теперь очень быстро, едва не натываясь в темноте на встречаемых.

«...Пришла бы Зефира тогда ко мне, я бы посоветовала ей, наверное, не столь опрометчиво, как Катя. А сейчас... Явилась к шапочному разбору? И то случайно. А Галя... «До-омой хочется...» Правдоподобно? Семья разбросана: отец — где-то, мать одна, в Чкалове, шлет ей невеселые письма... К тому же Галя вместо Чкалова ездила на каникулы с экскурсией в Ленинград...»

Леся уже не шла, а почти бежала.

Возле дверей ее ждал высокий мужчина. В полумраке едва отсвечивали застужки-молнии на карманах его куртки.

— Здравствуй, Лесёнок!

Он нерешительно шагнул вслед за девушкой в ее освещенную комнату и протянул ей несколько полураспустившихся малиново-алых, оранжевых, белых роз на колючих, завернутых в папиросную бумагу, стеблях.

Прикоснувшись пальцем к удлинённому нежнорозовому бутону, у которого был чуть-чуть надломлен стебель, он сказал с досадой:

— А вот эта роза, Лесёнок... «Девичий румянец». Обещали в оранжерее, что раскроется. А так и не раскрылась...

«Конечно, как человек, она нам не раскрылась, — думал Тимофей о Лиле, подходя к комнате Петра Гая. — Сам-то я каков? Стыдно сказать, шарахался на бюро, как неопытный мальчишка на диком коне... Лилу вызвали случайно. А что мы узнали о ее жизни? О чем она мечтает? С кем дружит? А Катя, Галя, Зефира, Петро... люди шире, богаче, многограннее. Дурак, что ли, Чепрак? Нет! — убежденно решил Тимофей, вспомнив, как подчас быстро, умело решает Саша Чепрак, казалось, самые запутанные вопросы. — В чем же все-таки дело?..»

Петр Гай сидел на узкой железной кровати, продавив ее пружины. Казалось, он сидит в люльке. Только вряд ли когда-нибудь из люльки торчали окованные железом солдатские сапоги сорок второго размера. Он держал в руках небольшую книжку в вишневом коленкоровом переплете.

— Добрый вечер, Петя! Что читаешь?

— Чехов, «Шуточка»... Помнишь Наденьку? Ее спутника? Санки летят с горы. В ушах у нее: «Я люблю вас, Надя...» То ли спутник шептал, то ли ветер насвистывал... — Петр отложил книгу на подоконник. — Садись, Тимофей! Быстро нашел нашу комнату? — Он растянулся на кровати, свесив ноги в сапогах на пол. — Прочитаешь, Тимофей, вот это: «Я люблю вас, Надя», и так больно станет... Как же мне-то досталось!.. Я в ее годы уже ничком лежал в щели: сверху финская танкетка крутилась — раздавить хотела гусеницей...

Тимофей молча кусал губы. Придвинул стул к кровати, спросил тихо:

— Ты считаешь себя несчастным?

— Нет, что ты! Но... какая у меня судьба, или у тебя? Счастливая? Жизнь себе отвоевали, а молодость-то... «не вернется, не вернутся лита»: в окопах оставили...

— Эх, Петя, Петя!.. Ты сейчас читал «Шуточку». А ведь там такая шуточка, что мороз по коже подирает... Там ведь тоска по счастью. Люди не знают, нужны ли они кому-нибудь...

Тимофей помнил рассказы Петра. Как встречали наших солдат на разрушенных улицах Ростова, Одессы, Львова изможденные, плачущие от счастья люди, как, толкая впереди себя маленькую пушку на резиновых шинах, Гай вместе с товарищами врывался в фашистские лагеря смерти...

— Ты же спас тысячи людей, Петро! Вернул им свободу. А приносить людям счастье — это ли не величайшее личное счастье?.. Садись к столу, Петро. Лежишь в гимнастерке на одеяле — глядеть тошно... Ну, как бы на это посмотрел сейчас твой старшина? — Лосев улыбнулся.

Он вынул из кармана папиросы. Петр переставил черную пластмассовую пепельницу с подоконника на стол. Закурили.

— Да, нелегко нам приходилось, Петро.

— Если б только приходилось...

— Знаю. Сейчас тоже трудно. И немножко досадно. Прошел полмира и — на малый каботаж... в ученики...

В дверь еле слышно, одним пальцем, постучали. Вошла Катя.

...Каждый, кто просовывал голову в кухонную дверь, сообщал Кате о том, что в общежитии появился Тимофей.

— Он заглянул к Иво Бакошу, — первой объявила Зина. — Изнывать от зависти...

— Видела его? Ругается в коридоре с Чепраком! — крикнул ей кто-то, пробегая мимо кухни.

Самые точные вести принес знакомый физик Костя.

— Твой моряк бросил якорь у Петра, — басом произнес он. — Скачи!..

— Вот еще! — пренебрежительно сказала Катя и тут же начала печь круглые лепешки — шанежки, любимые домашние шанежки.

«Умница, Тимочка, — благодарно думала она. — к Петру зашел... вначале... Хорошо, что тесто припасла... Как сердце чуяло».

В это время на кухню вбежал озабоченный Чепрак.

— Лосева не видели?

Катя рассердилась: «Уташит, пентюх, Тимофея... Самой пойти к Петру?.. Еще чего нехватало! Кто пришел в гости?»

Когда она складывала поджаренные шанежки на тарелку, Зина спросила ее:

— К Тимофею?

Катя отрицательно качнула головой.

— Он сам зайдет? — любопытствовала Зина.

Катя помолчала: «И что этой Зинке надо?» — и призналась ей честно:

— Не знаю... Небось, по делу приехал.

— Я на твоём месте не пошла бы ни за какие коврижки! — Зина решительно взмахнула рукой.

Кате стало стыдно. Ведь она рассуждает точь-в-точь, как эта легкомысленная Зинка, которая чуть ли не влюблена в Тюхловского!

И Катя укоризненно сказала Зине:

— Ах, какие же мы с тобой бабы!

Схватив тарелку с шанежками, она побежала в комнату Петра Галя.

— Это в честь гостя, — Катя смутилась и поставила на стол тарелку. — Я сейчас принесу еще. — поспешно добавила она. И убежала.

Друзья наливали чай из огромного железного чайника. Гай занял стакан для Лосева в соседней комнате.

— Я сам понимаю, что это малодушие, — вернулся Гай к прерванному разговору. — Может быть, потому, что здоровье зараз подкачало.

— Петя, — Лосев серьезно посмотрел на друга. — Справишься с учебой? Из университета не уйдешь? А?

— Знаешь, что я сегодня прочитал у Горького? — не ответив на вопрос, вполголоса сказал Петр. — Алексей Максимович в мои годы согласился бы, чтобы его еженедельно били палками на площади, но дали бы возможность учиться в университете... Как же я посмею уйти, — тихо добавил он, — мне все так помогают.

— Тимоша, Петро! — крикнула Катя, просунув голову в приоткрытую дверь. — Гордеев здесь... Говорят, уже уходит.

Лосев вышел в коридор. Профессор, держась за перила, медленно спускался вниз.

— Сергей Викентьевич! — позвал Лосев. — Куда же спешите? Присим к нам. У нас пир горой...

— Помилуйте, уже десять часов! Этак моя женушка на свой пир меня не дождется.

Подбежали Петр и Катя. Задрав головы, уговаривали. Катя, изумляясь своей храбрости, так и не сошла с пути профессора.

— Я сегодня как бы именинник! — сказал Гордеев, присаживаясь к столу. — Мой аспирант защитил кандидатскую диссертацию. Но этого мало! Прочитал я сегодня реферат моей аспирантки и вижу: у нее возникла интереснейшая мысль о новой трактовке двух мест в «Слове о полку Игореве». Жаль только, она слабо ее развивает! А придет она ко мне только недельки через три. Вот я и решил вырваться сюда...

— Мы очень-очень рады видеть вас здесь, у нас, Сергей Викентьевич, — сказал Петр Гай.

— Спасибо, друзья мои! Спасибо. Слышали? Рыбаков, Василий Иванович, скоро защищает. Молодец он! Два года подряд схватывается: чуть ли не врукопашную с Ростиславом Владимировичем. И все-таки — честь ему и хвала — не отступил ни на шаг.

— А что Рыбаков — способный человек? — заинтересовался Гай.

— Василий Иванович? Талантище! Его кандидатская диссертация — немалый вклад в нашу науку — перечеркивает докторскую диссертацию профессора Тюхловского.

Приоткрыв дверь, в комнату снова вошла Катя. Руки ее были заняты тарелкой и эмалированной мисочкой. На них громоздились шанежки.

— Что это значит? — Гордеев оторопело посмотрел на всех.

Катя молча, торжественно стала разливать чай.

— Сергей Викентьевич! Пожалуйста, возьмите булочку, — чувствуя себя гостеприимным хозяином, просил Петр Гай.

— Пойдет ли мне впрок ваша булочка, — шутливо возразил Гордеев, — если вы свой семинарский доклад еще не представили?

— Закончу на следующей неделе, — смущенно ответил Петр.

Гордеев взглянул на часы, растерянно сказал:

— Ох, попадет мне дома!.. Только, пожалуйста, не провожайте, — просил он, выходя в коридор. — Не собирайте шествия...

— В самом деле, как у тебя с семинарским докладом? — спросил Лосев, когда все разошлись. — Летописи осилил?

— Вначале было погано. До чего же меня раздражала у многих летописцев-книжников их оторванность от живой речи!.. Сопоставлю какой-нибудь бытовой документ, письмо с летописью — душу воротит. Бросить хотел. Но вспомнил, с каким увлечением читал нам о них Гордеев. Пересилил себя. И, знаешь, это, действительно, чертовски интересно!

— Вот видишь! А ты говорил, выбило из седла... К другому душа не лежит.

Петр тяжело вздохнул и долго молчал.

— Ты свой подготовил, Тимофей? — наконец, сказал он. — Как тема-то?

— О древнерусской повести «Нашествие Батыя на Рязань».

— Ну, и как?

— Когда брался, тоже думал — скучища, архаика. Но если бы ты знал, как ожили для меня летописи! С каждым днем, словно по ступенькам, поднимался я, Петро, все выше и выше... Вначале — источники... Евпатий Коловрат рассекает врагов надвое, до седла. Бьется один с тысячью... Скрип телег, ржание коней, дождь стрел и камней. Нашел на пожелтевших страницах признание врагов о дружине Коловрата: «сии бо люди крылаты и не имеющие страха...» Затем — у Пушкина о той эпохе: «России определено было высокое предназначение...» И будто с горной вершины оглядел все глазами Маркса: русский народ спас европейскую культуру от разгрома и истощения. Если бы ты знал, Петро, с какой гордостью я читал его слова!..

Тимофей взял с пепельницы свою недокуренную папиросу, затянулся.

— Гордеев дал мне на три дня сборник летописей... Я тебе показывал их? Книжица с полпуда весом. Страницы желтые, ветхие, подклеенные папиросной бумагой. Вечерком сижу на диване, перелистываю их... «Вороны грают над убитыми»... «Матери голосят»... И вдруг — уж не сошел ли я с ума? — слышу, наяву слышу, Петро, женский плач... Выскочил за дверь. В кухне, без света, уткнув лицо в ладони, всхлипывает Ольга Аркадьевна, соседка... Не спросил, о чем... Знаю, плачет о сыне. Связистом был. Погиб под Варшавой... Так-то, Петро, — помолчав, вполголоса добавил Тимофей. — Вспомнился мне Блок: «Доколе матери тужить... доколе коршуну кружить»... Только мы, наши поколения, отвечаем на этот вопрос...

— А ты в докладе говоришь об этом? О коммунизме?

— Говорю. Гордееву понравилось. И Тюхловский хвалил. Даже больше, чем следовало. Но в заключение осторожно заметил: «Это, собственно, не вывод вашего, — как он выразился, — наукообразного труда, а публицистика...» Публицистика! — возмущенно воскликнул Тимофей. — Ему кровь Сережи Ручева — публицистика! Что ж! Пусть публицистика. Для меня наука, которая удовлетворяется только выискиванием слабых и сильных «ерь» в письменности древнейших эпох, — не наука! Оставим это дело Жене Грачеву. А я не могу заниматься только этим!

— Вирно, Тимоша. Говори, говори! Извини, что перебил...

Тимофей замолчал и залпом допил полстакана остывшего чая.

— В конце концов, Петро, для чего мы все живем? Ради чего боремся? Чтобы люди не оплакивали своих детей. Чтобы все люди были счастливы...

Тимофея прервал стук в дверь. Вошли двое юношей, которые жили в этой комнате.

— Накурили-то! — Один из них, здороваясь с товарищами, поморщился. Приподнявшись на цыпочках, он толкнул пальцем форточку. Вместе со свежестью и ароматом рождавшейся весны ветер принес отдаленные звуки гимна:

Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!

— Уже двенадцать часов? — удивился Тимофей. — Как же это мы не заметили? Могу я у вас переночевать? Какая постель свободная? У стены? Тогда давайте укладываться.

Он несколькими движениями, по-солдатски быстро разделся, уложил одежду так, как раз и навсегда приучили его в военной школе, и повернул выключатель. В комнате погас свет. А в синем окне зажглись звезды.

Саша Чепрак, присев на край подоконника, растерянно оглядывался...

Как все это случилось? Ведь он сам составил четкий «распорядок» отчетно-выборного комсомольского собрания. Казалось, все предусмотрено: графики начерчены; яркие, с карикатурами курсовые стенные газеты развешаны; ораторы подготовлены; комсорги групп не раз слышали одобрительное: «Не подкачайте!» Чепрак даже шутил с друзьями из комитета комсомола: «Командовать парадом буду я».

И вдруг — ни лада, ни парада. Юра Кораблев должен был продемонстрировать графики успеваемости, а он брякнул: «Диаграммы, нарисованные Лилей Крыловой, хороши. А вот руководитель нашей организации никуда не годится!»

...Чепрак вздрогнул. Он перебирал в памяти все эти штурмовые для него месяцы, когда приходилось то «выправлять положение» в агитработе, то устраивать головомойку пассивным и «персональщикам», то «садиться на курс», то есть, бросив все, с неделю тормозить комсоргов какого-либо отстающего курса, проверять их планы, стыдя и предупреждая: «Не подкачайте!» Из-за этого всего он и учиться стал «как-нибудь». И вот — благодарность. Если бы не поддержка Лосева, даже в бюро не выдвинули бы... «Юра, Юра... — думал Чепрак, — ну, чего он на меня так?.. Вместе со мной мотался, сколько дел вдвоем провернули! До двенадцати ночи с факультета не уходили... Конечно, и я ошибался... Слишком долго мусолил проступок Лили Крыловой. Но нельзя же, Юра, рубить с плеча: «Чепрак грохотал — скакал на этом «отрицательном факте» по собраниям и активам, как ведьма на помеле»... «Живой человек, из крови и плоти... работает, учится — растет, а в глазах Чепрака он попрежнему — только застарелый «отрицательный факт»... «Ославил девушку на весь факультет»... «До истерики довел»... «Да что там Крылова!.. — перебил себя Саша. — Зачем ты, Юра, сюда Иво Бакоша приплел?» Саша готов был провалиться сквозь землю, когда Юра воскликнул: «...Или вот возьмите, товарищи, к примеру, Иво Бакоша. Ведь он приехал к нам, в Советский Союз, не только впитывать богатства русской литературы. Он учится здесь и комсомольской работе. Это же ясно, как дважды два!.. И вдруг перед его глазами — Чепрак!.. Скажите, можно смотреть сквозь пальцы на то, что Чепраку удалось вскарабкаться на руководящий бугорок. Нет! Таких чепраков — палкой с бугорков! И чтоб духу их не было!.. Долой чепраковщину!»

«Стыд-то какой, — тоскливо думал Чепрак. — Под аплодисменты выбирали. И провалят — под аплодисменты... Ведь теперь... теперь и комитет комсомола не будет меня поддерживать», — Чепрак искоса посмотрел во второй ряд: там сидела Леся Биденко, которая нетерпеливо; как и все, ждала появления счетной комиссии, запершейся в соседней аудитории. Чепрак встретился взглядом с Лесей, но никакого сочувствия в ее взгляде не увидел.

Чепрак всегда казался Лесе превосходным организатором. Снег ли расчищать — больше всего людей вышло с филологического; в лыжном кроссе и в волейбольных соревнованиях побеждали комсомольцы-филологи; и отчеты Чепрак никогда не задерживал. Сегодня утром, на заседании партийного бюро факультета, для Биденко неожиданными были и резкое выступление Тимофея Лосева, и беспомощные отговорки Саши Чепрака, и убедительные выводы парторга Ивана Матвеевича Жакова. Отрывая по одному листочку обстоятельнейшего, пятидесятистраничного отчетного «капустного кочана» Саши Чепрака, он возмущался: «О хоккейных клюшках — страница, об «охватах» мероприятиями — тридцать, а о самих комсомольцах, о наших людях — почти ни звука!.. По-моему, — заключил Жаков, — Чепрака нужно воспитывать на менее ответственной работе...»

Неплохой урок получила Леся Биденко в комнате первокурсниц, но только на партийном бюро она поняла, что ей, опытному, взрослому человеку, непрослительно было судить о работе Чепрака по внешним, формальным признакам.

В начале учебного года, когда комсомольцы-филологи избрали Чепрака секретарем, Биденко была довольна: до войны Саша был комсоргом курса, а вернулся в университет — ордена на груди сами говорили за него. Кажется, выбор правилен. Впоследствии, занятая сотнями неотложных дел, Леся Биденко все время забывала спросить у Саши Чепрака: чему он сам научился за последний месяц?..

А между тем секретарь комсомольского бюро Александр Чепрак катастрофически быстро отставал от других комсомольцев. Однажды, услышав, что Катя, Лиля и Петр спорят в коридоре о новой повести, Чепрак намеренно поскорее прошел мимо: он не успел прочитать эту книгу и не без основания боялся за свой авторитет.

Этот, казалось, незначительный случай должен был бы прозвучать для Чепрака, как сигнал тревоги. Но он попрежнему не успевал читать книги, волновавшие его товарищей, смотреть спектакли и кинофильмы, о которых спорили студенты, бывать на выставках и в музеях. Рискованно стало участвовать в горячих студенческих спорах.

Так Саша Чепрак и не создал «сплоченной и дружной», как писал он в одном из своих торжественных праздничных отчетов, комсомольской организации. Многие из нескольких сот очень разных и, в основном, очень хороших юношей и девушек с комсомольскими билетами в кармане, плативших на филологическом факультете членские взносы, продолжали жить каждый своей обособленной жизнью.

Чепрак только «организовывал» комсомольцев, то есть, попросту говоря, раздавал комсоргам курсов и групп задания, общественные поручения, напутствуя неизменно-казенным: «Не подкачайте!» Он пытался втиснуть — иногда даже с помощью начальственного окрика или угрозы «принять меры» — всю энергию и надежды, тревоги и увлечения сотен молодых сердец в своей непреложной, как боевой приказ, но, увы, часто составленный им «на бегу», худосочный план «неотложных мероприятий».

...Глядя на Лесю, Чепрак думал: «Зря меня так крыли. Ничего мы, Леся, не изменим. Все ваши хлопоты не стоят выеденного яйца. Воспитываем людей? Смешно!.. Плохие люди попадают? Что ж поделаешь, в семье не без урода. Не понимаю, чего от меня хотят!.. Мероприятия мы проводим, персональщиком стало меньше. Все равно всем не угодишь. Разорвись надвое, скажут: почему не натрое?.. И чего ты на меня уставилась? В первый раз увидела, что ли?»

Да, Леся впервые по-настоящему увидела Чепрака. «Командовать парадом буду я», — вспомнила она его хвастливую фразу... «Конечно, верхогляд всегда кажется самому себе верховодом. Только ли самому себе? Нет, также и себе подобным...»

— Кого вы намечаете избрать секретарем? — словно еще не зная об этом, спросила Биденко у проходившего мимо нее члена нового комсомольского бюро Юры Кораблева, когда председатель счетной комиссии огласил, наконец, результаты выборов.

— Как это кого? — удивился Юра. — Вы разве не слышали? Все комсомольцы просили у партийного бюро Тимофея Лосева. Да, — наморщив лоб, добавил он, — вы, кажется, еще вчера там, на Олимпе, считали лучшим кандидатом Сашу Чепрака.

Биденко метнула на дерзкого первокурсника строгий взгляд. Но что поделаешь? Иногда и занозистые первокурсники бывают правы...

Сразу после собрания Тимофей Лосев стал пробираться к выходу, и Юра Кораблев, вспомнив про свою заметку о Грачеве, которая лежала у него в боковом кармане пиджака, поспешил вслед за ним.

Эту плохую привычку внезапно исчезать он перенял у Чепрака и не знал, что на факультете комсомольцы уже посмеиваются: «Юра куда-то юркнул».

Юра Кораблев все свои восемнадцать лет прожил на одной улице с Женей Грачевым, через три дома от него. Но ни разу не встречался с ним: на «снегурках» вдоль улицы Женя не катался, в тимуровской команде не состоял, дрова семьям погибших фронтовиков не возил, в военных играх — двор на двор — не участвовал, в пионерских лагерях не был. А разве он мог рассказать, как тушат зажигалки?

Мать Юры, преподавательница музыкальной школы, хотела было согнать Юру с крыши, где он, по решению тимуровской команды, дежурил во время воздушной тревоги: «Не дай бог, упадешь или простудишься!» Но Юра, расплакавшись, заявил, что никому, даже своей маме, он не позволит себя позорить. Над письменным столом Юры, как на рубке боевого корабля, была выведена цифра побед: «7». Семь зажигалок он обезвредил, вооружившись брезентовыми пожарными рукавицами. Засунув зажигалку в бочку с песком, Юра вдруг решил посмотреть, как она горит. Белое пламя расплавленного термита ослепило и испугало. Но это был, пожалуй, единственный случай, когда Юре не удалось уверенно сказать о предмете, который он держал в руках, «как он действует».

Многим увлекался Юра в школьные годы. На деньги, которые давали ему родители, он приобрел сочинения Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Щедрина, Чехова, Горького, «Библиотеку поэта». Одно время покупал радиолампы, конденсаторы, трансформаторы. Начал было играть в школьном драмкружке. Но так как ему, долговязому и неловкому, предлагали только роли гитлеровских солдат, драмкружок пришлось оставить. Ночью, во время дежурств на крыше, тринадцатилетний Юра, поглядывая на звездное небо, любил поспорить с мальчишками о философских проблемах. «Что такое жизнь? Главное в жизни — это делать что-то полезное...»

Тогда, на крыше, Юре не приходилось встречать Женю Грачева. И к лучшему! Услышать от Жени, что он готовится не делать жизнь, а лишь теоретизировать «по данному вопросу», — нет, на покато́й крыше эта встреча, пожалуй, не привела бы к добру!

Юра с четырнадцати лет писал стихи. Но он никогда не пошел бы на филологический факультет, если б не поверил в великую правду слов: «И песня и стих — это бомба и знамя»...

Когда в Москве открылся «Кинотеатр повторного фильма», многое в нем для Юры было далеко не «повторным». Там он впервые увидел кинокартину «Ленин в Октябре». Он не шел — бежал домой. То, что его переполняло, он записал на обложке первой попавшейся под руку тетрадки:

Я бросился в мир, окрыленный и сильный,
Себя не щадя, не боясь ничего.
Я бросился в мир, чтоб, как в этом фильме,
Перевернуть его.

И вот Юру-то Кораблева Саша Чепрак временно (пока не выздоровеет Харимбаева) «прикрепил» к учебному сектору комсомольского бюро. «Учись, пока я жив, руководству», — шутил Чепрак. И Юра добросовестно зарылся в тетради и толстые «бухи» в прокуренной комнате бюро. Он ревностно собирал у пятнадцати комсоров сводки об успеваемости, писал отчеты и сводки комитету ВЛКСМ, составлял графики посещаемости, списки «хвостистов», с которыми, как сказал Чепрак, «надо что-то предпринять», диаграммы — а как же иначе! — успехов. Удастся Юре что-либо сделать — очень хорошо! Чепрак скажет, не глядя: «Ну, ну, валяй дальше». Не удастся — Саша Чепрак отмахнется: «Всем бы твои заботы...»

— Он? — Юра зло сверкнул глазами.— Он, стыдно сказать, расхотелся!

Тимофей пробежал глазами исписанные, без помарок, листочки.

Юра заметил, что только толстые губы Тимофея вздрагивали. Глаза, серые, спокойные, были неизменно строгими. Юра подумал о себе, что сам он, наверное, никогда не сумел бы стать авиационным штурманом.

— Так, так...— Тимофей незаметно, уголком рта улыбнулся.

Он прочитал второй листочек и теперь уже откровенно смеялся. Чтобы смехом не обидеть Юру, он затаился папироской, закашлялся.

— А здорово, братишка, ты его отделал!

Дочитав до конца, Лосев ласково взглянул на Юру.

Юра сконфузился.

— Ведь правильно?

— Какой же ты молодец, румяный! Так тебя, кажется, Петро называет?

— Значит, пойдет в газету?

— В газету? — серьезно переспросил Тимофей.— Не-ет, что ты!

— Как же так?

— Понимаешь, заголовок не тот...

— Так мы другой придумаем,— насупившись, сказал Юра и потянулся к своей заметке.

— Ну, что ж, поместим, пожалуй, твою статью в стенновке, но с одним условием...

— Я согласен! — Юра сразу же загорелся.

— С одним условием,— невозмутимо продолжал Тимофей, складывая листочки,— если ты не станешь возражать против заголовка, который будет полностью отвечать содержанию заметки.

— А... а какого?

— Ну, хотя бы: «Уничтожим Женю Грачева, как щупальцу мерзкой гидры мирового капитализма».

— Да ты что?! — упавшим голосом воскликнул Юра.— Да разве я?..

— Ты молодец, вот ты кто! — обнимая Юру, весело сказал Тимофей.— В принципе, понимаешь, в принципе ты прав, румяный. Но сейчас ты... того... не обосновал... «Грачев думает... Грачев мнит о себе...» А Грачев прибежит и скажет: «Ничего подобного я не думаю». Фактов-то здесь нет. Одни восклицательные знаки.

Тимофей Лосев справедливо считал, что возмущающие всех высказывания восемнадцатилетнего Грачева — не следствие какого-нибудь сложившегося мировоззрения. Куда там, это смешно даже предположить! «Но почему все-таки Женя, живя среди наших ребят, так цепко держится за свои ветхие «идеи», вычитанные из книг? Надо потолковать об этом с товарищами».

— Слышишь, что тебе говорят! — Тимофей ласково толкнул Юру, который с грустным выражением сунул в карман свои теперь уже смятые листочки.— Доберемся до Грачева. Ты чем хотел бы в нашем бюро заниматься?

— Только не писаниной! Шефская работа у нас еще неважнец. Вот я бы ее и поставил на ноги.

— Что ж, и возьмешь шефский сектор. А как, Юра, у тебя с учебой? Ты, кажется, хотел бежать с классического отделения?

— Разве можно! Теперь, когда американские писаки проповедуют, что войны — это закон природы! И обосновывают это всем, вплоть до античной истории... Нет, античную историю надо знать! Я хочу ее знать очень хорошо.

— Сейчас-то ты чем занимаешься?

— Пока учу латынь и греческий, да в речи Цицерона заглядываю...

Вот потрясающие легкие были у человека! Одно его вопросительно-восклицательное предложение едва на целой странице уместилось.

Лосев поднялся.

— Тимоша... — смущенно начал Юра и вдруг испугался своего вопроса.

— Ну, чего тебе, румяный?

— Тимоша! Как ты к Кате Жигаревой относишься?

— Очень хорошо.

— Я знаю, что хорошо, — нетерпеливо перебил его Юра. — Все-таки не так, например, как к Петру Гаю.

— Так же, как к Петру Гаю, — Тимофей мягко улыбнулся. — Иди-ка, Юра, к ребятам.

«Неужели Тимофей не любит Катюшу? — и огорчился и обрадовался Юра. — Такой человек, а тоже не без недостатков».

Тимофей Лосев взглянул на ручные часы. В девять часов вечера его просил зайти Иван Матвеевич Жаков.

Партийное бюро — сердце факультета. Кто из студентов или профессоров не знает маленькую, в одно окно, чисто выбеленную комнату! В этой комнате небольшой письменный стол, четыре-пять стульев. На стене, над столом парторга, портрет Сталина в скромной рамке.

Сколько людей рассказывали здесь о своих удачах и срывах, мечтах и планах, любви и неприязни. Говорили так откровенно, как порой не говорят и с матерью. Если б все те люди, теперь воспитатели молодежи на Сахалине и в Воркуте, в Риге и Фрунзе, вдруг захотели посетить эту маленькую комнату и пожать руку парторгу, которого они с такой теплотой вспоминают, то их вряд ли могла бы вместить даже огромная Коммунистическая аудитория.

Тимофей Лосев постучался в дверь партбюро.

Жаков сидел, облокотясь на стол, и разговаривал с Василием Ивановичем Рыбаковым. Перед Жаковым лежала коричневая папка и листочки, исписанные его крупным почерком, — замечания о диссертации Рыбакова.

— Подсаживайся, Тимофей, — сказал Жаков. Он неторопливо открыл ящик стола, положил туда пухлую, красиво переплетенную папку. «Профессор Тюхловский. Курс лекций», — заметил Тимофей тисненные золотом буквы заголовка.

— Я считаю, Василий Иванович, — негромко продолжал Жаков, когда Лосев сел, — что Чепрак, как воспитатель молодежи, вреден не менее, чем Тюхловский... Так, Тимофей? Он бросил острый, испытующий взгляд на Лосева.

Тимофей Лосев хотел было протестовать: «Что вы! Саша-то — наш человек, советский. Если война, так он первым винтовку возьмет». Но вдумался в слова парторга, вспомнил о Жене, Лиле... «А разве Иван Матвеевич не прав?»

Размышляя об этом, он не услышал телефонного звонка. Иван Матвеевич поднял трубку.

— Танюша? Да, кончилось. Очевидно, Лосева изберут секретарем... Передать ему твои поздравления? Он тебе кланяется... Говорю, бьет челом!.. Витюшку уложила спать?.. Опять он с Эдиком дрался? — вполголоса спрашивал Иван Матвеевич. — Да, скоро приду.

Рыбаков молча постучал себя по груди пальцем, а затем показал на телефон.

— От Васи Рыбакова привет, — понял его Жаков. — И ему также? Выглядит он прекрасно. Разодет, как жених. — Озорная нотка послышалась в голосе Жакова. — Видно, на свидание собрался.

Рыбаков слегка покраснел, и Иван Матвеевич ругнул себя: «Чорт меня дернул за язык! Он, кажется, и в самом деле собрался».

— Танюша! Василий приглашает нас погулять. На Москве-реке ледоход. Полчасика. Устала? Опыт с гидролизом белков закончила? Ну, ладно,— Жаков улыбнулся и положил трубку.— Придется тебе, Вася, без нас итти. Танюша смеется: без посторонних, говорит, Вася будет вдохновеннее декламировать девушке песни из своей диссертации... Ну, вернемся к Чепраку.

Тимофей хорошо помнил первое впечатление, которое произвел на него Иван Матвеевич Жаков.

...Немолодой широкоплечий человек в сером легком костюме спортивного покроя проходил по двору университета рядом с заместителем декана Борисом Агафоновичем. Замдекана шагал, как всегда, торопливо и нервно, размахивая руками. Походка его спутника была плавной и легкой, движения полусогнутых рук — скупые.

— Когда вы вернулись из альпинистского лагеря, Иван Матвеевич? — услышал Тимофей резкий голос замдекана.

Тимофей еще раз взглянул на того, которого назвали Иваном Матвеевичем. Светлые волосы незнакомца растрепал ветер. Лицо худощавое, без морщин, загорелое, обветренное. Определил без колебаний: «Спортивный тренер».

Когда они проходили мимо Лосева, Иван Матвеевич бросил на него мимолетный взгляд из-под полуопущенных век.

И Тимофей, улыбнувшись, сказал себе: «Нет, не спортивный тренер».

Иван Матвеевич разговаривал с Рыбаковым устало, не повышая голоса. Лицо его казалось суровым. Еще в первую неделю учебы кто-то из старшекурсников-коммунистов рассказал Тимофею, что партизанский командир Жаков штурмовал Волочаевку, дружил с Лазо и с десяток лет работал в Приморье чекистом. Поздно, только в годы первой пятилетки, он окончил рабфак, и поэтому «каменистая тропа» в науку была для него особенно крутой.

Встречаясь с Иваном Матвеевичем, Тимофей Лосев вначале робел перед ним, старым коммунистом, перевидавшим и пережившим на своем веку намного больше, чем он сам, бывший военный штурман, который облетел едва не половину земного шара.

...— Теперь вы понимаете, Василий Иванович,— закончил Жаков разговор, который, видимо, начался задолго до прихода Лосева.— Винават не столько Чепрак, сколько мы сами. Поглощенные научными дискуссиями, передоверили мы ему, передоверили, Василий Иванович... Плохо учили парня... и я, и члены нашего бюро. Об этом я буду говорить завтра на заседании партийного комитета.

Как только Рыбаков вышел, Лосев нерешительно сказал:

— А я, Иван Матвеевич, предложу Чепрака заместителем секретаря оставить. Ну да,— заторопился он, уловив в молчании Жакова неодобрение,— у него уже есть опыт. Если его оторвать от бумаг, поручать каждый раз конкретное дело, проверять...

— Подумай. Я бы лично не советовал.

— Почему?

— Скомпрометирует новое бюро.

— Он же будет работать рядом с Зефирой Харимбаевой, рядом с Юрой Кораблевым..

— Решай сам, комсомольский секретарь.

— Еще не секретарь.

— Будешь. Тебя комсомольцы любят. Ты не задавайся,— заметив довольную улыбку Лосева, добавил Жаков,— Чепрака тоже когда-то встречали с распростертыми объятиями... Скажи-ка мне лучше, что ты прочитал за последнюю неделю?

Лосев не ожидал, что спрашивать будут прежде всего о нем самом.

— За неделю? Перечитал Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», начал Козлова «В крымском подполье».

— Хорошо. А вот что меня еще интересует, Тимофей,— Жаков хитро прищурился,— как осуществляются функции диктатуры пролетариата в странах народной демократии?

Тимофей рассказал.

Лицо Ивана Матвеевича выражало одобрение, но он произнес строго

— Еще бы ты этого не знал!

— Иван Матвеевич,— Тимофей не сдержал улыбки,— меня так даже на зачете не спрашивали.

— На зачете? — серьезно повторил Жаков.— Там ты только за себя отвечал. А с сегодняшнего дня несешь ответственность за каждого комсомольца на факультете. Ясно? Галю Лебедеву знаешь?

— Она в нашей группе,— встревоженно ответил Лосев.

— А... значит, ты вместе с ней зачет по основам марксизма сдавал?

— Да.

— Как же она отвечала?

— Не знаю,— Тимофей смутился.— Я в это время свои вопросы обдумывал.

— Должен был узнать, Тимофей... Задал ей экзаминатор два вопроса. Если не ошибаюсь, об особенностях производства и, постой, постой...— Жаков наморщил лоб,— да, и о появлении в России промышленного пролетариата. Гладко отвечала девушка. А спросили ее, что общего между этими вопросами,— запуталась. Видимо, когда изучала, об этом даже не подумала. Кто друзья Лебедевой?

— Жигарева, Гай.

— Пусть помогают. Самые пламенные призывы Чепрака к бдительности здесь ни к чему. Не уследим — станет Галя начетчиком. А кому не известно, Тимофей: кредо начетчика — только дымовая завеса из красивых фраз. До первого ветра. И — в ключья.

— Хорошо, Иван Матвеевич. Что нужно Гале Лебедевой, я понял еще с первого экзамена.

— Понял ли?

— Да... Но что с этим Грачевым делать, ума не приложу.

— С Грачевым? Он уже становится «притчей во языцех», — неторопливо, вполголоса сказал Жаков.— Что ж, внимание и доверие к нему — с этого, пожалуй, надо начать. А?.. Втянуть бы его в общую жизнь, ну, хотя бы первого курса... То есть, как у него нет вкуса к общественной работе? — громко, с удивлением воскликнул Жаков, выслушав замечание Тимофея.— Чепуха! Разве общественная работа — это только сбор членских взносов, заметок в стенную газету или агитбеседы? Грачев готовит себя к научной работе, правильно? — Иван Матвеевич наклонился к Лосеву.— Так увлекли его интересным докладом в научном студенческом обществе. Пусть выступит оппонентом, полемизирует, наконец, пусть критические статьи пишет. И он сразу почувствует, что сама научная деятельность — это общественная работа... Ясно?.. Ну, а ты, Тимофей, в то же время внимательнее присмотришься к нему.— Иван Матвеевич откинулся на спинку стула, немного помолчал и снова тихо, в раздумье, продолжал: — Найди в нем хорошее. Обязательно! Используй это хорошее как плацдарм... Надеюсь, ты не отвык еще от военного языка?.. Как плацдарм... И наступай. Ясно, Тимофей?..

Иван Матвеевич выдвинул ящик стола, вынул папку с бумагами.

— Я сегодня звонил в райком партии,— сказал он, открывая папку,— нам хотят выделить для шефской работы еще одно ремесленное училище и завод. Не много?

— Справимся, Иван Матвеевич. Слышите, вон, какая силища! — Лосев показал на дверь, из-за которой донеслись приглушенные расстоянием возгласы комсомольцев.

Иван Матвеевич одобрительно улыбнулся, хотел было сказать небольшое напутствие, но произнес только:

— Чепрак упустил главное: знание — оружие. Партия должна быть твердо уверена в каждом человеке, которого возмужает.

— Спору нет, Чепрак упустил самое главное, — говорил в то же время Рыбаков Лесе Биденко. Он помог ей надеть летний плащ военного образца с капюшоном. — Но ведь, по-твоему, Лесенок, Саша Чепрак искренно хотел хорошо работать?

Василий взял Лесю под руку, и они быстро, как школьники, сбежали по безлюдной университетской лестнице до следующей площадки.

— Конечно! Он честный парень.

— Почему же он стал таким... Чепраком? А? Как ты думаешь, Лесенок? Ведь если Саше Чепраку попытаться объяснить, каким он был секретарем, он и слушать не станет. А то, пожалуй, скажет сердито: «Таких Чепраков не бывает!»

Леся улыбнулась, но голос ее прозвучал невесело:

— Думаешь, он настолько слеп?

— Слеп? Это еще полбеды. Можно бы и растолковать. Но если он лицемерит...

— Брось, Вася! Неужели ты и в самом деле думаешь, что Чепрак — засидевшийся не на своем стуле чиновник, для которого главное — сохранить видимость благополучия?

— Не настаиваю. Но — возможно...

— Ах, возможно, — певуче, в тон Рыбакову, насмешливо заметила Леся. — Сразу видно — диссертант. Чуть что — и гипотеза готова... Мне и без гипотез ясно, почему Чепрак стал таким верхоглядом. Привык командовать...

— Так и знал! — резко, недовольным тоном перебил ее Василий. — Спешешь все на Чепрака свалить. Хороша, нечего сказать! Неужели ты серьезно думаешь, что армия его испортила? Надо же такое сморозить! Армейские привычки — требовательность, четкость — ему помогали, а не мешали. Каждое указание комитета он исполнял мгновенно... Здесь, Лесенок, дело посложнее. Ты сама не менее виновата в неудачах Чепрака, чем он.

— Ты, Вася, кажется, не знаешь, что говоришь!

Они вышли на улицу. Шумной студенческой аудиторией, казалось, была вся Москва — весенняя, молодая... Разволновавшись, Леся даже не остановилась, по своему обыкновению, около узорной чугунной калитки, чтобы полюбоваться вечерними огнями.

— Да, не знаешь, — упрямо повторила она.

— Быстрее, Леся, троллейбус!

Но Леся не ответила. Шла медленно.

— Чего ты заартачилась? Разве не понятно, что сегодняшней провал Чепрака — твой на добрую половину. Что? Да, об этом мы с Жаковым и говорили. Подожди! Вот послушай. Спросил я как-то во время сессии у Чепрака: «Вас, вероятно, интересует, как проявили себя студенты на экзамене?» А он: «Комитет комсомола просит только общую сводку».

Подкатил троллейбус. Леся и Василий пробрались вперед. Они сошли на следующей остановке и повернули к набережной. Обычно безмятежная Москва-река жила сейчас беспокойной жизнью. По черной воде шарили прожекторы. Медленно плыли серовато-синие, как и ночное весеннее небо, льдины. Сталкивались, потрескивали...

Постояв в молчании около гранитного парапета, Леся и Василий не спеша пошли дальше. Влюбленные, эти вечные спутники весны, обнявшись, гуляли вдоль набережной.

«Здесь — о Чепраке? — подумал Рыбаков. — Безумцы!»

Рыбаков так долго и терпеливо ждал сегодняшнего вечера... Какой воздух! Теплый и влажный. Конец снегу! И этим бесформенным ледяным глыбам, которые пока еще мешают ярким весенним звездам мерцать в полнолудье Москвы-реки.

Рыбаков сжал пальцы Леси. Взглянув на расстроенную девушку, он сказал тихо и неуверенно, чтобы хоть как-нибудь завершить этот волновавший их обоих разговор о Саше Чепраке:

— Ну, да ладно. Ведь ты поняла, Лесёнок, о чем я тебе говорил...

— Что же тут не понять? Чепрак стал безинициативным. Если бы не партийное бюро факультета, да не наш комитет комсомола...

— Вот-вот! — с жаром воскликнул Василий, отпустив руку Леси.— Если бы не партийное бюро факультета, сколько бы Чепрак дров наломал! Но ты сама,— что ты требовала от Чепрака? Какие отчеты тебе были от него нужны прежде всего? Именно те, за которые его сейчас, на твоих глазах, нещадно ругали комсомольцы... Подожди! Дай досказать... Ведь чем, например, занимался Чепрак вчера, накануне перевыборного собрания?

— Это-то я знаю, — почувствовав правду в словах Василия, заметила Леся.

— Какой толк из того, что ты знаешь! Саша Чепрак вчера буквально с ног сбился. Не знал, за что раньше хвататься.

— Откуда это тебе известно? — на словах все еще не сдаваясь, спросила Леся.

— Да я у Чепрака все утро просидел. Думал, там во время лекций тишина. Но хотя студенты туда и не заглядывали, сосредоточиться было невозможно. Телефон звонил, не переставая. А о чем, ты думаешь, звонили Чепраку? «Немедленно сообщи количество всех бесед, проведенных агитаторами». Это ты спрашивала. — Василий загнул один палец. — Через несколько минут: «Выделите пять комсомольцев в распоряжение комитета».

Василий загибал уже десятый палец, и Леся перебила его:

— Да, но если б Чепрак был настоящим руководителем-большевиком, он и в этот суматошный день нашел бы время для главного — для работы с людьми. Если бы...

— «Если бы!» В том-то и загвоздка!.. Вот если бы ты наблюдала за отношением комсомольцев к Чепраку не только из-за стола президиума! А так... сплошное условное наклонение. Если бы да кабы... Посуди сама, на какой путь ты... ну, хотя бы только вчера толкала Чепрака... Разве, Лесёнок, и твои жизненные планы, мечты, чувства можно вместить в графы казенных и, по сути дела, пустых чепраковских отчетов?.. А?.. И в сердце твоём нет ничего, чтобы...

Рыбаков вдруг замолчал и порывистым движением сжал в своих ладонях похолодевшие от ветра мягкие пальцы Леси.

8

— Пойдемте через Александровский сад? — предложила Катя Жигарева, когда студенты после занятий вышли из университета. — До метро.

Зеленое подножие Кремля, Александровский сад, расположенный в заманчивой близости к университету, почти всегда отвлекал студентов от кратчайшего пути.

— Смотрите, клен-то остролистый как распустился! — воскликнула Катя, когда студенты прошли за железную ограду сада. Она подскочила и сорвала жесткий узорный лист, втрое больший, чем ее ладонь.

— Допрыгаешься! — Галя дернула ее за поясok платья. — Налетишь на штраф... А мне дай-ка листик вот от этого! — неожиданно попросила она, показав Кате на чевысокое кустистое дерево.

Катя протянула руку и — вскрикнула. Ой, как это она не заметила колючек на стволе и листьях!..

— Всё! Отучила ее собирать листики! — радовалась Галя.

— Ха-ха!..— Женя Грачев вдруг развеселился.— И на Катю нашлось «чортово дерево»!..

Катя решительно шагнула к дереву; едва не поранив пальцев, она отломала колючку и протянула ее оторопевшему Жене:

— На!

— Катюша, брось ребячиться! — воскликнул Петр.

Катя удивленно разглядывала и колючую диковинку, и растущую невдалеке от нее низкорослую южанку-айву с глянцевыми листьями, усыпанную оранжево-красными цветами. Но Катю уже тянуло от них к молоденьким голубым елям, которые красовались, как невесты, в глубине сада, к стройной сибирской лиственнице: она вновь принарядилась сброшенной на зиму лапчатой узорной хвоей.

После бензинового перегара улицы — то терпкие, то сладковатые запахи майского цветения.

Не спеша, гурьбой студенты шли по просохшим желтым дорожкам, продолжая прерванный у входа в Александровский сад разговор.

— Что для меня очень важно в книге? — говорила Катя, замедля шаг около густых, щедро пахнувших кустов черемухи. — Как бы это сказать?

Новую удачную книгу Катя воспринимала, как большую личную радость. Для нее была очень важна, как она называла это, тональность книги: в ней, по ее мнению, звучал нравственный мир писателя, поэта, кто писал, всегда казались ей очень чистыми, светлыми людьми. Когда однажды Лиля рассказала подругам о пьяной выходке знакомого ей поэта, Катя, придя домой, расплакалась.

«Как он смел? Как смел такой человек писать эти строки?» — твердила Катя, думая о военной поэме, которая стала для нее памятью о погибших друзьях.

— Катюша, ты, кажется, хотела пойти в книжный магазин. Пойдем вместе? — предложила Лиля.

На узкой боковой аллее, обсаженной акациями с ажурной, как зеленые кружева, листвой, показался Юра Кораблев в группе девушек. Он возвышался над ними на две головы. Зефира Харимбаева махала рукой и что-то кричала. Тимофей Лосев остановился.

— Классики идут. Вон, у «воздушных» акаций.

Задержались и остальные. Только Катя с Лилей медленно повернули к ближайшему выходу.

Катя частенько заходила в книжные магазины. То ее старый учитель пришлет из Вологды перевод, и она бегает по всей Москве, подбирая для школы географические карты; то заведующий вологодской библиотекой просит ее купить у букинистов словари и технические справочники; то, узнав о вышедшей новинке, Катя спешит на Кузнецкий мост, захватив свой отложенный от стипендии «книжный фонд».

— Катюша, куда ты пойдешь из магазина? — спросила Лиля, взяв ее под руку. — Зайдем ко мне... С тобой папа хочет познакомиться. Я ему пожаловалась тогда... после бюро. Он засмеялся: «Ну, и молодец же ваша Катя!»

— Сегодня не могу. Мне надо еще съездить в Туберкулезный институт.

— Что с тобой?

— Со мной ничего. А вот сегодня утром я получила письмо.

Катя достала вчетверо сложенный листочек и, развернув, показала Лиле.

«Дорогая Катенька, — прочла Лиля, — очень-очень прошу вас помочь мне в переводе моего Никиты Михайловича из тубдиспансера в ин-

ститут. Может быть, еще удастся его спасти. Катенька, постарайся, милая...»

— Это родственники? — Лиля взглянула на грустно-сосредоточенное лицо Кати.

— Нет, я к ним во время избирательной кампании ходила... Помнишь, я тебе говорила, крышу им долго не чинили? Я тогда обещала помочь и в конце концов растормошила управдома. Он не хотел зимой ремонтировать!

Девушки молча вышли за ограду Александровского сада.

Мокрый асфальт искрился на солнце, как река. И эта широкая площадь, и Кремль со своей зеленой террасой — Александровским садом, казались особенно праздничными на солнце.

— Как чудесно! — Катя оглянулась вокруг.

— Что?.. Ну да, — Лиля рассеянно кивнула. Она не смотрела по сторонам. Тоскливо думала о своем: «Больше двух месяцев прошло со дня выборов. Кате вот пишут. А меня на моем участке даже не узнали бы».

Лиля помнила, как она осрамилась, придя неподготовленной на первую беседу. Не сумела тогда показать линию фронта в Китае. Ей подсказал, как школьнице, мальчик, сидевший тут же, кажется, сын хозяйки квартиры, где собрались избиратели. Но ведь к следующим беседам она тщательно готовилась! «Почему же меня совсем не помнят?»

— Наши что-то надолго задержались. — Катя обеспокоенно оглянулась. «Кого это ждал Тимофей?»

— Наверное, все еще спорят, — предположила Лиля. — Катюша! Смотри по сторонам, — она попятилась от загудевшего автомобиля.

Толпа студентов медленно шла между вековых лип, по солнечной стороне главной, широкой, усеянной детьми аллеи Александровского сада. Тимофей Лосев отстал, заговорившись с Юрой Кораблевым. Петр, Галя, Женья, Зефира и присоединившиеся к ним в саду девушки с отделения классической филологии шумно обсуждали университетские новости. Предстояло распределение выпускников.

— Товарищ Гай, — неожиданно раздался знакомый голос с ближайшей скамьи, — держитесь на минутку, пожалуйста!

Гай оглянулся. На скамейке, возле большой клумбы, на которой качивались бело-розовые и красные тюльпаны, сидел с книгой в руках Василий Иванович Рыбаков. Петр пошел к нему.

«А, черт! Не забрал во-время тетрадки. Дважды человека не хоронят!..»

— Мы пойдем медленно, догоняй нас! — крикнула вслед ему Галя, не скрывая своего огорчения. Ей показалась вдруг ненужной эта прогулка. Не ради же Жени Грачева она здесь!

— Товарищ Гай, — сказал Рыбаков, подвигаясь, чтобы освободить место рядом. — Почему же вы не приходите ко мне? Я несколько раз искал вас. Приезжал в общежитие. Не застал. Однажды, признаться, мне даже показалось, что вы меня избегаете... Почему бы?..

— Разве этого нельзя понять... прочитай мою работу? — хмуро спросил Петр.

— Я, например, этого не понял... — Рыбаков серьезно взглянул в карие настороженные глаза Петра. — Что вам тогда сказал Тюхловский?

— Что заслуживал, то он мне и сказал... Правильно лупцевал. Без жалости...

— А именно?

— Именно... «идете в науку, а собираетесь заниматься частушечной мякиной...»

— Так и сказал? — Рыбаков привстал со скамейки.

— ...Кажется, так... Ну да, так! И пометки сделал.

— У вас их нет с собой?

— Есть, — без особой радости сказал Петр, доставая из портфеля два листочка. — Но, вы меня извините, Василий Иванович, я ни бельмеса в них не понял, не дорос, видно... Вот хотя бы эта цыдулька. Я ее приколот к тетрадке, чтобы не потерялась. Чего он от меня хочет?

Рыбаков взглянул:

«Только один цветок, черешни цвет, душистый и белый, сорви, до рогая...»

— Где вы записали эту песню?

— В Софии, в госпитале. Лежал вместе с болгарским партизаном. Наш полк освободил его из фашистской тюрьмы.

Василий Рыбаков читал лирическую народную песню о храбром борце за свободу, разлученном войной с любимой. Партизан нетерпеливо ждет от нее в подарок этот «черешни цвет, душистый и белый», ибо, как поется в песне, «идуший от сердца привет рождает в темнице рассвет, бороться и жить помогает».

— Ну, а что пишет Ростислав Владимирович? — Рыбаков взглянул на прикрепленный листочек. «Нет научного анализа», — писал Тюхловский. Рыбакову были хорошо знакомы и зеленые ализариновые чернила его «вечной» ручки, и его почерк, размашистый, небрежный, когда Тюхловский писал что-нибудь очень ему привычное, почти не думая. «Попытайтесь сравнить с другими лирическими песнями, в которых структуру песни образуют не черешня, а роза, фиалка, вишня. Или — в противоположной роли, — например, крапива. Установление этой доминантной функции цветка, растения и пр. — первая и главная...»

Рыбаков не дочитал, растерянно взглянул на Петра Гая и молча повертел в руках листочек.

— Да что же это такое? — голосом, дрогнувшим от негодования, воскликнул он. — Какая низость!

— Что вы, Василий Иванович, — Петр смутился, — может быть, Тюхловский прав. А?

Рыбаков не ответил. Ему было невыносимо стыдно за своего учителя, который вот уже несколько месяцев на каждом заседании кафедры, на каждом собрании, в печатных статьях декларировал: «Необходима решительная перестройка...» А сам...

«Этот структуральный бред мне приелся до тошноты, — с тоской думал Рыбаков. — Это значит, значит... Тюхловский не перестраивается! Он пристраивается! Да, да, пристраивается».

— Гай, смотрите, ничего не делайте по указаниям Тюхловского. Иначе погубите всю работу. Понимаете, он советует вам работать структуральным методом. Это формалистическая буржуазная теория. Знаете ведь, как относится Тюхловский к недавно родившемуся фольклору...

— Кажется, знаю. Но... но разве Тюхловский ошибается?

— Ошибается? Хорошенькое дело! А кто же, как не мы с вами, должны изучать живую разговорную речь — бытовую, песенную, сказовую, пословичную?! Отбирать в ней все меткое, мыслемое! Печатать свои драгоценные находки, чтобы их изучали в школе, чтоб они вошли в наш литературный язык!.. Иначе... иначе мы с вами будем тюхловскими. Пословицы да поговорки — в ящике стола, а на языке «доминантные функции»... «субъективно-объективные медитации».

Рыбаков вынул из портфеля две тетрадки в клеенчатых обложках.

— Вы собрали очень много интересного, Петр. Да, да, я говорю это вполне серьезно, — тут же добавил он, заметив удивленно-недоверчивый взгляд Петра. — Есть новые, счастливые находки, да и старые песни — благодарнейший материал для размышления.

— Вы... вы в самом деле... Не шутите?

Василий Иванович перелистал несколько страничек.

— Смотрите, Петр. Например, вот это: «Все мы славянского племени братья...»

Петр потянулся было к тетради, но снова откинулся от Рыбакова. Обозленно-упрямым тоном хорошо подготовленного к экзамену студента, которого, по его убеждению, пытаются «провалить», отрезал:

— Знаю! Марш родился в девятнадцатом веке. Когда против турок...

— Кто же с вами спорит? Правильно! Родился, когда освободительное движение возглавляла национальная буржуазия. Не так ли?

— Ну, так...

— По форме он складывался, разумеется, национальным...

— Еще бы!

— А по содержанию?.. Как, по-вашему?

— То есть... э-э... как это?..

— Националистическим. Да?

— Пожалуй.

— Ведь он, по сути дела, призывал объединиться, как братьев, и предков пана Пилсудского, и босоногого болгарского рыбака, который драные сети и те у чорбаджията арендовал...

— Это само собой! — теперь уже уверенно заметил Петр.

— А исполняемый сейчас... вот, записанный вами, советским солдатом, — он постучал пальцем по листочку, — ведь это уже иной, совсем иной марш, хотя слова в нем остались прежними. Неужели Тухловский с вами об этом не толковал?

Конечно, Петр понимал и раньше, — вернее, инстинктивно чувствовал то, о чем ему сейчас рассказал Василий Иванович. И все же, когда его ощущение было четко сформулировано, оно удивило его: ясновельможные паны Пилсудские могли иметь хоть какое-то отношение к маршу «Братское единство»?

— Ну, да это само собой понятно, — повторил Петр.

— Что ж это за живая вода, которая воскресила марш в народе? Как, по-вашему?.. И он зазвучал, да еще как зазвучал!.. — вдумайтесь, Петр, — по содержанию-то социалистическим...

— Освободили мы их, и тогда вот...

Василий Иванович дотронулся ладонью до плеча Петра, на котором все еще зеленели не выгоревшие на солнце полоски.

— ...И тогда вот этот марш — не только он, конечно, — был воскрешен великой бессмертной идеей, — изо дня в день повторяется она — вы знаете — в эпиграфах всех советских газет!

— Это-то все яснее ясного! — нетерпеливо сказал Петр, которому уже казалось: он давно постиг высшую математику, а ему зачем-то объясняют таблицу умножения.

— Понятно? Почему же вы, в таком случае, не пишете, как переосмысливается народом все это? — Рыбаков потряс тетрадями. — Вот тема нужнейшего исследования!.. Знаете, Петр? Я помогу вам, хотите?

Петр порывисто, двумя руками, пожал руку Василия Ивановича.

Они поднялись со скамьи. Не спеша обогнули клумбу.

«Ай да клумба! — Петр ликовал. — Красавица! Сколько ж тут тюльпанов? Мать честная!.. И як вони зацвили. Ну, що краше мая?..»

Глядя на встревоженное лицо Рыбакова, Гай не решался заговорить. Рыбаков шел молча, поглощенный своими мыслями: «А ведь были же в моей жизни дни, когда я мечтал об учебе у Тухловского, как о счастье... Там, на Волге... А раньше? И какие это были дни!..»

Может быть, не каждый фронтовой журналист пережил то, что Василий Рыбаков, редактор и единственный штатный сотрудник заводской многотиражки «Стахановец». Днем Василий вместе со всеми эвакуированными на восток рабочими разогревал кострами потрескавшуюся от пятидесятиградусных морозов землю, месил глину, носил кирпичи, подавал монтажникам примерзавшие к ладоням металлические детали. Только вечером начинал он редакторскую работу: собирал всю оберточную бумагу, которая оставалась от распакованных агрегатов, —

ка листовки; нестибающимися пальцами писал заметки для многотиражки и на ночь собирался в путь, за пятнадцать километров, в районную типографию. Он запрягал в нагруженные бумагой розвальни худую, подслеповатую клячу, которая всю свою жизнь ходила на насосной станции по кругу и потому, сбиваясь с заметной дороги, лезла в сугробы. С карманном фонариком бежал почти весь путь впереди нее, на ночном обжигавшем морозе, смахивая пот с лица. Зато, когда светлело белесое уральское небо, газеты и листовки уже были в котлованах — у землекопов, на лесах — у монтажников... Могла ли ему притти в усталую голову мысль: «Не справлюсь», — если рядом, по краям этой же дороги, над сугробами, на металлических мачтах высокого напряжения, под свистящим колючим вихрем поземки электрики коченеющими руками тянули провода, если именно эти дни великой заводской страды он и считал своим главным экзаменом в аспирантуру Московского университета.

Что и говорить, экзамен у Рыбакова был нелегким...

Сдать его и — попасть к этакому Тюхловскому?!

Василий резко расстегнул куртку указательным и большим пальцами, испачканными, как у школьника, синими чернилами, — остальных пальцев на его руке не было: он отморозил их в ту памятную ему зиму сорок второго года.

«Учитель», — Василий произнес это слово с горькой иронией. — Сколько сил брошено из-за него на ветер! Восемь лет дни и ночи мы учились. Чему? Наполовину тому, от чего Тюхловский отмахнулся одним росчерком пера... Как же я смел забыть об этих ребятах? Ведь Тюхловский приносит им вред каждый день, каждой своей лекцией. Сколько людей он обманывает?!»

Рыбаков посмотрел сквозь невысокую железную решетку сада.

К расцвеченной десятком государственных флагов гостинице «Националь» подкатывали, сверкая стеклами, длинные и узкие, как гончие, автомобили дипломатов. В Москве недавно закончилось совещание четырех министров иностранных дел. И опять американские дельцы реагировали на солнечное слово «мир», как быки на красный цвет.

Мимо, по аллее, зелено-серым косяком спешили куда-то нахлынувшие в эти дни в Москву готовавшие, самодовольные корреспонденты буржуазной прессы. Рыбаков оглянулся им вслед:

«Не видеть за «доминантной» ахинеей, что Тюхловский волей-неволей помогает этим патентованным лгунам! — Лоб Василия покрылся испариной. — Нет, Жаков тысячу раз прав! Надо решительно сказать Тюхловскому: «Хватит! Тот, кто сегодня не с нами...»

— У вас есть спички? — вдруг сурово спросил Рыбаков. Петр решил, что эта суровость относится к нему, с недоумением взглянул на Рыбакова.

— Пожалуйста, — он поднес огонь к папиросе.

Простившись с Петром, Рыбаков пошел к выходу по крайней от ограды аллее, вдоль которой зеленели пирамидальные тополя. У розария, на широком газоне, пожилая женщина в белом платке выпалывала изредка попадавшуюся повилику, которая, обвинив зеленые стебли, высасывала из растений все живое; пригибаясь, женщина вырывала с корнем одуванчики, подорожник — разные сорняки, которым вздумалось примоститься возле садовых цветов. Сухощавый мужчина в армейской гимнастерке и серой кепке крикнул ей: «Ничего не пропустила? Быстрее заканчивай!..» — и снова взял лопатку в руки.

Еще месяц — и зацветут розы! И садовод торопливо выкапывал блеклые, чахлые кустики непахнувших бордюрных роз, росших не на своем месте, и вместо них сажал густые кусты, которые радовали прохожих своими красивыми темнопурпурными листьями; видно, это были лучшие сорта.

«Нашему Сергею Викентьевичу, — вдруг подумал Рыбаков, сжимая кулаки, — поучиться бы у этого садовода. Да! Кое-чему...»

Петр Гай нагнал шумную, спорящую компанию. До него долетел самоуверенный, лекторский голос Грачева.

— Печально, когда тебя отсылают чуть ли не в Тьмутаракань, и последнее твое воспоминание об университете — слезы, — играя вдумчивыми интонациями, говорил Женя. — Хорошо. Не возражаю. Человек не вправе не выполнить свой долг. Но оставьте ему право быть несчастным.

— Мысль не новая, — иронически отозвалась Зефира Харимбаева. — Это сказал Роллан о солдатах империалистической войны... Но это неблагоприятно так подтасовывать Ромен Роллана!

— Хорошо, — не слушая Зефиру, уже громче повторил Женя. Рядом не было Тимофея Лосева. Без него Грачев чувствовал себя гораздо увереннее. — И многие из нас, возможно, уедут в глушь. Но за чем лицемерить, кричать: «О, счастье!» Была бы свобода выбора, вы бы тронулись из Москвы?

— Из отдельной квартиры, от папы с мамой! — Галя засмеялась. — Свобода выбора. Что значит — свобода выбора?

— Свобода — осознанная необходимость. Это — известное марксистское положение, — раздраженно ответил Женя. Он становился в глухую защиту: приготовился цитировать. — Например, неплохо сказано у...

— Замри! — Катя приблизила к носу Жени Грачева сорванный ею жесткий кленовый лист. — Опостылел ты мне — смотреть на тебя не могу!

— Эй, ребята! — крикнул подходивший к ним Тимофей Лосев. — Куда вы спешите? Погуляем.

— Пойдем? — Зефира вопросительно посмотрела на Галю.

— Нет, нет... Счастливо оставаться.

И Галя, холодно кивнув, ушла. Зефира и остальные девушки направились вслед за ней, к распахнутым массивным, на роликах, воротам.

— Чего это Галя нервничает? — удивленно спросил Петра Тимофей. Он был чем-то встревожен.

Несколько шагов прошли молча. Петру не терпелось сообщить товарищу о том, что он испытывал сейчас, после разговора с Рыбаковым... «Зараз не стоит. Позже».

— Чего вы тут кипятитесь? — снова спросил Тимофей. — А... Опять Женя. Как нам, Петро, подступиться к нему? Все наши слова — от него, как от стенки горох.

— Ну его к... Что ты с ним возишься?

— Эх, Петро! Да мне о Жене иногда не только говорить, но и думать-то тошно.

— И не думай... Посмотри, как ива зеленеет.

— Я вижу, тебя листья на деревьях волнуют больше, чем Женя Грачев.

— О це верно! Они для меня — и сею наше в садах, и песни до зорьки «Зеленый гай, густесенький»... И первый полевой цветочек в косе у дивчины... А Женя Грачев? Нехай о его судьбе батько беспокоится.

— А ты не хочешь?

— Если бы он был мне по сердцу...

— Вот она, беда-то где! — резко перебил Тимофей. — Чепрак твердит: «нетипичен для нашей молодежи», ты — «не по сердцу». О плохих думаете только тогда, когда они напакостят!

— Вообще-то да, когда гром грянет. У меня однажды...

— Подожди, Петро. Не будем вспоминать примеры, известные только тебе или мне. Возьмем случай, который знаем оба.

— Литературный?

— Нет. Из жизни. Город Краснодон. Почему погибли Олег Кошевой, Люба Шевцова, Сергей Тюленин... словом, герои-молодогвардейцы?

— Стахович предал.

— Когда ты узнал о нем, утешал себя: «нетипичен для нашей молодежи», «не по сердцу»?.. Нет, ты с гневом — яростным, справедливым, но, увы, запоздалым — ужаснулся: «Кто он? Где рос? С кем дружил? Каким был до войны?» Ибо он, нетипичный, обречен на пытки и смерть всех товарищей своих. Всех! Не кажется ли тебе, Петро: если б кто-то ответил себе на подобные вопросы на пяток лет раньше, может быть, мы имели бы счастье видеть Олега Кошевого секретарем нашего факультетского бюро?

— Кто этот «кто-то»?

— Чепрак!.. Не наш, конечно. Но похожий на него. Тот, который со Стаховичем бок о бок работал, да числился его воспитателем. Тоже, наверное, время убивал в суетне «мероприятий», исправно галочки в плане ставил: «то — провел, это — провел». А человека — проглядел!.. Стахович был начетчиком, зазнайкой, любил подчеркивать свое превосходство, самолюбие было его главной двигательной пружиной... Разве вдумчивый человек прошел бы мимо этого, несоветского в нем, которое проявлялось, наверное, на каждом шагу? Пусть даже в самых незначительных деталях, но — проявлялось. А тот Чепрак сквозь пальцы смотрел. Учится Стахович хорошо, «нагрузку» несет, взносы платит, — что ж еще? И мало того, что самого Стаховича погубил. Он руками Стаховича погубил героев краснодонской «Молодой гвардии». Да-да, Петро, их погубил Чепрак!

Тимофей остановился.

— А ты советуешь: «Не думай о Жене». Он — «не по сердцу». Ты можешь поручиться: научный работник Грачев никогда-никогда не погубит себя — не будет ни перепуганным интеллигентиком, ни, тем более, предателем; не будет среди той человеческой гнили, о которой с ненавистью пишут авторы наших военных книг? Пишут, кстати сказать, не для того, чтобы помахать кулаками после драки...

— Не могу поручиться, — не сразу, тихо ответил Петр. — Но нельзя же подойти к нему завтра и этак «слегка» тюкнуть его по голове: «Ты — возможный предатель!» Он или заплачет: «Мама!» — или побежит в милицию — и будет прав. Если же допекать его ежедневно: «такой, сякой, этакий», он еще, не дай боже, кинется с какой-нибудь крыши вниз головой.

— Кто же так посмеет обвинять Женю?! Ты с ума сошел! Какие у нас основания?.. Но мы с тобой, Петро, обязаны помнить: мелочей нет! Человека может погубить и его мелкий эгоизм, и начетничество, и зазнайство. Без усталости надо объяснять это ребятам нашим! Примеры — вот они: война, процессы шпионов, речи американских сенаторов, которые грозятся своими диверсантами, да еще — в помощь им — думают найти выродков в советской семье. Они ищут грязь! Каждое пятнышко на душе человеческой вызывает у меня тревогу! Отсюда девиз: непримиримость!.. Ты не согласен?

— Что ты, Тимофей! Возражать против этого у свежих могил молодогвардейцев... Ты с Чепраком говорил?

— Как-то спросил его: «Дал бы ты, взводный командир, рядовому Грачеву задание, от которого бы зависела судьба твоего взвода?» Он такую чертовщину понес, аж уши вяли. «Ты, — говорит, — противопоставляешь фронтовиков и нефронтовиков. На это уже райком кому-то указывал».

— Тьфу! Действительно, чертовщина. Да если говорить начистоту, Юру Кораблева или Катюшу Жигареву с Чепраком и сравнивать-то нельзя!

— Дяденьки!

Девочка с белыми кудряшками, которые выбивались у нее из-под шерстяной шапочки, мчалась на них на двухколесном детском велосипеде.

— Одного я не пойму, Тимофей,— заговорил Петр, когда они снова пошли вдоль посыпанной речным песком аллеи.— Как ты думаешь налаживать наши дела комсомольские? Займешься Грачевым? А факультет? Чепраку на откуп? Этак голову вытащишь — хвост увязнет.

— Нет, Петро. Ты же сам принимал нашу резолюцию: «поднять весь уровень воспитательной работы». Ясно? «Как человек учится? Растет ли сталинцем?» — это в центр забот наших: заседаний, личных бесед, полемик.. всех форм работы. Хочу, чтоб комсомольские собрания на факультете не были листочками календаря — оторвал и выбросил,— чтобы они, как лекции Гордеева, на всю жизнь запоминались.

— Нелегко будет...

— Или вот, например, решили мы вчера на комсомольском бюро проводить «производственные четверги». Приглашать к себе знаменитых стахановцев — токарей, литейщиков, обувщиков, журналистов, которые вернутся в Москву из поездок по дальним городам. Интересно? А то варимся в собственном соку. Лишь на четвертом курсе доберемся до двадцатого века и советской литературы... Сами будем выезжать на заводы: лекции читать, газеты выпускать.

— Газеты выпускать? — Петр скептически поджал губы.— Кому мы нужны — газеты выпускать? Сейчас на каждом заводе и поэты, и художники, и редакторы свои.

— Конечно, там и без нас обойдутся, но, думаю... от помощи не откажутся.

— Нелегко тебе придется, Тимофей!

— Почему только мне? Один в комсомольском поле не воин.

— Что ж, будем помогать, Тимофей! Всеми силами.

Тимофей и Петр пересекли аллею и сели на свободную скамейку. Пахнуло черемухой. Какой-то карапуз в голубой шапочке нес желтый песок в игрушечном ведрце и, размахивая лопаткой, напевал:

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге...

Друзья рассмеялись. Тимофей неожиданно сказал:

— Я бы женился... Хорошо иметь сынишку. Как у Иво Бакоша! Вырастет сорванец — отнимать у него рогатку, приучать давать сдачи драчунам. Честное слово, хорошо!

— Женись.

— Легко сказать! Иво Бакошу родители помогают, а я... я, брат, на свою стипендию способен только соску купить. А ребенка воспитать!.. Увы, придется мне уж, видно, лет до тридцати ходить в «девках».

— Эгей, долго ждать... А я мог бы жениться хоть сегодня,— вдруг тихо сказал Петр.— Мне, кажется, сделали предложение.

— Что-о?..

— Эх, не хотелось мне об этом никому говорить... Вот как это было. На днях в общежитии мы обсуждали один серьезный вопрос. Два наших географа поженились. Живут они на разных этажах, в общежитии. Просят комнату. Словом, вечная проблема: «Любовь и домоуправление». Какая уж тут семейная жизнь! — Петр смущенно замолчал.— Тут вдруг Галинка наша нагнулась ко мне и шепнула. «А мне, — говорит, — не придется никого просить. Напишу папе, он поможет снять комнату». Сказала и испугалась. Сразу убежала к себе.

— Ты ее любишь?

— Вряд ли.

— Что же решил?

— Я же сказал тебе: не люблю.

— То-то,— Тимофей с облегчением вздохнул.— Помню, моя мать часто говорила: любовь в сердце, как солнце в доме. Проживи-ка без солнца! Ах ты, Галинка-калинка... Решительная девушка.

— Чего-чего, а решимости...— поддакнул Петр, вспомнив о твердом намерении Гали «плюнуть на английский».

Петр был единственным человеком, кому Галя рассказала об этом («чтобы Петя не думал, что она какая-нибудь тупоголовая двоечница»). Петр тут же, во дворе общежития, накричал на нее, обозвав сгоряча «безмозглой трусихой». Он слишком хорошо знал, что такое неуверенность человека в самом себе...

На другой день он сам подошел к Гале, с которой только вчера разругался «раз и навсегда», и сказал ей с упреком: «Эх ты... я мечтал, что ты мне поможешь»... «А разве я отказываюсь?» — воскликнула обрадованная Галя.

Вечером они сидели до полуночи в читальне и вместе постигали сложное английское время — «будущее в прошедшем». Галя дала Петру честное комсомольское слово, что она («как бы ни свирепствовала Региница») получит на экзамене «свою законную четверку».

— Э, решимости-то у нее на двоих...— помолчав, повторил Петр.

— Ну, а чего же тогда нехватает, Петро? — Тимофей искоса взглянул на друга.— Добрая, чуткая, решительная,— словом, клад-девушка, а как до любви у вас дошло...

— Сам не пойму, Тимоша.— Петр поковырял землю носком сапога.— Знаешь, какая-то она... без большой мечты.

— Английский она сдаст? — вдруг серьезно спросил Тимофей.

Петр кивнул.

— А почему ее так лихорадило? — Тимофей повернулся к нему всем телом.— Не ты причина?

— Конечно,— с иронией подтвердил Петр.— Все напасти от меня.. Эх, да не о том речь!

Подхватив Тимофея под руку, он порывисто увлек его за собой. Сворачивая к клумбе, он затянул весело, густейшим басом арию Розины из «Севильского цирюльника», на ходу перефразируя ее: «Тимофей, дружище мой...» Взревев по-медвежьи: «Не ра-а-асстанусь я с тобой!» — он обхватил Тимофея двумя руками так, что у того едва не хрустнули кости.

— Слушай, сколько же здесь тюльпанов? — спросил Петр, отпуская ругавшегося Тимофея.— Да не злись! Я тебе сейчас такое расскажу о своих тетрадах!.. Что?.. Четырнадцать тысяч тюльпанов?! — Петр восхищенно смотрел на высокие тюльпаны, пламеневшие на солнце.— Честное слово, Тимоша, в моей жизни не было лучшей весны!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Хозяева будущего

1

Лето кончилось. Срывающие листву порывы ветра — предвестники свирепого норд-оста — продували Геленджикскую бухту, как аэродинамическую трубу. Юра Кораблев, уцепившись за скользкое позеленевшее бревно трамплина, окунулся последний раз в грязную пену и стремглав, пока не хлестнуло по спине прибоем, выскочил на холодную гальку. Лязгая зубами, он натянул на упругое, бронзовое от загара тело голубую майку и спортивные, из синего полотна, брюки. Юра обнял за плечи Петра Гаю и чуть ли не до рассвета шатался с ним возле санатория: то по крутому заросшему берегу, где пощипывало ноздри соленым настоем иода,

плесени и смолы, то в одуряюще-пряной темноте густого сада. Стараясь перекрыть мощный басыще Петра, он надрывно вопил в сторону кустов:

Мой совет: до обруче-енья
не целуй е-э-эго!..

Видно, поэтому-то и поднялась у Юры Кораблева температура. Поезд грохотал еще где-то возле Краснодара, а он уже, забравшись на среднюю полку, дрожал от озноба под двумя женскими пальто. «Где меня могло прохватить?..»

Последний в этом скором поезде «Новороссийск — Москва» вагон — запыленный, душный, болтавшийся из стороны в сторону — был битком набит студентами, которые возвращались из университетского санатория. В таком вагоне не заскучаешь! Не хочешь горланить в тамбуре вместе с энтузиастами песенку про Адама, которого бог лишил стипендии, спешив в другой конец вагона, где много часов подряд идет импровизированный концерт самодеятельности. Надоели доморощенные фокусники, декламаторы и певцы — отправляйся в соседнее купе: химики рассказывают там о новейшем, полученном в их лаборатории препарате — «мигом», по их уверениям, излечивающем туберкулез горла. Устал от ученых бесед — пересядь в шумное купе, над которым колышется на длинном шнурке, привязанном к вентилятору, зорко охраняемый шуточный плакатик:

«Товарищ, стой!
Не спутай физиков с соседней мелюзгой».

Одним словом, в таком вагоне можно делать почти все, что угодно: ходить по коридору на руках, изображать чреовещателя, но не вздумай болеть! Болеть негде!

Перед Сталинградом в студенческий вагон заглянула Лиля Крылова. Как жаль, она раньше не знала о нем! Такая скука в этом мягком! Лиля восторженно рассказала знакомым девушкам о том, «как дивно» проехала она по Военно-Грузинской дороге, какой «сказочный пляж» под Новороссийском, где она отдыхала на даче флотского хирурга — старого друга ее отца. Лиля радовалась, что удачно выбрала поезд: он прибывает в Москву за день до начала занятий и к тому же полон студентов.

Узнав о том, что в крайнем купе лежит больной Юра Кораблев, она всплеснула руками:

— Что же вы раньше молчали?!

Лиля побежала в полупустое отделение вагона: яростное «ш-ш...», которым обрывался здесь возглас, выгнал отсюда всех неумных крикунов.

— Юрочка, здравствуй!.. Товарищи! Но ведь здесь дует!..

Она потребовала, чтобы Юра показал ей язык, приложила мягкую ладошку к его горячему потному лбу.

— Типичная ангина... Знаешь что? — вдруг решила она. — Мы положим тебя в моем купе.

На Юру напялили чью-то кепку, набросили женское, в крупную клетку, пальто и, поддерживая под руки, увели в мягкий вагон.

— Не открывай рта на воздухе! — воскликнул Петр Гай, когда Юра вздумал протестовать.

Накрытый двумя байковыми одеялами, Юра покачивался на нижнем диване, недалеко от пожилой спутницы, которая в своей полосатой пижаме напоминала взбитую перину. Лиля вытащила из кожаного, с никелированными уголками, чемодана термометр и едва ли не горсть всяких таблеток и порошков. Лечись — не хочу! Петр с трудом поднял разбухшее от дождей окно. На первой же станции купил лучшее, по его мнению, лекарство — четвертинку. Юра понюхал граненый стакан с водкой:

— Выплесни эту дрянь!

В Сталинграде, когда Петр опять направился к Юре, навстречу ему, размахивая руками, пригибаясь, по перрону бежала Лиля.

— Быстрее! Та... жирная... скандалит. Мол, ее хотят заразить. Проводник ушел за доктором. Юру могут высадить. Ой, быстрее!

И она добавила беспомощно, плачущим голосом:

— Я так и знала: от нее добра не жди. Она мне в Новороссийске сказала: «Какое ш-шикарное море».

Двое рослых санитаров с брезентовыми носилками и старичок-доктор в полотняном костюме, с кожаным саквояжем приближались к ступенькам, возле которых висела жестяная, покрытая белой эмалью табличка с цифрой «5». У дверей толпились почти все пассажиры последнего вагона.

Девушки в сарафанах, легких блузках, спортивных брюках тут же обступили старичка:

— Доктор, дорогой!..

— Не надо высаживать!

— Вижу-вижу, шустры!.. — Старичок отмахивался от них, пытаясь пробиться, наконец, к вагону. — Большой должен быть изолирован.

— Мы его сами изолируем. Да-да, целое отделение освободим в своем вагоне.

— Доктор, дорогой!..

— Он не болен. У него хроническая ангина. Знаете, гланды!..

— Ну, будьте же, в конце концов, человеком!

Поставив саквояж на верхнюю ступеньку, отдуваясь, доктор поднялся в тамбур. Десятка полтора студентов побежали вдоль вагона, из окна в окно проводя взглядом спешившего старичка. Перед ним по коридору пятилась Лиля и, судя по ее лицу, тоже умоляла: «Доктор, дорогой!»

— Все равно не позволим высадить! — решительно заявил дочерна загоревший атлет, на красной майке которого голубел массивный парашютный значок.

— Пхи! — не то чихнул, не то усмехнулся санитар, бросая самокрутку под колеса. — Колы прикажут — всех до одного перетаскаю.

— Слаб в коленках! — угрожающе пробасил Петр и, отозвав в сторону юношу в красной майке, о чем-то зашептался с ним.

Наконец-то старичок опять появился в тамбуре. Насупив белые брови, строго взглянул на юношей и девушек, которые, запрудив середину платформы, подступили к самым его ногам. Сказал с хрипотцой:

— Ну-с, митинг объявляю открытым.

И тут все начали хохотать, визжать, кричать: сразу поняли — опасность миновала.

Ни Петра Гая, ни других студентов проводник больше в вагон не пускал, и Лиля в одиночку воевала с разбушевавшейся дамой.

— Постыдитесь! Ангина не заразна!

Юра высовывал из-под одеяла худощавую руку и то и дело тянул Лилю за розовую шелковую кофточку.

— Ну ее, Лилечка! Оставь ее, Лиленька!

Родители Юры Кораблева были на курорте, поэтому в Москве, на вокзале, его никто не встретил, Лиля, высунувшись в окно, крикнула изо всех сил:

— Папа!

И категорическим тоном, будто ей собирались противоречить:

— Я не одна. Со мной мой товарищ — Юра Кораблев.

У отца дрогнула коротко подстриженная седая борода, и Лиля тут же воскликнула:

— Папочка, он заболел в дороге!

Перегнувшись, она взяла из рук подскочившего Сергея Рожнова огромный — хоть в охапку бери! — букет георгинов, на алых лепестках которых дрожали прозрачные капли.

Отец Лили, плотный осанистый старик в пенсне на маленьком тонком носу, подхватил съжившегося юношу под локоть. Лиля поддержала Юру с другой стороны. Медленно, принаравливаясь к коротким шагам больного, они повели его к черному, парадно сияющему никелированным ребрами крыльев «ЗИС-110». Позади них пошатывался, едва волоча огромный чемодан и рюкзак, Сергей Рожнов.

Три дня пробыл Юра в квартире Крыловых. И все три дня удивлялся. Значало удивлялся огромной коричневой собаке с гладкой, будто шелковистой, шерстью, которую звали Пальма. Для Пальмы покупали особое мясо, в которое однажды даже потыкал пальцем отец Лили, и потчевали (именно потчевали, а не кормили) из алюминиевой, с утра прокипяченной тарелки. Когда к Крыловым приехали какие-то смуглые высокие люди в новеньких костюмах и, восхищенно покачивая головами, о чем-то перешептываясь, более получаса стояли вокруг породистого баблоня, Юра спросил навестившую его женщину-врача:

— Доктор, не знаете, чем прославилась Пальма?

Оказывается, Лилин отец, Петр Сергеевич Крылов, крупнейший в Союзе специалист в области грудной хирургии, произвел никому не удававшуюся доселе так называемую «аутопластическую пересадку» конечности. Попросту говоря, он начисто отрезал у собаки правую заднюю ногу, а затем, соединив нервы и кровеносные сосуды, срастил кость — полностью приживил ее на старом месте. Да так приживил, что оперированная собака уже третий год прыгала и вставала на задние лапы.

«Ай да Пальма! — восторженно думал Юра. — Теперь понятно, почему на нее хотя бы взглянуть индусские профессора и польский министр здравоохранения. Уникальный пес! Первая приживленная нога во всем мире!.. Ай да Пальма!»

— Что же это получается? — Юра вдруг сел на диване и потряс руками над кудрявой головой. — Человеку отрежет ногу трамваем, а ему ее обратно приставят! Вот это — открытие!

Нет, больше Юра не удивлялся тому, что вокруг Пальмы так суетились. Он сам подкармливал ее исподтишка после обеда жареной уткой. Но теперь Юра удивлялся другому, не замеченному им ранее... Как только он поднялся с дивана, Лиля, сияющая, нежная, чуть припудренная, одетая в длинный, до пят, серо-голубой шелковый халат с яркими цветами, провела его по всем четырем комнатам, заставленным книжными шкафами, кожаными креслами с высокими спинками, трюмо, зеркальным буфетом.

Отец Лили обычно спал в десятиметровой уютной комнатке, на узкой никелированной кровати. Две Лилины тетки-старушки укладывались на тахте. А Лиля, как говорила ее няня, «почивала» в самой большой комнате, в три окна, более похожей, по мнению Юры, на покои императрицы, чем на спальню студентки. Широкая красная дерева кровать, покрытая белым тюлем. Трельяж с дорогими безделушками из фарфора, хрустала, слоновой кости, расставленными, правда, с большим вкусом. Зеркальный шкаф. Зеркала отражались друг в друге, и Юра видел себя сразу со всех сторон. Десять Юр одновременно повернули голову. Десять Юр, словно по команде, соорили страшные рожи.

Все верхнее платье семейства Крыловых находилось в передней. Для Лили прибит в сторонке особый крючок: боже упаси, попадет инфекция с пальто теток, которые ездят в трамваях!

— Юрочка, диван, на котором ты лежишь, — исторический! — воскликнула Лиля, когда они вернулись в гостиную. — У него вот этот угол — отверни подушку, посмотри! — расщеплен снарядным осколком. Какое счастье, что папа в ту ночь не спал на нем!..

Лиля непрерывно вспоминала об отце: гордилась им.

Профессор Крылов не выезжал из Ленинграда во время блокады. В его клинике от бомбежек и обстрела вылетели рамы, сгорел верхний

этаж, но приемный покой попрежнему распахивал нуждавшимся в помощи свои двери... Туда во время блокады внесли свыше двадцати тысяч раненых и больных. И над каждым из них склонялся старый профессор. Седой, пожелтевший от бессонницы, он шел туда, где был нужен.

После освобождения Ленинграда от блокады профессор переехал в Москву. Из всей мебели прежде всего перевез старинный ковровый диван. Угол его, расщепленный снарядным осколком, прикрывали вышитые пуховые подушечки. Эти подушечки, прикрыв память о тяжелых годах, — вместе с коврами, диванами, картинами Левитана — отгородили от Лили те невзгоды, которые рано состарили и сгорбили отца. Из Ленинграда Лили эвакуировали после первых бомбежек. В Москве она знала о беспокойной жизни отца только по ночным телефонным звонкам, вызывавшим его из дому. «Опять звонят», — сквозь сон бормотала она, поворачиваясь на другой бок.

Но почет, заслуженный отцом, поднимал в глазах людей и ее: «Дочь Крылова»... С ней обращались подчеркнуто ласково, бережно. Иногда, когда ей шли навстречу особенно поспешно, какой-то внутренний голос подсказывал: «Из-за папы...» Но другой, приятный, тут же самолюбиво перебивал: «Я не так уж плоха, чтобы все делали только из-за папы».

— Лиленька, в чем все-таки дело? — шутивно спросил ее Юра, накрываясь темновишневым плюшевым одеялом. — Вокруг Пальмы няюшки прыгают — объяснимо. Уникум. Мировое открытие. Но почему с тобой-то все в доме носятся, как с писаной торбой?

Сияющее лицо Лили в глазах у Юры стало обиженно-сердитым.

— Лилечка! Почему ты мне сразу не рассказала о Пальме?

— О ней все знают. Думала, и ты...

В университет Лиля пошла только третьего сентября и вернулась не одна. Узнав о болезни Юры Кораблева, на квартиру Лили направились Катя Жигарева, Зефира Харимбаева, а с ними столько девушек с отделения классической филологии, что вместительный лифт поднял их лишь в два приема.

Составив кресла и стулья вокруг дивана, на котором, как шутили они позже, «возлежал на подушках сам», они оглушили Юру новостями. К восьмисотлетию Москвы иллюминируют Кремль! В университете — книжный базар! Леся Биденко — которая из комитета комсомола, историчка, помнишь? — вышла замуж за Рыбакова Василия Ивановича.

Одна из вестей была печальной. На последнем перед летними каникулами заседании кафедры русского языка вдруг повалился на пол Амвросий Федосеевич. Говорят, инфаркт!

— Предста-авляю себе, какое было заседанье! — воскликнула Лиля и побежала в свою комнату переодеваться.

• — Уй, я бы с этим Рожновым... ну не знаю, что бы сделала! — Зефира Харимбаева ударила по своему колену смуглым кулачком. — Он оплевывает Амвросия Федосеевича... ну, что верблюд!

— И как такой вообще попал в университет?! — недоумевала маленькая, все еще похожая на школьницу девушка в зеленом платье, которая сидела рядом с Катей. — Я бы его даже близко к воротам не подпустила!.. Слышали, девочки, в ректорат прислали анонимное письмо. Амвросия Федосеевича называют в нем... знаете кем?! — бывшим агентом Деникина! Ни больше, ни меньше! И даже намекают... — понимаете, девочки, чем это пахнет? — намекают, что он, наверно, поддерживает старые белогвардейские связи. Скажите, девочки, кто у нас в университете способен на такую гадость?! Как вы думаете? Может быть, Рожнов?

— О чем вы? — Лиля танцующей походкой вошла в комнату и еще раз потрогала прищипленную на затылке толстую косу.

Девушка в зеленом платье, не поняв отчаянного жеста Кати, обстоятельно разъяснила...

Лиля, переступив на месте, вдруг припала грудью к кожаной спинке кресла:

— Какие у вас... выскажите-ка их!.. какие у вас основания так оскорблять человека? Так немилосердно. Так легкомысленно. Так пошло! Рывком села на круглый валик.

— Сергей и в своей резкости прав! Не согласны?.. Горелов-Казанский более всего страдает от Сергея и Грома? Но он ни разу — слышите? — ни разу еще не опроверг их по существу, не опроверг «Нового учения». Почему же он отмалчивался? Или крутил вокруг да около?

— Почему отмалчивался? — смятенно повторила девушка в зеленом платье. — Н... не зн... Вот я бы этому Рожнову на его месте!..

— Уй, он совсем не отмалчивался! Я сама, своими ушами, слышала, как Амвросий Федосеевич называл в коридоре... кому только?.. Кажется, Сергею Викентьевичу... так и называл Рожнова, честное слово, негодяем и карьеристом!.. Но, Катенька, объясни ты мне... до меня никак не доходит. — Зефира Харимбаева постучала себя по иссиня-черным волосам, которые прикрывала на затылке ковровая тибетейка. — Почему в коридорах Амвросий Федосеевич такой уж-жасно смелый? И преподаватели его кафедры такие же стр-рашные храбрецы! Коридорные витии! А на общем собрании он — и ведь самое главное, не только он! — почти все обращаются к Рожнову, как к честному ученому? Почему так? Почему о человеке существуют как бы два разных мнения? Одно — на общем собрании или на заседании ученого совета, другое — в коридоре?

Это был, несомненно, один из самых трудных вопросов, когда-либо задававшихся Кате, и она беспомощно взглянула на Лилю.

— Вы отвлекаетесь от предмета нашего спора! — холодно заметила Лиля, отмахнувшись рукой от риторического, по ее мнению, восклицания. — Вернемся к главному. Доказано, что Рожнов прав! Прав по существу. Прав неопровержимо!..

— И тогда прав не он, а академик Воеводин, профессор Гром! — вскочив с кресла, упрямо сказала побледневшая девушка в зеленом платье. — Да, не он, этот истеричка в штанах, этот мазурик, который ради своей карьеры не только марристом — монахом готов стать! Хотя вот это-то, по-моему, для него — самый тяжкий крест.

— Товарищи! — воскликнула Катя. — Амвросий Федосеевич объяснил мне весной, как записывать в Вологде новые диалектизмы. А Гром говорит — абсурд! Слова нужно располагать по каким-то гнездам!..

Она хотела было решительно («Ну и пусть Лилька обижается!») присоединиться к мнению своей соседки о Рожнове, но взглянула на худое, с закрытыми ввалившимися глазами бронзовое лицо Юры:

— Что вы орете? Около больного!..

— Ай, прости, Юрочка! — К нему сразу бросились Лиля, Зефира и маленькая девушка в зеленом платье. — Прости нас, пожалуйста.

Девушки притихли, но прежняя дружеская беседа не налаживалась. Лиля подвинула вазу с печеньем и конфетами — подсластить, как она сказала, пилюлю, принесенную гостями, — но безуспешно: гости вдруг начали торопиться домой. Катя невольно выручила ее. Она нашла дело, которое снова объединило всех.

— Девочки, — вставая, сказала она, — давайте напишем сейчас Амвросию Федосеевичу теплое-теплое письмо!..

К вечеру у Юры спала температура, и он попросил Лилю принести из его рюкзака, который валялся в углу прихожей, томик Луккиана на греческом языке.

Еще в середине первого курса Изольда Ксенофоновна, или «Изольда Леопардовна», как ее шутя называли между собой студенты классического отделения, добрая, тихая старушка, преподающая на факультете древнегреческий язык, заметила, что Юра Кораблев, быстро перегоняя свою группу, читает по хрестоматии тех писателей, которых средний студент

едва-едва осиливает на третьем курсе. Посоветовала ему — «для языковой практики» — полистать древних авторов. Юра сразу же остановился на сирийском сатирике Лукиане. Еще бы! Лукиана переводили и комментировали Гете и Шиллер, Шекспир и Рабле, Вольтер и Томас Мор. На авторитет Лукиана ссылался в своих теоретических сочинениях по риторике Ломоносов! А Энгельс даже назвал его «Вольтером классической древности»!

Двухнедельная беготня по букинистам — и томики Лукиана стояли на его книжной полке. Если «Зевса трагического» Юра читал весной, как ученик, то и дело «поклеывая» в словарь, то уже «Переписку с Кроном» в конце лета он перелистывал разве только чуть-чуть медленнее, чем книгу на русском языке.

Это была, конечно, немалая победа, которой гордились все домашние Юры. Но самому Юре она принесла, увы, не только удовлетворение. Закончив чтение Лукиана и научных исследований и учебников советских ученых, посвященных его творчеству, он испытывал недоумение и растерянность. Юра решил: как только он выздоровеет — первым делом кинется к Изольде Леопардовне. Или старушка разложит ему все по полочкам, или она никуда не годится!

Придя в университет, Юра прежде всего обратил внимание на тетрадный листок, который белел под стеклом на длинной витрине расписания занятий. Вот это новость! Объявлен семинар по изучению древнеиндусского языка — санскрита. И, главное, занятиями будет руководить сам Амвросий Федосеевич! Лучший знаток санскрита!

Семинар, разумеется, был необязательным, или, как говорят в университете, факультативным. Хочешь — приходи, не хочешь — никто не взыщет. «Но разве, — сказал себе Юра, — может человек, не знающий санскрита, получить капитальную лингвистическую подготовку?»

В субботу, «отгладив» под матрасом брюки, Юра отправился вместе с Лилей в квартиру Амвросия Федосеевича, где им предстояло учиться санскриту. Там они встретили Катю Жигареву и Женю Грачева. С первого же занятия студенты вышли слегка обалдевшими. Подсаживая друг друга, десять человек едва втиснулись в сияющий черным лаком крыловский «ЗИС-110», который Лиля вызвала по телефону.

— Ну, утрамбовались? — смеясь, спросила Лиля Юру и Женю, прирастившихся на коленях у товарищей.

Она уселась рядом с пожилым, аккуратно («при галстук») одетым шофером, который что-то бурчал себе под нос о скатах. С силой, грациозным жестом, хлопнула дверцей. И обернулась к однокурсникам:

— Вы еще будете ходить на санскрит?.. С меня довольно!

Она достала из портфеля только что вышедший томик стихов и, скептически поджав губы, просмотрела оглавление.

Когда студенты, вытягивая затекшие ноги, «выгрузились» около университета, Юра сказал Лиле удрученно и тихо-тихо, так, чтобы не слышали остальные:

— Лиля! Знаешь, кто ты? По своей натуре? Не обидишься? А?.. Обычайший пенкосниматель... Увы, это мне ясно, как дважды два...

На следующее занятие пришли уже только те, кто решил овладеть санскритом всерьез. Поставили в ряд, около двери, вымытые на дворе, в луже, калоши. В ту субботу студенты побросали их грязными в углу прихожей, а позже ахнули: блестящие, кем-то вымытые, калоши были выстроены, будто по воинской команде «направо равняйся!», возле двери, носами к выходу.

Тюфли Кати оставляли на паркете мокрые следы, и старушка-няня

предложила ей тапочки. Робея, гуськом вошли в обширную гостиную, устланную персидским ковром.

Кажется, Амвросий Федосеевич чувствовал себя значительно лучше. Он тут же вышел к ним, розовощекий, сияющий, надушенный, в стоячем накрахмаленном воротничке и шелковом темносинем галстуке.

— Ну-с,— он чему-то радовался, обнажая ровные, белые, как молоко, недавно вставленные зубы. Пожал всем, будто старым знакомым, руки.— Рассаживайтесь, друзья мои!

Студенты, бесшумно отодвигая стулья, еще располагались вокруг длинного стола, покрытого темнозеленым сукном, а Амвросий Федосеевич уже стоял с длинным мелком в руках возле маленькой доски, обитой линолеумом.

Амвросий Федосеевич был твердо убежден, что на этот раз только они, эти юнцы, спасли его от неминуемой смерти. Когда у Амвросия Федосеевича вскоре после того злополучнейшего заседания кафедры начался тромбофлебит — закупорка вен — и он чуть ли не два месяца пролежал пластом на нестерпимо душной перине, стопка толстущих тетрадей и рукопись, напечатанная на машинке, всегда находились у него под рукой.

Даже когда остервенело, казалось, в клочья рвало опухшие, со вздутыми венами, ноги, Амвросий Федосеевич нащупывал глянцево-белые страницы диссертации ученика.

Амвросий Федосеевич пытался — и как пытался! — вчитаться в научный текст. Пусть по абзацу в полчаса, в час, пусть перечитывая одни и те же строчки по нескольку раз, но — осмыслить их, осмыслить во что бы то ни стало! Порадоваться находке аспиранта. Сделать свои замечания. Абзац за абзацем. Страница за страницей... Амвросий Федосеевич встретил этих загорелых, сердечных и в большинстве своем талантливых юношей и девушек, вдруг притихших возле его дверей, как единственных хранителей своих. «Ангелов-хранителей», — так думал о них иногда Амвросий Федосеевич. Они не только хранили его, эти «ангелы-хранители», которые «очумев», по выражению Юры, на уроке санскрита, собирались коллективно «махнуть» на футбольный матч — встряхнуться, то есть посвистеть и поорать. Они воскрешали его, старика, своей энергией и шуткой, неутолимой жаждой знаний и любовью к нему, любовью щедрой и яркой, возле которой стыдно, да и вряд ли возможно жить вялым и потухшим.

А студенты, вынимая из портфелей ручки и тетради, пододвигая чернильницы, радостно думали: «Какое сегодня у старика хорошее настроение!»

— Что ж, алфавит вы усвоили, — сказал Амвросий Федосеевич, положив длинный мелок на стол. — Теперь вы не первоклассники, друзья мои. Пожалуй, можно даже ускорить темпы... Как вы думаете? Можно? Ну-с, я уже говорил, что санскрит необходим не только нам, лингвистам, исследующим индоевропейские языки, но и тем, кто изучает современные индийские языки (например, хинди или маратский) или историю, культуру и литературу великого индийского народа. Великого и многострадального. Да-с! Поэтому рядом с вами, филологами, здесь сидят историки и географы. Вы уже познакомились друг с другом?.. Поэтому вопрос о долгом и кратком «а», а так же...

Полчаса студенты слушали внимательно. Как только они начали подталкивать друг друга локтями и тарашиться на окна, Амвросий Федосеевич нараспев продекламировал им отрывки из древнеиндусского эпоса «Савитри»:

«...джавалантим ива тѣджаса...»

Профессор тут же перевел и рассмешил студентов стихами о сияющей красотой юной принцессе Савитри «с глазами, как лепестки лотоса», и походкою слона («Это высший комплимент, друзья мои!»), которую никто не выбирал в жены, красотой удержанный...»

— Ну-с, отдохнули? Тогда кто из вас сходит со мной в кабинет, принесет драгоценности?

Студенты уже знали, что так в доме Горелова-Казанского именуется древние, подклеенные папиросной бумагой летописи всех времен и народов в тяжелых картонных и кожаных переплетах или же каменные, медные, бронзовые, серебряные, золотые кубки и плитки с клинописными арабскими, древнегреческими буквами, доставляемые ему время от времени учеными-археологами для исследования.

Юра Кораблев первым вскочил со стула и непривычно, по-стариковски семеня ногами, последовал за Амвросием Федосеевичем по пятам.

«А что, если спросить его о Лукиане?» — вдруг подумал Юра, уставившись на красноватую шею профессора, который открывал дверь кабинета. Не поставят же Амвросия Федосеевича втупик «простейшие вещи», которые поставили втупик, к великому изумлению Юры, превосходного знатока древнегреческого — Изольду Леопардовну. Старушка посоветовала Юре обратиться к Сергею Викентьевичу Гордееву, который, по ее мнению, наверняка ответит на все его вопросы. Но ведь смешно лезть к самому декану факультета с какими-то ученическими недоумениями, тем более, что представилась счастливая возможность потолковать с Амвросием Федосеевичем — человеком энциклопедических знаний.

— У вас большое дело к Амвросию Федосеевичу? — не очень дружелюбно спросила Юру подвижная и смуглая Любовь Амвросиевна, узнав, что один из студентов хочет задержаться в кабинете отца после двухчасовых занятий.

— Нет-нет,— Юра смутился от этого резкого, похожего на окрик вопроса.— Минуточек десять...

Любовь Амвросиевна взмахнула перед его носом рюмкой с лекарством.

— Подождите, пожалуйста, вон там, на диване. Папа, ты немножко отдохнешь! На, прими!

Амвросий Федосеевич прилег на тахту, подложив под голову несколько обшитых черным бархатом подушечек. Попросил Юру придвинуть стул и сесть рядом.

— Извините, что я полулежу...

Побеседовать наедине с талантливым учеником — что может быть лучше этого!

Юра воспринял душевную улыбку старика, как вежливо-ободряющую. Наощупь вынул из своего маленького портфеля толстую тетрадку в коричневой обложке.

— Я... тут... я выписал несколько цитат из Лукиана.

— Давайте, Юра, я их пробегу.

— Ох, извините! У меня та-акой почерк...

— А... ну, пожалуйста.

Юра старался читать по возможности выразительнее, как диктор. Но получалось, увы, монотонно и потому крайне нудно. Хорошо еще, что цитаты были небольшими.

— Вот еще... — перевернул Юра страницу тетради.— Лукиан считает бессмысленнейшим,— понимаете, Амвросий Федосеевич, так у него и сказано: «бессмысленнейшим» — порядок... — и, заглянув в тетрадь, продолжал: — «...когда одни из людей богатеют сверх меры и живут в роскоши... а другие от голода погибают».

— Это из «Переписки с Кроном»? Ну-с.

— Далее: «Честные люди находятся в пренебрежении и гибнут в бедности, болезнях и рабстве...» Отметьте себе, Амвросий Федосеевич: честные гибнут в рабстве...

— У Лукиана это выделено жирным шрифтом?

— Нет... это я... я сам,— Юра покраснел.

— Ну-с.

— Значит.. так: «...и рабстве, а самые дикие и негодные, пользуясь почестями и богатством, господствуют над лучшими».

— Позвольте, разве и это из «Перепишки с Кроном»?

— Нет-нет! Из «Зевса трагического».

— Будьте любезны,— Амвросий Федосеевич ткнул рукой куда-то в угол комнаты.— Вон там, возле окна, на самой верхней полке, в зеленой обложке — видите? Там и «Дзеус Трачѣдос».

Юра уже со второй ступеньки крутой деревянной лесенки дотянулся до книжки и — спрыгнул на пол, только на лету сообразив, что в доме Амвросия Федосеевича грохотать нельзя.

Амвросий Федосеевич раскрыл томик Лукиана.

— Так-с. Под цифрой двенадцать? Как вы перевели? «Самые дикие и негодные»?.. Неверно, Юра. Здесь сказано: «Самые дурные и негодные».

— Это все равно.

— Как все равно?— Амвросий Федосеевич оторвал голову от подушки.

— То есть для того, что я хочу вам сказать..

— Что вы говорите, юноша?! — Амвросий Федосеевич гневно взглянул на него.— Сейчас вам все равно — «дикие» или «дурные» у са-мо-го Лукиана, а позже вы начнете его переводить для издательства, и не дай бог, надругаетесь над ним так же, как... ой! — схватился он за сердце и сморщил лицо так, как будто намеревался чихнуть.— Ой... как сейчас в театре...

Бессильно, помяв черную профессорскую ермолку, он упал седой, коротко подстриженной головой на подушки и сказал плачущим голосом:

— ...как в театре... в этом... как его?.. надругаются над Софоклом!.. Над-ру-га-ются!..

Юра сидел ни жив, ни мертв.

— Ну-с,— наконец произнес Амвросий Федосеевич и открыл светлые добрые глаза, полные слез. Кряхтя, уселся на тахте и спросил Юру сухо-вато и даже чуть раздраженно:

— Что же вы, наконец, хотите мне сказать?

— Сейчас, Амвросий Федосеевич, только вот еще: «...незначительное меньшинство, подобно шмелям, обижает и грабит слабейшего». Это — из «Харона»... Из «Харона», Амвросий Федосеевич! — торопливо повторил Юра, заметив не то недоверчивый, не то укоризненный взгляд профессора.

— Что ж,— Амвросий Федосеевич пошевелил то и дело подергивавшимися губами.— Учítывая, что вы — второкурсник... — второкурсник, да-с? — за перевод вам все-таки можно поставить пять... Даже пять с плюсом,— поспешно добавил он, видя, что Юра снова заглядывает в свою тетрадку.

— Последняя цитата осталась. Можно?.. Маленькая, Амвросий Федосеевич!

— Ну-у-с.

— «Я... — то есть это Лукиан,— я... один из многих, из народа».

— Из «Апологии»?

— Ага! — восхитился Юра памятью старика. Положил тетрадку на свои колени, прикрывая чернильную кляксу на серых брюках, и почему-то тихо и неуверенно сказал:

— Каким здесь предстает перед нами Лукиан?

«Эко! — ужаснулся про себя Амвросий Федосеевич.— Нехватает, чтоб он теперь все пересказал своими словами!»

У профессора опять начало покалывать, на этот раз возле сгиба руки.

— Злободневнейшим обличителем богачей и богатства. Правда?

Амвросий Федосеевич кивнул.

— ...который именно благодаря этой злободневности остался в веках.

Амвросий Федосеевич чуть заметно кивнул, но тут же встрепенулся:
— Как вы сказали?

Юра повторил и после неопределенного «ну-с» продолжал:

— Помните, как Лукиан издевается над религиозными шарлатанами Перегрином и Александром, над светскими бездельниками, над официальными историками Парфянской войны?

— Ну-у-с! — изнеможенно протянул Амвросий Федосеевич, машинально поправил ермолку и, закрывая глаза, улегся на подушечках.

Юра растерянно поморгал, затем достал двумя пальцами из портфеля чистенький учебник по истории античной литературы.

— Вот, Амвросий Федосеевич. Только-только напечатан в Ленинграде. Даже в Москве еще не продают. Это мне оттуда дядя прислал.

Амвросий Федосеевич, приоткрыв один глаз, мельком взглянул на обложку.

— А-а... мне его тоже прислал дядя. Право слово, дядя... написавший этот учебник.

Если бы Юра хорошо знал Амвросия Федосеевича, он бы не на шутку перетрусил. Профессор собирался иронизировать — значит, в лучшем случае, перестал принимать своего собеседника всерьез.

— Значит, у вас есть книжка! — Юра обрадовался. — Тогда вы, конечно, заметили эту странную трактовку.

И Юра открыл заложенную серой промакашкой страницу.

— Здесь сказано, Амвросий Федосеевич. — посмотрите, так и сказано: «Лукиан — один из идеологов господствующего класса общества». Это о Лукиане-то? Который называл «господствующий класс» диким — ой, простите! — дурным и негодным? Нечего сказать; идесюг! Что же это такое, Амвросий Федосеевич? В учебнике? Когда еще Энгельс говорил о двух классах среди свободных в эпоху Антонинов!..

Амвросий Федосеевич, положив еще одну подушечку под голову, улегся повыше. Сонливость — как рукой сняло. И хотя у него попрежнему покалывало где-то возле сгиба руки, он заговорил прежним, слегка назидательным и хриплым голосом, которым он обычно читал лекции в Коммунистической аудитории.

— Понимаете, Юра... лукиановедение, как наука, постарше нас с вами. Этой науке столько же лет, сколько и самому Лукиану. Около двух тысяч. Да-с. За это время бытовали самые различные точки зрения ученых. Одни, как Целлер, вообще не считали его оригинальным художником и мыслителем. Другие называли его типичным софистом. Вы не знакомы хотя бы с работами Синко?.. Не беда!

Полузакрыв глаза, он продолжал утомленно и певуче, как говорил разве только на немногочисленных, безмятежно текущих семинарах, на которых чувствовал себя по-семейному просто.

— Третьи заявляли, что Лукиан просто легкомысленный... да-с, легкомысленный «журналист и фельетонист античности», этакий мотылек, порхавший от одной философской школы к другой. А Гельм даже создал теорию, будто Лукиан всего-навсего поверхностный подражатель Мениппа, жившего за пять столетий до него.

— Так это же клевета на Лукиана! — вдруг вскричал Юра.

— Что? — Амвросий Федосеевич вздрогнул. — Как вы сказали?.. Эти работы, безусловно, устарели. Они оспариваются многими. И, по-моему, справедливо. Да-с. — Амвросий Федосеевич никогда лично не занимался исследованием творчества Лукиана, однако это не мешало ему знать все, что сделано учеными и «по данному вопросу». — Но, Юра, ваше недоумение, излагая которое, вы, как мне кажется, допустили не-некоторые длинноты, не так-то просто рассеять. Законнейший вопрос: чьи интересы отражало творчество сатирика, каково же его мировоззрение — увы, увы! — все еще не выяснен лукиановедением...

— Которое существует две тысячи лет?!

Амвросий Федосеевич, вытянув шею, взглянул на растрепавшиеся волосы Юры и уселся с краю тахты, нащупывая ногами высокие домашние туфли.

— Вы забываете, Юра, что «Коммунистический манифест» написан только сто лет назад...

Судя по оторопелому взгляду Юры, его не удовлетворило это объяснение, и Амвросий Федосеевич добавил:

— А советской-то власти всего тридцать лет.

— Сро-ок...

— Для вас, юноша, любая двухзначная цифра — срок. А для науки, которая по кирпичику...

— Извините, так что же это получилось, Амвросий Федосеевич? — Юра впервые перебил профессора. — По кирпичику... вот-вот по винтику, да по кирпичику нагромодили буржуазные ученые целы горы... ну, как бы это сказать... ну, простите, вранья.

В этом кабинете, хранящем древнейшие, неоценимые памятники, над которыми священнодействовал сам Амвросий Федосеевич, словечко «вранье» прозвучало для самого Юры так дико, так неуместно грубо, что он растерянно, как бы прося поддержки, спросил:

— Ведь вранья? Правда?

Юра подождал, не ответит ли ему что-нибудь Амвросий Федосеевич, которого он, кажется, к тому же и невежливо перебил. Но профессор молчал, нервно нащупывая пальцами ног свои теплые туфли.

— Может быть, и у нас на кафедре, — наконец, робко спросил Юра, — тихая заводь? Бивуак?! А?..

— Какой бивуак? На какой кафедре? — опять встрепенулся Амвросий Федосеевич.

— На нашей... классической филологии... Почти так же, как у философов. Ну... ну, тех, о которых говорил вот этим летом товарищ Жданов. На философской дискуссии, Амвросий Федосеевич. Помните, конечно!.. Такая трактовка Лукиана — это... это гол в свои ворота! Вот что это!.. стыдно сказать, антихристианскую сатиру «О смерти Перегрина», знаете, Амвросий Федосеевич, как расценивают? Лукиан — пособник христианства! Все — шиворот-навыворот! По-моему, Амвросий Федосеевич, надо немедленно протестовать против всего этого многовекового... ну да, вранья! Молчать-то стыдно! Ведь правда?..

В дверь кабинета просунулось — в какой уж раз! — перекошенное гневом лицо Любви Амвросевны.

Юра искоса взглянул на нее и, забыв об учебнике, который лежал у него на коленях, вскочил на ноги. Подняв книгу с пола, боком попятился к двери.

— Ох, извините! Простите, пожалуйста! Я забыл, что...

Стукнулся плечом о косяк.

— До свидания, Амвросий Федосеевич!

И бегом, едва не сбив по пути старушку-няню, которая протирала мокрой тряпкой парадную дверь, не оглядываясь, Юра выскочил на улицу.

Амвросий Федосеевич всердцах накричал на дочь:

— Ты терроризируешь!.. да-с! — терроризируешь моих студентов! Наконец у меня лопнет терпение! Лопнет!..

Оставшись в кабинете один, Амвросий Федосеевич поспешил к столу; прочно уселся в кресле на подушечке, положив руки на подлокотник.

«Эко сказал мальчишка! А?.. Все шиворот-навыворот! Вот именно: все шиворот-навыворот!.. А сколько еще будет продолжаться это мое неестественное сожительство с марризмом?! С этой богоданной женой, у которой все замашки мужеубийцы?!»

Амвросий Федосеевич нервно полистал свой доклад на предстоявшей осенью научной сессии, составленный им в привычных сверхосторожных —

«обтекаемых» — выражениях, которые, по его мысли, ни в коем случае не должны были раззадорить марристов. И то, чего не удалось добиться Сергею Викентьевичу («Ему, при его комплекции, можно и повоевать», — оправдывал себя Амвросий Федосеевич), то, что не довел еще до конца Иван Матвеевич («Парторг, может, и прав, но ведь он, наверное, притокто по должности...»), то, чего не достигли ни тревожное письмо языковеда из Праги, на которое, правда, Амвросием Федосеевичем был дан тридцатистраничный, резко критикующий чешских марристов ответ, ни другие подобные сигналы из союзных республик, — всего этого добился и мысли-то не имевший о чем-либо подобном кудрявый долговязый юноша с черными, гневом горящими глазами. Амвросий Федосеевич нерешительно повертел в руках листы своего доклада, вдруг схватил несколько страниц и разорвал их в клочья.

— Мальчишкам! Мальчишкам за тебя стыдно! Дожил! Мальчишкам стыдно!..

2

Университетский читальный зал, где занимаются студенты младших курсов, заполнялся рано. Прежде Тимофей Лосев не мог понять, зачем это студенты все утро простаивают у всячего замка читальни и, когда откроют двери, бегут сломя голову. Понял он это, когда однажды на его запрос библиотекарь ответила: «На руках». С тех пор и он стал приходить, как говорили в университете, «на замок».

Студенты на цыпочках проходят мимо длинных столов. Они всматриваются в знакомые сосредоточенные лица, склоненные над книгами. Увидев своих друзей, они пробираются к ним и шепчут: «Здравств... Что читаешь?»

Все, кто подходят друг к другу в этом зале, прежде всего заглядывают в книги. Вместо обычного: «Как дела?», вопроса, который иногда задается людьми без особого интереса, просто так, здесь приветствуют друг друга словами: «Что читаешь?».

И либо разогнется подошедший студент и скажет облегченно: «Читал» либо перелистает с сожалением: «Не успею, пожалуй...». «Что читаешь?» — спрашивается всегда с искренним интересом, ревниво. Хорошее чувство ревности к товарищу, который, кажется, узнает больше, чем ты сам, всегда звучит в этом то веселом, торопливом, то внешне безразличном: «Здравств... Что читаешь?»

Молодая женщина-библиотекарь то и дело сновала в узких проходах между полками, забиралась на приставные лесенки, носила студентам стопы толстых книг.

Женя Грачев заказал себе несколько старых изданий, и библиотекарша снова забралась по лесенке к верхней полке.

«Нелегкий у нее хлеб», — подумал Петр Гай, поглядывая из-за головы соседа.

Библиотекарша протянула Грачеву книгу:

— Зачем вам этот материал?

— Надо подготовить доклад, — с достоинством ответил Женя. — За неделю.

— За неделю?! — библиотекарша с удивлением посмотрела на него. — Разве вы успеете? У вас может получиться так же, как у меня, когда я делала доклад о мануфактурах Петра: одни кружева и пуговицы.

«Потому ты и библиотекарша, что у тебя получились только одни кружева и пуговицы», — снисходительно подумал Женя.

Он взял книгу и прошел к столу.

— Садись за крайний, — сказал ему вслед Тимофей Лосев, стоявший в очереди за Петром. — Мы все туда придем.

Галя Лебедева, откинувшись на спинку стула, уже сидела за столом и перелистывала толстый том истории русской литературы. Галя готовила

семинарский доклад «Бедная Лиза» Карамзина и просматривала книги, горкой наваленные на столе. «Надо съездить к этому Симонову монастырю,— подумала она.— Посмотреть озеро, где утопилась карамзинская Лиза. Кто у нас москвичи? Тимофей, Женя».

Грачев сидел рядом, и Галя спросила у него.

— Симонов монастырь? — повторил Женя.— Где-то под Москвой. Хочешь посмотреть? Одной не стоит ехать в эту глушь.

— А ты, случайно, не знаешь,— робко спросила Галя,— где бы мне прочесть о социально-исторических корнях сентиментализма?

Грачев сморщил лоб. Лоб у него был видный, высокий.

— Об этом есть в учебнике. Затем, если не ошибаюсь, в работе «Русская литература и общественная мысль»,— ответил Женя.— Но тебе туда не стоит залезать,— трудновато.

— А ты читал? — Галя покосилась на него.

— Да.

— Понял?

— Кажется.

Галя обиженно-передернула плечами и пошла за книгой.

Петр Гай, раскачиваясь на стуле, учил латинские слова. Странное дело! Прежде всего он машинально запомнил те, о которых было сказано, что их можно не заучивать... Галя, вернувшись назад, спросила его:

— А в чем особенность русского сентиментализма? Карамзина, Радищева?

Петр отложил латынь и взглянул удивленно:

— Разве можно ставить рядом Радищева и Карамзина?

— Да, но влияние английских сентименталистов...

— Вот те на! Ты не от влияний иди.

— И к тому же, форма их произведений...

— Да разве можно начинать с формы! Ты собираешься делать марксистский анализ?

— Конечно.

— Так что же ты? Исходи из общественного бытия.

— Это я понимаю.

— Видно, не очень. Надо, чтобы эти принципы в плоть и кровь вошли.

— С чего же, по-твоему, мне начать? — обеспокоенно спросила Галя.

— Помнишь, что сказал о Радищеве Владимир Ильич? — Петр, увлекшись, рассказал все, что сам знал.— Поняла? Да ты не кивай. По глазам вижу, не все поняла. Слушай...

Вернувшись к своим занятиям, Петр начал то неторопливо, то нервно перелистывать захватанные пальцами странички карманного англо-русского словаря.

Попробуйте-ка, едва одолев институтский учебник Шевальдьева, сразу приступить к переводу Шекспира!..

Петр то и дело вытирал платком мокрый лоб. Один сонет за три часа. Не густо!.. Взять для «домашнего чтения» какие-нибудь адаптированные сказочки про собачку или глухого дедушку?

«Э, брось, ты — не первокурсник...»

Кажется, все слова сонета переведены. Точь-в-точь. И все же...

«Галиматья!..»

Петр решительно перечеркнул свои корявые фразы. И опять склонился над тоненьким, в белой картонной обложке, сборником сонетов Шекспира.

«Осел! — Петр стукнул себя по лбу.— Ведь здесь страдательный залог!..»

Возле некоторых строк кто-то проставил синим карандашом маленькие галочки. Петр старался вникнуть в глубокий, может быть, тайный смысл этих строк. Но, кажется, никакого тайного смысла не было. Для

верности Петр взглянул даже в русский стихотворный перевод. Так и есть. Синяя галочка стояла возле строк о «торжестве свиданья». На следующей странице был выделен призыв: «...люби меня!..»

Петр начал злиться:

«Втюрилась в какого-то дурака — значит можно книжку пачкать?! Оттащить бы тебя к Чепраку, он бы тебе!..»

И тут, случайно взглянув на Галя, Петр увидел, что она водила по строчкам «истории» длинным синим карандашом.

— Галя, а что ты читала вчера?

— Вчера? «Сонеты...»

«Так это ты!» — изумленно подумал Петр.

И он принялся торопливо переводить все строфы, отмеченные галочкой.

Покраснев до шеи, Петр машинально перевернул несколько страниц, нашел еще одно место, выделенное синей галочкой, быстро слазил в словарь, сверил с русским поэтическим переводом и — стремительно поднялся со стула.

— Я... э... попить воды, — бросил он товарищам, боком пролезая между стульев.

У Петра от волнения начали дрожать пальцы. Он засунул руки в карманы армейских брюк. Как ни спешил Петр по узкому проходу, между столами, он не смог уйти от этих справедливых («конечно, справедливых», — чувствовал Петр) строк, которые больно, мстительно кололи:

«Ты, бедная, шажком себе иди,

А я помчусь на крыльях впереди».

Теперь это были для Петра не просто стихи. «Много чести для меня, даже если бы любил».

...Тимофей выключил настольную лампу, вынул из кармана кителя мятый листочек — расписание занятий. Оно было написано Тимофеем в начале учебного года. Первую строчку — «понедельник» — он вывел каллиграфическим почерком, половину расписания — аккуратно, с правильными интервалами, а занятия в пятницу и субботу — наспех, наклеив букву на букву.

Он все начинал делать очень старательно, обдумывая каждую мелочь, роясь в справочниках. Увидев, что время, отведенное для учебы, на исходе, комкал работу, наспех пробегая глазами оставшиеся страницы. Вскоре Тимофей сказал себе: «Так дальше не пойдет!» Он внимательно присматривался к тому, как готовит домашние задания аккуратная Катя, как распределяет свое учебное время всеуспевающий Женя, и заставлял себя заниматься так, как сам часто учил Петра Гаю.

Тимофей взял себе за правило перечитывать вечером все записанные днем лекции. Он оставлял в своих тетрадях очень широкие поля и, читая рекомендованную литературу, выписывал на них то, чего не было в лекциях; перед экзаменом ему редко приходилось возвращаться к прочитанным книгам. Недавно Рыбаков научил его делать выписки из книг на карточки.

— За сколько дней ты думаешь это осилить? — Тимофей показал на открытые толстые книги, из которых Грачев делал выписки.

— Неделя осталась до моего доклада, — ответил Женя.

— Ты, кажется, будешь говорить о «лишних людях»?

— Да, — Женя оживился. — Над этой темой я еще долго буду трудиться. Года три. разработаю для дипломной... Она — мой крылатый конь. — Он замолчал, улыбнулся, радуясь своим мыслям, и тихо заговорил: — Я прослежу эти образы от Гамлета — Вертера — Онегина — Печорина — Рудина — к чеховским героям, к отдельным чертам этих литературных типов в Стаховиче и других подобных. Все, в конечном счете, исходит из основных черт лишних людей — индивидуализма, рационализма.

— Что тебя так заинтересовало в этом вопросе? — удивился Тимофей. «В первой, чуть ли не с детских лет выношенной работе человека должно же быть внутреннее единство автора и темы?» — подумал он.

Женя не ответил. Он быстро-быстро листал странички измятой тетрадки, которую постоянно носил в кармане пиджака.

— Из-за чужой «Бедной Лизы» приходится так спешить, — недовольно бормотал он.

— Разве ты тоже назначен оппонентом по докладу Гали?

— Конечно! Я три дня подбирал библиографию.

— Много книг?

— Семь. Но они необходимы только Лебедевой. А нам их можно не читать. Самое нужное и ценное — кандидатская диссертация Олейника. Богатейший материал! По-моему, лучшее, что есть о карамзинской «Бедной Лизе». Без него утонешь в материале и, пожалуй, даже не разберешься.

Галя уже взяла в библиотеке журнал с работой, о которой Женя сказал: «туда не стоит залезать», — и вернулась на свое место. Раскрыв журнал, она взглянула на Грачева обиженно и отчужденно.

— Не по-товарищески ты поступил, Женя, — заметив этот взгляд Гали, тихо сказал Тимофей. — Галя работает с таким увлечением. А ты...

Женя исподлобья посмотрел на хмурое лицо Гали.

— Ой, как тут толково! — лицо Гали вдруг повеселело, и она начала что-то выписывать в свою тетрадь.

У Жени даже уши покраснели.

«Нет, не все отлетает от тебя, как от стенки горох...» — заметив это, подумал Тимофей. «Найди в нем хорошее, — вспомнились слова Ивана Матвеевича Жакова. — Используй это хорошее, как плацдарм... Сохрани парня...»

— Женя, — нагнувшись, шепнул он. — Ты читал новый сборник о подвигах комсомольцев в Отечественной войне? Да? Напиши, пожалуйста, обстоятельную рецензию. В очередной номер стенной газеты.

— Тише, товарищи! — взмолилась сидевшая напротив Катя Жигарева. — Мешаете! — Невольно прислушиваясь к голосам Лосева и Грачева, она снова обернулась к Иво Бакошу, который сидел рядом, с краю стола. — Понятно, Иво? У вас в Словакии «дать» — универсальный глагол, — шопотом продолжала она. — Поэтому ты и говоришь так: «я дам мыло на полочку», «я дам шляпу на голову». А в русском языке...

Больше часу никто из товарищей Кати не проронил ни звука. Первым не выдержал Гай.

— Предлагаю короткий перерывчик, — сказал он тихо, стараясь неслышно отодвинуть свой стул.

— Рановато, — возразил Женя. Но и он не особенно упорствовал, и студенты, выйдя из читальни, подошли к балюстраде второго этажа.

Около двери Коммунистической аудитории несколько юношей и девушек спорили о реализме и романтизме. Наиболее решительно высказывались студенты юристы, экономисты, биологи, химики. Только филологи стояли в стороне: они уже поняли, что им, с их скудными познаниями в литературоведении, еще трудно участвовать в этом споре...

Из дверей славянского кабинета показался, на ходу застегивая портфель, Рыбаков.

— Ах, вот вы где! — Он дружелюбно улыбнулся студентам. — Отдыхаете? А выписали из сборника то, что я просил к семинару?

— Выписали, — бодро, за всех, ответила Галя.

— И вы, конечно? — мягко спросил Рыбаков у Петра, успехам которого он особенно радовался.

Петр уже вскинул голову, чтобы кивнуть утвердительно, и тут взгляд его упал на чуть припудренное, напряженно улыбавшееся лицо Лили

Крыловой. Он сразу вспомнил эту «пакостную историйку» с контрольной по английскому, которая так и не всплыла наружу.

— Я списал у Жигаревой, — буркнул Петр.

— А все остальные как, самостоятельно работали? — улыбка на лице Василия Ивановича пропала.

Лиля хотела было сказать: «И я списала», — но Рыбаков так сурово посмотрел на Петра, что она не решилась.

— В моем семинаре еще никогда не было отстающих. Вы понимаете это, товарищ Гай? — вежливо заметил Рыбаков. — Ведь вот Лебедева успела, — добавил он огорченно. — Почему же вы...

— Я сделаю сам, — не глядя на Рыбакова, сказал Петр.

— Еще раз? Зачем же! Прочтите и выпишите вот что. Из сборника издания тысяча девятьсот второго года... — Рыбаков назвал страницы. — Завтра покажете мне, товарищ Гай. Это вам чрезвычайно пригодится для выступления на семинаре.

— Ну, пошли, хлопцы, работать, — Гай тяжело вздохнул, когда Рыбаков ушел. «Он мне говорит: «конечно», а я...»

— Ой, я совсем забыла! — воскликнула Лиля, когда ее товарищи направились в читальню. — Женя, мне сейчас сказали, что я тоже должна быть оппонентом по «Бедной Лизе». Покажи мне, пожалуйста, библиографию. Самой неохота терять время.

Женя поднял голову, взглянул Лиле в глаза и испугался:

— Ты — тоже оппонент? «А я так неважно подготовился», — с тревогой подумал он. — Конечно, пожалуйста, — вслух сказал он, с готовностью вспоминая названия нужных книг. — Зачем тебе терять время.

Женя продиктовал шесть книг. Умолчал только о диссертации Олейника, лучшей и необходимой, на его взгляд, работе.

— Я слышала, что ценнее всего диссертация Олейника, — заметила Лиля, которой сказал об этом профессор Гордеев.

— Не знаю, — Женя опустил глаза. — Мне ее Гордеев не посоветовал... Да и другие подтвердили: «Пустая трата времени».

Катя, услышав эти слова, схватила Петра за руку.

— Как это можно? — прошептала она. — Он соврал! — И покраснела, словно это ее уличили во лжи.

Лиля вышла на Моховую улицу. «Гай сразу честно признался Василию Ивановичу. А я... как Женя». Она рассеянно взглянула на белые театральные афиши, расклеенные на углу, и, словно в насмешку над собой, вдруг вспомнила о своих прежних мыслях: «Женя мне ближе, чем все остальные».

— Ну, конечно... — расстроившись, вслух сказала Лиля. — Два тещинских лгуна...

Библиотекарьша в сером халате пощелкала выключателем, и студенты, которые сидели за длинными столами, начали торопливо складывать книги.

— Неужели половина двенадцатого? — Катя взглянула на никелированные ручные часики — последний подарок сестры, — на встававших со стульев товарищей, которые устало и сонно моргали, зевали, прикрывая рот рукой, и с наслаждением, будто сбрасывая с себя тяжесть, до боли натрудившую им за день плечи, распрямляли спины. — Ой-ой, уже без двадцати минут. То-то мне есть захотелось!.. Пошли!

Недавно прошел дождь. Они его не заметили, хотя и сидели недалеко от окна. Сыроватый осенний ветерок сразу освежил их.

Возле университетских ворот, где стоял голубой, на двух колесах, сатуратор, студенты заметили Юру Кораблева. Купив на двугривенный «последнюю» (продавщица уходила) газированную воду без сиропа, он

выплескивал ее на ладонь и смачивал лоб, виски, шею. Один стакан Юра опрокинул себе за шиворот.

— Ненормальный, что ты делаешь?! — озорно воскликнул Петр Гай, протягивая к нему руки. — Оставь мне стаканчик!

Пришлось ему дотопить Юрину воду. Раз уж попросил!

— Добре! Но — за шиворот? Тем более, ты недавно болел!

— Я очумел, — словно оправдываясь, сказал Юра. Снял пиджак и, расстегнув синюю безрукавку, вытер платком намоченную грудь. — С восьми утра корпел в научной библиотеке.

— В научной? Как ты туда пролез?

— Декан разрешил.

— Ходил к нему?

— Он меня сам вызывал.

— Сам?.. Декан?!. Що це таке?..

— А... Вы, наверное, подавали ему заявление, чтоб перевестись с классического отделения, — сказал гордившийся своей догадливостью Женя Грачев. Он смотрел на Юру снизу вверх и потому вступил ботинком в лужу. Обрызгав товарищей, прыгнул в сторону.

Юра отрицательно потряс головой, и Петр Гай тревожно, в упор, взглянул ему в лицо, на котором чернел над верхней розоватой губой первый пушок.

— А не ты ли, хлопче, вчера стекло во второй аудитории локтем высадил?

— Да нет, не поэтому он меня вызывал... — Моргая слипавшимися, воспаленными глазами, Юра остановился около университетского клуба, чтобы свернуть к троллейбусной остановке. Он простился с однокурсниками за руку и сказал как бы вскользь:

— По научному вопросу.

Галя, которая прислушивалась к «мальчишескому разговору», тут же сенсационно шепнула чуть ли не бегом торопившейся домой подруге:

— Юрку декан вызывал по научному вопросу.

— Кто сказал?

— Сам Юрка.

— Во-от заливало!

Катя оглянулась. Увидев, что юноши, толпясь, провожают Юру к остановке, подбежала к ним:

— Правда?

— Да не тяни! — Галя подступила к нему. — Я смертельно проголодалась.

— Дай ему порисоваться! Дай! — язвительно заметил Гай, не отставший от Юры ни на шаг.

— Я совсем не рисуюсь, — буркнул Юра, которому было очень приятно рассказать однокурсникам о своей беседе с Сергеем Викентьевичем.

Шурша шинами, подошел троллейбус с двумя пассажирами, которые сидели в разных концах кузова.

— На следующем поедешь! — Петр взял Юру под руку. — Ну?!

— Сейчас. Я думаю, как бы покороче изложить...

— Эге-ге! Сколько же вы беседовали?

— Полчасика. Но работы он мне задал года на три.

— Ну и загнул!

— Честное слово!

Студентов то и дело спрашивали, какой они троллейбус ждут, пятый или восьмой, становились за ними в очередь. Узнав, что они никуда не едут, ругали, толкали, и Юра сказал:

— Знаете что? Проводите меня до телеграфа. Мне еще нужно позвонить в Ялту, родителям.

Галя решительно запротестовала, но ничего не поделаешь: все пошли.

— Одним словом, так... Как-то я задал Амвросию Федосеевичу один вопросик. Он, оказывается, говорил о нем с Гордеевым. И тот меня вызвал к себе. Вот, в основном, и...

— А суть-то?! — Гай толкнул его под бок.

Чтобы сократить путь, завернули в университетский двор. В аудитории было темно, уличный свет сюда не проникал. Почему-то не горели лампочки над подъездом зоологического корпуса. Но попрежнему кое-где искрились мокрые тротуары, отражая в себе мерцание блеклосинего звездного неба. Студенты ступали по звездам.

— Суть такова. В античности существовали два основных враждующих класса — рабы и рабовладельцы, — тихо начал Юра.

— Это мы давненько знаем из «Краткого курса!» — перебил его Же-ня, обходя стороной сверкавшие пятна тротуара.

— Погоди! — Катя дернула его сзади за пиджак.

Медленно, обступив Юру, они двигались к калитке, выходящей на улицу Белинского. Юра рассказывал вначале утомленно, тихо, затем все оживленнее и громче:

— История античной философии и литературы до сих пор танцовала, как от печки, от закастневшей в веках чепуховины: мол, идеологические бури происходили тогда лишь внутри — понимаете? — внутри одного господствующего класса. Правда, чистейшая метафизика? А рабы, мол, это так себе, — что сами рабовладельцы твердили, то буржуазные ученые, как попугай, повторяли, — «говорящие орудия», без всяких мыслительных способностей. И это — о людях, давших Спартака и Аристонику! — возмущенно сказал Юра, взмахнув школьным портфельчиком.

— Ой-ой! — воскликнула Катя, забегая вперед. — Это Спартак-то без мыслительных способностей?!

— Ну да! А наша старушка Изольда Леопардовна руками разводит: мол, никаких письменных памятников рабов — слушайте, слушайте! — «не за-фи-кси-ро-вано», — по слогам, подражая ей, пискливо произнес Юра, — и потому, мол... Ну, одним словом, — Юра опять махнул портфелем, — их идеология испарилась для науки и литературы! Можно лишь гадать о ней на кофейной гуще! Изольда Леопардовна — честнейший человек, но ведь она повторяет чужие враки!.. Ну, разве это не враки?..

Тяжелые, из гнутых железных прутьев ворота на ночь запирались на длинную цепь. Они чуть-чуть приоткрывались. Этого было вполне достаточно, чтобы поодиночке, боком, пролезть в переулок и почти что не ободрасть. Застреля только Галя, девушка, по выражению Тимофея, «габаритная». Но и ее кое-как, двумя руками, пропихнул Петр Гай.

— Слушайте, я, кажется... — растерянно начал Юра, пытаясь нащупать на своем черном пиджаке оторвавшиеся пуговицы.

— Юрочка, ты остановился: «враки это или не враки?» — услужливо подсказала Галя.

— Да нет!..

Наталкиваясь друг на друга, шарили по мокрой земле. Петр чиркнул спичкой. Хотя она тут же погасла, но Галя и Катя успели выкрикнуть:

— Вот они!

— «Враки или не враки» — так вопрос не стоит, — продолжал Юра, кладя пуговицы в карман. — Ясно, враки!.. Когда жил Лукиан?

— Не то в первом веке нашей эры, — припоминал Петр, — не то во втором, не то...

— Правильно, во втором, — во-время перебил его Юра. — Рабство уже перестало себя окупать. А труд свободных презирался. Понимаете, какая петрушка? Тут уж без революции — ни туды, ни сюды.

Юра кое-как пригладил всей пятерней свои растрепавшиеся кудри, которые лезли на глаза.

— Жизнь тогда была у неимущего люда... да что там! Один поэт горько шутил: «У них нет даже кровати с клопами». Многие продавали себя и своих детей в рабство. Представляете, как жили до этого такие свободные граждане, раз они из всех предоставленных им по римскому праву свобод выбирали лишь одну — свободу поработиться?.. Их идеология отличалась от проклятий и надежд рабов?

— Безусловно, нет! — сказал Женя. Ему так хотелось, чтобы рассказ Юры, которого он невзлюбил еще на первом курсе, или разочаровал их, или уж, во всяком случае, ни на вершок не приподнял его над остальными. Женя стыдился этого нехорошего, одновременно и мстительного и завистливого чувства («в науке нельзя быть таким субъективным») и пытался судить беспристрастно.

— Я раньше, Женя, то же самое думал. Но тут-то, оказывается, и зарыта собака! У них, пухнувших с голоду, все время маячила перед глазами приманка: их формальное право когда-нибудь самим стать работодателями. Отсюда вся их идеологическая противоречивость. Теперь мне это ясно, как дважды два!

— Это интересно! Но при чем же тут Лукиан? И вообще, зачем декан объяснял тебе то, что, наверное, написано во всех учебниках? — с отчаянием воскликнула Галя, взглянув под уличным фонарем на свои ручные часы: «Мы опоздаем на метро!»

— Вот тебе на! Лукиан — бедный сирийский интеллигент. Колебания вот таких свободных — это его колебания. Как губка, впитывал он в себя то, чем они жили. Их издевки над порядками в империи! Их иронию над богами! Их страх голодной смерти! Их мечты о счастье! Их насмешки к рабовладельцам! И этим-то он косвенно выражал также, как видите, близкие ему по духу интересы рабов, их идеологию. Понятно? А раскройте-ка любой учебник, вышедший, как говорится, «за отчетный период», то есть «от Ромула до наших дней». Там — все шиворот-навыворот!

Улица Белинского привела студентов на широкую, залитую огнями улицу Горького. Они спешили к высокому, серому, точно вырубленному из скалы зданию с чегкими и строгими контурами. Взошли на ступеньки и остановились перед ярко освещенными изнутри стеклянными дверями.

— Теперь вам понятна, ребята, первостепеннейшей важности задача, которая, оказывается, давно волнует Сергея Викентьевича?..

Однокурсники тут же обступили Юру, возбужденного, растрепанного, машинально стягивавшего пальцами борта пиджака.

— ...Доказать, что была в античном мире письменно запечатленная философия, в которой с исторической неизбежностью выразилась также и идеология рабов!

— О це дило!

— А как же это сделать? — скорее выдохнул, чем спросил Тимофей, переступив от волнения с ноги на ногу.

— Сергей Викентьевич высказал мне свою гипотезу. Досконально исследовать киническую философию. Она, пусть иногда даже противоречивая, стихийная, утопическая, — это и мечта «о труде, как о благе», и отрицание богов, и прямо-таки жлокущая ненависть к рабовладельцам. Недаром именно киническая философия привлекла Лукиана. Видимо, она и породила в Лукиане тот исторический оптимизм, о котором — помните? — сказано у Маркса: «Богам Греции, однажды уже трагически раненым насмерть в «Прикованном Прометее», пришлось еще раз комически умереть в «Разговорах» Лукиана»... Вот как, ребята! Доказать это или, скажем, не это, но подобное, воскрешающее, наконец, рабов из идеологического небытия, — значит, по-моему, впервые переставить античную философию и литературу по-марксистски — с головы на ноги.

— Вот это да-а!.. — хором протянули Катя и Галя.

Тимофей молча уставился на Юру, который, казалось, горел изнутри — так сияли даже в полумраке его расширившиеся черные глаза.

— Что и говорить — задачка, — удивленно сказал Женя из-за катинной спины. — Но... как бы тебя, Юра, за такой переворот... гм... самого не перевернули бы вверх ногами. А?..

— В самом деле! — испугалась Галя. — Долго ли! Полезешь, да еще обдерешься почище, чем сейчас в воротах! На всю жизнь!

— Волков бояться — в лес не ходить! — отрезала Катя, поворачиваясь лицом к Жене и Гале. — Как вам не стыдно!

— Да-да, — тут же согласился Женя. — Это великолепно. К тому же, это почти готовый диплом.

— Поднимай выше, — не то шутя, не то серьезно сказал Гай, обнимая Юру за плечи. — Сразу кандидатская диссертация.

— Ну нет, меньше, чем на докторскую, не соглашайся! — Катя засмеялась. Помолчала, глядя куда-то поверх плеча Юры, и сказала тихо и восторженно:

— И это все лишь за полчаса...

И, будто смутившись своего изумления и восторга («ведь она не какая-нибудь наивная первокурсница!»), добавила шутливым тоном ю том, о чем размышлялась всерьез:

— Ой, мальчишки, мне так захотелось поговорить с Гордеевым!

3

Вы проходили по улице Герцена, когда из дверей университета, консерватории, юридического института толпами выходят после занятий студенты? Когда девичий хохот слышится, вероятно, сразу и на Манежной, и на Никитской площадях, хотя между ними больше километра? Когда вдруг молодеет, хорошеет улица, и разглаживаются складки на лицах пожилых людей, стоящих на троллейбусных остановках? Когда трудно грустить на вечно молодой, поющей, смеющейся улице Герцена?

Около университета, на повороте, останавливаются, сняв солнечным ожерельем окон, голубые троллейбусы. Словно им хочется, высадив всех пассажиров, захватить с собой молодежь. Видно, им мало своей красоты, — хочется, чтобы из солнечных окон смотрели солнечные лица.

Вечером сереют здания, затихает шум. Но юность все та же. Только теперь она не машет озорно портфелями, не кричит хором на всю улицу. На лицах появляется торжественность: людей ждут концертные залы консерватории, театры.

Сегодня на вечерней, чуть запорошенной снежком улице Герцена особенно много возбужденных, радостных лиц: на углу, возле жестяной урны, валяются смятые розовые, белые разграфленные листочки — карточки на промышленные товары, обеденные, «трехразовые», литературные — несть им числа, и ни один прохожий не нагибается за ними...

Разве можно не отметить такого события? Наши второкурсники топились на концерт. Не было только Тимофея Лосева, но он обещал товарищам приехать к началу.

Лиля была взволнована, считала себя обязанной все объяснять товарищам. Дорогой она рассказала, что старое здание консерватории было на Арбатской площади, там, где сейчас разбит сквер, вспомнила про мраморные плиты в фойе Малого зала, на которых золотом написаны имена выпускников консерватории, награжденных золотой медалью.

— Скрыбин, Глиер, Нежданова...

— А почему у нас в университете нет таких почетных досок? — вслух подумала Катя Жигарева. — Лермонтов, Белинский, Сеченов, Чехов, Фурманов... Чего ж это мы?

Катя то и дело поправляла Лилю. Прошло то время, когда все, что говорила Лиля, было для нее ново. Лиля и Катя очень сдружились. Но

Катя всегда жила кипучей жизнью своей комсомольской группы — круг ее интересов был намного шире: она не только ходила с Лилей по театрам и музеям, но и звала товарищей на обсуждение книг-новинок, на публичные лекции и диспуты, рассказывала о том, как сама готовилась к очередной беседе с избирателями, советовалась, что бы ей прочитать к ее докладу «Положение во Франции».

По широкой лестнице консерватории, устланной ковром, товарищи поднялись в фойе.

Еще внизу Лиля заметила Тюхловского. Он снимал котиковую шубу с плеч молодой, густо накрашенной женщины, а затем, раскрыв ее сумочку, достал деньги, чтоб расплатиться за бинокль.

Сейчас он шел впереди них, рядом с немолодым, грузным мужчиной в роговых очках. Лиля узнала в этом грузном, сутулом мужчине, который ступал по ковру с подчеркнутым достоинством, профессора Анатолия Александровича Грома. Лиля слышала, что Грома сейчас трудно встретить на факультете: он работает не то в каком-то Управлении по кадрам, не то в Министерстве высшего образования, и многие студенты-дипломники теперь часами томятся в приемной, чтобы получить у Грома десятиминутную консультацию.

— Как вы расцениваете эту диссертацию? — спросил профессор Гром у своего спутника.

— Эрудиция обширнейшая, Анатолий Александрович. Материала — уйма. Но, по правде говоря, мыслей маловато.

— Мы хотим оставить его в университете.

— Прекрасно, Анатолий Александрович, для меня он — большое облегчение! — воскликнул Тюхловский. — Я — за! Но, между нами говоря, Анатолий Александрович, для науки он — не находка. Нет, не находка. Признаюсь, я даже не буду удивлен, если послезавтра официальные оппоненты...

— Девушки! — тут же позвала Лиля Катю и Галю, немного отставших от нее. — Сюда, скорее, скорее! Кто послезавтра на факультете защищает диссертацию?

— Ты разве не знаешь? Уже сообщали в «Вечерней Москве».

— Я не заглядываю в «Вечорку».

— Василий Иванович. Давайте подарим ему после его защиты цветы, — предложила Галя.

— Не стоит. Я слышала, он совершенно неталантливый, — возразила Лиля.

— Что ты! Напротив. Уж если Тюхловский признал на заседании кафедры: «Рыбаков для науки — находка!»

— Тюхловский это сказал? Ты всегда все перепутаешь, Галина!

Девушки начали было спорить, но резкие продолжительные звонки уже звали их в зал.

— Где мы: в консерватории или в университете? — весело сказала Галя. — Точно такие же звонки!

— Ты бы хотела, чтобы здесь перед симфоническим концертом исполняли футбольный марш? — Женя не признавал ни Галиных шуток, ни ее веселости.

Студенты спешили в амфитеатр. Катя взяла билеты в третий ряд. Она не села, то и дело поглядывала на дверь. «Неужто не придет?..»

«Кажется, удачные места», — подумала Лиля, посмотрев вниз, на широкий проход партера. Там она снова увидела знакомую фигуру. Между кресел шел вслед за высоким офицером Тюхловский.

«Где я видела этого военного? Ой, да это же капитан Кабаров! Неужели он ходит на Чайковского? Наверное, взял билет в первый ряд...» — насмешливо сказала про себя Лиля и сама удивилась своей язвительности: «Чем он меня задел? Не понимаю». Кабаров остановился в середине партера и сел почти рядом с Тюхловским.

Лиля приподнялась на стуле, огляделась: вокруг было очень много знакомых молодых лиц. Казалось, половина университета пришла сегодня на концерт. Второй амфитеатр, излюбленное место студентов, давно уже переключался громким шопотом.

— Катюшечка! Добрый вечер! — раздался откуда-то сверху баритон Иво Бакоша.

Но вот с эстрады очень звонкий женский голос объявил:

— ...Чайковский. Шестая, Патетическая симфония... исполняет Государственный симфонический оркестр Союза ССР.

Тимофей Лосев весь день провел за городом, у матери Сережи Ручьева, и поздно приехал в Москву. Когда он взбежал по синему, с красными полосами по краям, ковру широкой лестницы, кто-то вполголоса поторопил его:

— Быстрее! Сейчас начнется третья часть.

Послышались аплодисменты, и Тимофей боком, то и дело извиняясь, прошел на свое место, рядом с Петром Гаем.

Легким дуновением пронесли звуки струнных, деревянных духовых. На фоне стремительного скерцо незаметно, настораживая, рождался в гобоях властный голос марша...

Тимофей, усаживаясь, оглянулся на соседей. Катя сидела, прислонившись к спинке. Широко открытыми глазами она смотрела в одну точку, куда-то повыше оркестра. Музыка для нее была как сильное течение пловцу: захватило, понесло...

«Как он ускорил темп,— размышлял Женя, глядя на дирижера.— Из-за этой лихорадочной торопливости пропадает острота».

Галя, слушая, поправляла волосы.

Тимофей Лосев уже не видел больше ни соседей, ни торжественного зала, ни оркестра. Смычки, казалось, вызывали звуки в самом сердце. Росла, крепла победная тема марша. Она стучала в горячих висках, тело вдруг стало легким, почти невесомым, словно его поднял над залом этот нарастающий вихрь звуков.

...Рев авиационных моторов. А внизу, под кабиной, советские штурмовые роты входят в освобожденную Печенгу. Рота за ротой, сверкая штыками на солнце. Из-за дальних сопok, низких, покатых, серых, без конца идут солдаты, подходят к городу непреодолимым, нарастающим маршем...

И этот марш Тимофей услышал опять! Если б звуки могли вдруг окаменеть, то, наверное, они стали бы именно этими, словно высеченными из серого гранита, штурмовыми колоннами с раздуваемыми, как крылья, шинелями.

Раздались аплодисменты. Тимофей вздрогнул. Глубоко, шумно вздохнул,— как и тогда, сердцу стало тесно в груди...

Финал. Последняя, четвертая часть симфонии. Она началась возгласами отчаяния струнных.

В зловещем нарастании меди, в печальном трепете скрипок Тимофей снова увидел так ясно, словно это было вчера... Черные тучи нависли. Воеет ветер, срывая фуражки. Противный холодный дождь хлещет по лицу, стучит о доски гроба, который несут летчики. Пригнувшись от тяжести, скользя по мокрому мху, медленно взбираются они на вершину заполярной солки, на кладбище Ваенга. Ребята ведром вычерпывают воду из открытой могилы. Весь полк бросил по горсти земли. «Сережа! Сереженька! Не вернешься...»

Неожиданно мягко, приглушенно зазвучали скрипки.

...Из-за черных туч выплыло холодное заполярное солнце. И все вокруг сразу изменилось. Засветились хмурые тучи, вздрогнули, поплыли...

Звуки таяли, умирая в басах...

Аплодисменты водопадом низверглись с амфитеатров, разлились по партеру.

Тимофей посмотрел по сторонам, взглянул на Петра. Пригнув голову к коленям, Петр пальцем смахивал со щеки слезы.

— Разве конец? — глухо, с трудом проговорил он.

— Какое сегодня великолепное адажио! — сказал Женя, когда студенты начали двигаться в густом потоке публики к раздевалке.

— Да-да, — отозвалась Лиля из-за чьей-то спины, то и дело морщась от резких, будто в две мощные ладони, хлопков. — Адажио финала и оркестровое кресчендо в третьей части — как никогда! Правда, Катя?

«А я все-таки ничего не понимаю в музыке», — печально подумал Петр Гай, прислушиваясь к голосам товарищей.

4

— Я живу там, где Карамзин утопил свою бедную Лизу, — сказал Тимофей Лосев, когда вместе с Петром Гаем и Юрой Кораблевым вышел из вестибюля станции метро «Завод имени Сталина». — Только не могу понять, где она ухитрилась утонуть. Где это озеро с одиноким дубом?

Навстречу студентам шли люди в телогрейках и распахнутых пальто, из-под которых виднелись рабочие халаты, спецовки. Вприпрыжку, перегоняя взрослых, перекликаясь, бежали подростки с поясными бляхами «РУ» (Ремесленное училище). Спешила домой утренняя смена автомобильного, подшипникового, шинного, химического и многих других заводов этого густо застроенного в годы пятилеток промышленного района. Одной этой сменой, пожалуй, можно было заселить областные города Калугу или Рязань...

— Вот мое окно, — Тимофей показал на запыленные, видно, давно немые стекла. — На втором этаже.

Во дворе пожилая женщина в полушубке и белом дворничком фартуке подвязывала тонкие деревца, заваленные чуть ли не до ветвей грязными от угольной копоти снежными кучками.

Поднялись на второй этаж. Тимофей отпер дверь.

— Прощу! — он церемонно протянул руку, приглашая в комнату. — Любуйтесь.

Комнатка показалась Петру уютной. Посмотрев с улицы на немывтое окно, он боялся, что увидит давно неметенную клетушку, разбросанные носки, грязную посуду на столе, беспорядок, который почему-то давно принято считать типично холостяцким. Комната была прибрана, пыль со спинки дивана и этажерки тщательно вытерта.

В комнате было много книг. Они не умещались на этажерке и стопками лежали на маленьком мраморном столике и даже под никелированной кроватью. Мраморный столик был приспособлен для работы.

Тимофей быстро собрал со стола, кровати и дивана исписанные листки.

— Вот здесь я тружусь, — он показал на стол, за которым, в углу, стояла хоккейная клюшка. — Поработаю, потом «гуляю» в форточке...

Круглое лицо Юры Кораблева выразило удивление.

— Очень просто, — объяснил Тимофей: — на улицу выходить некогда, а форточка большая. Просовываю в нее голову и — «гуляю».

Тимофей снял суконный, китель, остался в полосатой тельняшке, по домашнему.

— Настоящая, матросская? — с уважением спросил Юра.

Он постучал кулаком по груди Тимофея.

— Ну и наковальня! Из такой можно три мои петушинные грудки выкроить... Но зато я ростом тебя обогнал.

— Що вирно, то вирно! Встаньте-ка оба к зеркалу. Да не так! — Петр вскочил на ноги. — Прижмитесь затылками.

Тимофей и Юра послушно повернулись спинами друг к другу. Петр

зачем-то пощупал обе макушки и заключил деловым тоном, будто судья на состязаниях:

— Оба хороши. С коломенскую версту. Румяный кажется длиннее, потому что поджарый.

Тимофей вынул из шкафа чистое вышитое полотенце.

— Ну-ка, за мной! Гуськом на кухню. Умываться.

Вытерев руки, Петр вернулся в комнату и глубоко уселся на мягкий клеенчатый диван. Засмотрелся на себя в широкую зеркальную дверь шкафа.

— А ты все-таки, Тимоха, неплохо живешь. Тишина, свой стол. А чей это портрет над диваном?

В дверь тихо постучали. Тимофей поспешно надел китель.

В комнату вошла девушка лет семнадцати, в темном пальто. Толстая длинная коса была перехвачена синим бантом.

— Здравствуйте, Тимофей Иванович. Я вас у соседки ждала.

Петр встал, и девушка подала ему свою маленькую руку.

— Клава Ручьева.

Тонкие пальцы девушки были в синих чернильных пятнах, с твердыми мозолями.

— Вы купили тяпку? Вот хорошо, старую мы так и не нашли. От мамочки вам привет, очень просит приезжать почаще, — без передышки выпалила Клава. — Мы уже картошку перебрали... Нет-нет, мне некогда! — Она шагнула к двери, когда Тимофей попросил ее снять пальто и отдохнуть. — Вы приедете, Тимоша? — сказала она и сразу поправилась: — Тимофей Иванович. Что передать мамочке?

— На этой неделе не смогу, — тихо, опуская глаза, ответил Тимофей. — И на той вряд ли... Как только будет возможность — сразу приеду. Вам что-нибудь в доме нужно сделать?

— Нет. Ничего... Тимофей Иванович. Почему вы стали приезжать только что-нибудь сделать? А вы так... в гости. Мама просит. И я. Очень.

— Нет, Клавочка, — сказал Тимофей и посмотрел девушке прямо в лицо. — Занят все вечера. Как только будет время, заеду.

— Ну, хорошо, — печально согласилась она и взяла принесенную Тимофеем тяпку. — До свидания, Тимофей Иванович... И вам до свидания, — уже за порогом громко сказала Клава.

— Сестренка Ручьева? — спросил Петр, когда Тимофей вернулся в комнату. — А это, — поднял он руку к портрету в темной рамке, который висел над диваном, — и есть Сережа Ручьев?.. Ты с Клавой-то, я-смотрю, на «вы», — он обернулся к Тимофею. — С чего бы это?

Тимофей покраснел, отвернулся к окну.

«Не во-время Клавочка приехала, — подумал он. — Ну, ладно, что таить. Им-то, пожалуй, можно... Поймут...» Сел рядом с Петром, спиной к Юре, который, откинув назад кудрявую голову, разглядывал портрет Ручьева.

— Были и на «ты»... — почти шопотом произнес он. — Да так получилось.

— Девочка что-то хмурится...

— Когда погиб Сережа, я написал его матери, — начал Тимофей. — Успокаивал, как мог. Писал тогда очень искренно: «Буду любить вас, как Сережа». Верил в это. Сережка мне был ближе родного брата. А у меня за год до этого погибла мать... Сережина старушка неграмотна, и, по сути дела, я переписывался с Клавой. Ей тогда, кажется, было лет тринадцать. Называла она меня в письмах Тимочка... Мать Сережи показывала всем своим соседям мою фотографию. «Вот мой второй сыночек, такой же, как и первый». И в каждом письме: «Приезжай к нам». И вот я приехал, — сразу понизив голос, медленно продолжал Тимофей. — Живут они под Москвой, полчаса на электричке. Пришел в их дачный одноэтажный домик. Чужая мне, бревенчатая комната. В углу — иконостас. Чужая ста-

рушка, маленькая, худая, обхватила меня за плечи, плачет. Гладит меня рукой по лицу, трясется вся от рыданий, повторяет в забытьи: «Сереженька, Сереженька...» У меня слезы — комом в горле. Хочу сказать «мама» и не могу. Язык не поворачивается. Чувствую — не мать... Горе ее — мое, а сама она — все-таки чужая. — Тимофей взглянул на Петра и Юру. — Что я могу с собой поделать? В письмах писал: «Мама, мамочка, береги себя», а сказать «мамочка» — не могу... Слишком хорошо я еще свою мать помню... Знаете, какая у меня была мама? — оживился он. — Когда я уходил в армию, ей было тридцать семь лет. Молодая женщина, певунья, рукодельница. Бывало, напудрит нос, спросит весело: «Не очень наштукатурилась?» — и идет со мной под руку в кино. И вот — иконостас... Моя мамуся с религией, в основном, по стихам была знакома: «Апостол Петр (беда какая!) вдруг потерял ключи от рая». А энергии у нее!.. «Пострел — везде поспел», — звали ее подруги. День — на заводе, на трех станках. Вечер придет — прибежит, накормит меня, с собой тянет: то витрину стахановцев оформлять, то цеховую газету выпускать в клубе, то в драмколлектив. Я, бывало, к вечеру, за мамой попевая, из сил выбьюсь... Понимаете, ребята? Все, что только надо, я делаю. Сергею обещал. Пока я жив, его мать не оставлю. Но Сережкой в их семье стать не могу. Клава — умная девочка. Поняла.

— Ребята, а мне что-то Клаву стало так жалко... — плаксиво произнес Юра. Петр свирепо на него взглянул: «Цыц, румяный!» Юра виновато моргнул.

— Да... Совсем забыл... Читали вы в стенной газете рецензию Грачева на новую книжку о подвигах комсомольцев? — спросил Тимофей.

— Читали, — ответил за обоих Юра, который на днях, стоя перед номером «Комсомолии», упрекал себя: «А Женя-то, а? Ничего!.. Я, кажется, ошибся».

— Почти панегирик, верно? — спросил Тимофей. — А в разговоре с Лилей он эту книжку разнес вдребезги... Мол, в художественном отношении примитивно.

— Не может быть!.. — Юра Кораблев, пораженный, смотрел на товарищей.

— Подумать только, что через три-четыре года такой человек, может быть, станет литературным критиком, — продолжал Тимофей. — Мне стало не по себе, когда я подумал, что среди критиков возможны люди, похожие на него.

— Ну, теперь наконец возьмем Женю в оборот! — вскипел Юра.

Тимофей взял Юру за руку, усадил на диван.

— Не спеши, румяный! Надо это делать с толком. Лиля рассказала мне о своем разговоре с Женей под страшной тайной... Я хотел поручить ей критический отдел в стенной газете. Говорю, возьми себе в помощь Женю. Она обеими руками замахала: «Что ты, Женю! Ему нельзя доверять». Спрашиваю, почему? Она смутилась, вздохнула: «Наверное, — говорит, — это правда, что скрывать подлость товарища — тоже подлость... Но обещай мне, что Женя о нашем разговоре никогда не узнает».

— Обещал? — заинтересовался Петр.

— Нет. Сказал, что узнает, но в свое время. Мы поговорим о Жене полным голосом, принципиально. Вопрос серьезнее, чем мы думаем. Как это среди нас есть еще человек, в котором так много чужого, несоветского? Вы подумали об этом? Почему в данном случае Женя следовал худшим традициям желтой прессы, хотя он ее никогда и не читал?

— Влияние семьи, наверно.

— Возможно. Предположим: семья вырастила индивидуалиста. Школа этого не предотвратила. Но почему у нас, в университете, этот «индивид» ходит с гордо вскинутой головой? Кто его ободряет? Кто, по-вашему, для Жени в университете наибольший авторитет?

— Тюхловский, — с уверенностью ответил Петр.

— Да. О научной «принципиальности» Тюхловского мы все слышали. Он, может быть, и не задумывается над тем, какой резонанс вызывают его слепое упрямство и подозрительно быстрое «прозрение» на научных дискуссиях. Но дело, конечно, не только в Тюхловском. Есть ведь у нас Гордеев, есть Рыбаков, мы им больше верим. Дело еще, вероятно, и в нас самих.

— Конечно! — Петр оживился. — Понимаете, хлопцы, Тюхловского-то мы видим: его беспринципность у нас перед глазами. А меж самих себя не всегда замечаем того, кто скачет, как блоха, от мнения к мнению. И знаете, мне уже давно приходило в голову: по-моему, еще и поверхностная учеба может породить беспринципность. Почему? Если у человека в голове одно: скалтурить и как-нибудь сдать экзамен...

— Ты думаешь? — Тимофей внимательно посмотрел на Петра. — Это интересная мысль.

— Знаете что, ребята! — пройдясь по комнате, воскликнул Юра. — По-моему, чем мы ближе к коммунизму, тем необходимее так приниматься за Грачевых, — так приниматься! — чтобы они наконец перестали быть бельмом на глазу, чтобы не мешали нам учиться, не мешали ясно видеть будущее. Скажите, разве в бою прощают? А мы ведем настоящий бой. Бой за нового человека.

— Это ты чертовски хорошо сказал, румяный, — Петр широко улыбнулся.

— Вот что, Петро. Я тебе говорил о грачевской выходке? Помнишь, он скрыл от Лили библиографию? — сказал Тимофей.

— Да.

— Подумай, как бы это точнее и принципиальнее осудить.

— Добре. Но почему именно случай со злополучной библиографией? Лучше бы о его лицемерной рецензии. Яснее.

— Нет, Петро, так уж решено...

— Решено... Эге, уже обюрократился, — он шутливо пригрозил Тимофею пальцем. — С массаами не советуешься. Нет, ты скажи, почему только о библиографии?

— Помнишь, в читальне Лебедевой помогла статья, о которой Женя сказал ей: «Не залезайте туда». Сказал не злонамеренно. Просто от недоверия к ее способностям. А я заметил: он был пристыжен! Да, да, пристыжен, когда его только несправедливо заподозрили в недобросовестности. А вслед за тем Женя проявил ее. В полной мере. Соврал Лиле... Ну, и оттолкнемся от этого.

«Вот если б наконец удалось осуществить здесь мысли Макаренко о воспитании! Жаков сколько раз говорил об этом», — подумал Тимофей и продолжал:

— Послушать тебя, Петро, так надо Женю всеми его грехами, как обухом по голове. Чтобы не встал. Зачем? Нашупали мы хорошее в Жене. Используем это как плацдарм...

— Ты, Тимофей, вроде как диспозицию разработал, — Петр засмеялся. — Направление удара — слабое место в обороне противника. Атакует штурмовой отряд. Главные силы — в резерве.

— Может быть, — серьезно заметил Тимофей. — Только цель иная. Противника уничтожают. А Грачева надо спасти.

Петр внимательно слушал, что говорил Тимофей, и в то же время всматривался в мелко исписанные листочки, сложенные на его рабочем столе. Наконец, не вытерпел:

— Пишешь, Тимоха?

— Понемногу.

— О чем?

— Не о чем, а о ком: «Белинский в Московском университете».

— Э!.. Чего ж ты молчал?

— Может быть, и не получится. Пороху нехватит. Сколько нужно

знать, чтобы писать! Зачем же объявлять заранее? Земля, Петро, не любит тех, кто не оправдывает надежд. Нам, летчикам, между прочим,— Тимофей улыбнулся,— эта истина нагляднее, чем другим: боками усвоена... А как, Петро, твои-то дела,— перебил себя Тимофей,— как поживает твой фольклорный сборник?

Петр молчал.

— Что-нибудь не удастся? — с участием спросил Тимофей.

— Не то, что не удастся. Я хочу весь фактический материал, собранный мной за годы войны, отдать Рыбакову. Это — надежные руки. Мне сейчас не по зубам эта тема. Слабо знаю фольклор Балканских стран, бывавший до войны.

— Зачем же ты спешишь? — воскликнул Тимофей.— Женя Грачев даже свою тему считает крылатым конем. А такой-то материал, как у тебя!

Петр Гай укоризненно посмотрел на Тимофея.

— Ждать нельзя. Я смог бы оформить свои записи только года через четыре. А именно сейчас, в эти дни, месяцы, крепнет славянская дружба. Время не ждет. Нас хотят разобщить! Нет, эта работа нужна сегодня. Ты понимаешь?

— Понимаю,— смущенно ответил Тимофей.— Как это я раньше не подумал?

5

Автомобиль затормозил около университетских ворот. Еще на ходу открыв дверцу, из такси вышел высокий человек в темном плаще, с коробкой в руках. Он сунул шоферу, не оглянувшись на него, деньги и широкими шагами зашел к двери. На ходу сняв плащ, он бросил его на руки гардеробщице и спросил обеспокоенно:

— Звонок был?

— Минутки три... Задержались, Ростислав Владимирович?

— Немножко. У меня в педагогическом кончается за десять минут до вашего звонка,— сказал старушке-гардеробщице профессор Тюхловский, носком ботинка снимая калошу. Передал старушке на хранение яркую коробку с новой детской игрой. Причесался.

Ростислав Владимирович широко, но не торопясь, ступал по коридору факультета.

— Уважаемый, ножками, ножками! — донесся до Тюхловского голос замдекана Бориса Агафоновича, который стоял около двери гудящей аудитории.— На четвертую минуту перевалило.

«Этот блюститель порядка уже на часах!» — недовольно подумал Тюхловский, ускоряя шаг.

Ростислав Владимирович, как и обычно, не прошел на кафедру, а сел за стол и, вынув из кармана пиджака листки с записями, посмотрел, сосредоточиваясь, куда-то в окно, мимо студентов.

— Значит, мы остановились на... нет, это в той группе, на славянском отделении.

И он снова начал рыться в карманах, извлекая оттуда листочки, записочки, выписки. «Не эти... Нет, вот она».

И Тюхловский чуть настороженно оглядел терпеливую аудиторию. Как всегда, в последнем ряду, у стены, сидел очень уважаемый им студент Грачев, единственный в группе, по его мнению, «с будущим» в филологии. Тюхловский благожелательно улыбнулся ему и начал лекцию.

Он читал сегодня второкурсникам о послеоктябрьском фольклоре — одну из тех не прочитанных им в прошлом году лекций, которые, по его выражению, «висели на шее, как камень». Опять, как нередко случалось на лекциях Тюхловского, глубокий патриотический смысл партизанских, колхозных — урожайных, шуточных — песен и частушек профессор решительно, но часто неприметно для студентов отнеснял в «неважное», загро-

можда несоразмерно длинным, хотя порою и занимательным рассказом с композиции, смежных и опоясанных рифмах, ритмике, истории создания. Ростислав Владимирович более получаса рассказывал о том, что боевое «Эх, яблочко...» — переделка дореволюционной любовной частушки.

Как и другие второкурсники, Тимофей Лосев и не думал о том, что можно и нужно преподавать эту тему иначе. «Научные исследования Тюхловского — другое дело, — размышлял Тимофей. — А в этих азах — в чем здесь можно ошибаться?»

Поглядев по сторонам, Тимофей заметил, что и Петр Гай и Катя Жигарева, как и он сам, начинают подгонять взглядом стрелку часов. Другие профессора читали, казалось, не ярче Тюхловского, но на их лекциях нередко только звонок напоминал студентам о том, что существует время. «Почему же не увлекает Тюхловский?»

Профессор говорил громко, живо, читал интереснейший материал. Но карие утомленные глаза с желтоватыми белками смотрели холодно. Отчужденности, которая была во взгляде этих холодных глаз, не могли рассеять ни частые обращения «милая молодежь», ни остроумные отступления от лекций, развлекающие студентов. Его большая рука, словно неживая, вяло свисала со спинки стула. Рука не шелохнулась даже тогда, когда Тюхловский, казалось, восхищаясь, воскликнул своим сильным, звучным голосом: «Как прекрасны, как упоительны эти волшебные песни народные!»

И вдруг Тимофей понял. Понял, почему Петр Гай испытывал к Тюхловскому недоверие уже с первых лекций. «Какое все-таки у Петра чутье на людей!» Понял, почему Ростислав Владимирович так снисходителен на экзаменах. Он равнодушен. Он совершенно равнодушен к тому, что читает студентам, к самим студентам, к их судьбе.

Рассказывая о новейших изысканиях, Тюхловский упомянул имя «своего учителя» — знаменитого ученого.

«Какого чорта он припутывает к себе хорошего человека?» — написал на уголке тетрадного листа Петр Гай, сидевший недалеко от Тимофея Лосева, около двери. Оторвав этот уголок, он переслал записку Тимофею. «Эти люди — как самолеты», — пришел загадочный ответ Тимофея. Петр рассмеялся («Опять самолетные сравнения!») и снова послал записку, нарисовав на ней огромный вопросительный знак.

«Эти люди, как самолеты, — пришел ответ, — чем ниже летают, тем оглушительнее напоминают о себе».

Петр прыснул от смеха. Глядя на него, подтолкнув локтем подруг, засмеялась одна из студенток, сидевших впереди. Студентам в задних рядах тоже не терпелось посмеяться, и они стали приподниматься, вытягивать шеи. Аудитория зашумела, и Тюхловский украдкой, приподняв руку, взглянул на часы: «Не прослушал ли звонок?»

Звонок раздался минут через десять. Тюхловский сразу поднялся со стула и, глядя в окно, со скептической улыбкой подвел итоги:

— ...Итак, эта баллада, которую недавно на семинаре так старательно проанализировала товарищ... э... Лебедева, хорошо, легко воспринимается и... очень удобна для чтения в трамвае или метро.

— Девушки! Он не принимает нас всерьез! — вскакивая с места, воскликнула Катя, когда за Тюхловским закрылась дверь.

— Нахватав часов и крутится, как белка в колесе, — заметил Петр Гай.

— Он даже фамилий наших не помнит! — сказал чей-то возмущенный голос.

— Конечно, для него моя работа — лепет, — потрясая тетрадкой, жаловалась Галя. — Ну, что ж такого, каждый человек проходит период лепетания.

— Только иногда он затягивается до пятидесятилетнего юбилея научной деятельности, — неопределенно заметил Женя.

— Ты это о ком? — спросила Катя.

Лицо у Жени вытянулось. Этой маленькой кругленькой девушки он побаивался, пожалуй, не меньше, чем Лосева.

— Не всем быть великими, — вызывающе продолжала Катя. — Есть ученые, а есть и обученные. Мезиер, составитель литературного справочника, не была ученой. Но всех ученых по истории литературы за ручку водит.

— Что вы на меня набросились? Я же его не защищаю, — и Женя с обиженным видом отошел.

— Тимоша, как ты смотришь на эту выходку Тюхловского? — спросила Катя Тимофея Лосева, который стоял молча.

Ответа Лосева ждали с интересом.

— То, что Тюхловский не видит в нас будущих мыслителей, — это его дело, — сказал Тимофей. — Но он не имеет права так отвратительно, так равнодушно читать! Подумайте, какие люди учатся у нас в университете! Как жадно рвутся они к знанию! На третьем курсе безрукий парень — инвалид войны. Он в зубах карандаш держит, каждое слово Тюхловского головой выводит. А другим разве легко учиться? Нам легко? Как же тщательно должен готовиться преподаватель к каждому своему выступлению!..

К сожалению, многие профессора и студенты все еще считали Ростислава Владимировича Тюхловского одним из тех китов, на которых держится филологический факультет. Даже дискуссия о Веселовском почти не поколебала его авторитета: профессор Тюхловский, как он сам однажды шуточно заметил своей молодой жене, «во-время выдал себе индульгенцию». Поэтому некоторые филологи были крайне удивлены «мальчишеством» аспиранта Рыбакова, который («вы слышали, коллега?») демонстративно отверг чуть ли не все критические замечания своего научного руководителя... В ответ на редкие вопросы преподавателей профессор Тюхловский с достоинством пожимал плечами: «Вольному воля...»

Ему нельзя было отказать в последовательности: профессор пожал плечами и тогда, когда впервые узнал, что аспиранта Рыбакова заинтересовали новые народные песни. Год назад Тюхловский сам выезжал в Пудожский район Карелии, туда, где некогда, при чадающем свете лучин, глубокие старики поведали известным дореволюционным собирателям былин Рыбникову и Гельфердингу свои песни, свое горе, свои надежды... Тюхловского несколько «шокировал» электрический свет, электромолотилки, избы-читальни в деревнях Пудог, покоробил прямой вопрос колхозного киномеханика: «Вы, товарищ профессор, собираете песни для радио или для пластинки?» Прослушал Тюхловский былинку о Чапаеве, внес ее в свой раздел «Фальсификация былин» и поспешил заказать себе мягкое место в скором поезде.

«Из-за такого-то материала, — насмешливо подумал Тюхловский о своем аспиранте, перелистывая свои записи «новин» и частушек, — копыя ломать? Скорее я стану турецким пашой, чем Рыбаков ученым...»

И вдруг, как гром среди ясного неба, статья Василия Рыбакова в «Комсомолии» о бдительности. Первое чувство профессора Тюхловского, трижды перечитавшего заметку, — гнев несправедливо обиженного человека; первая мысль: «Он лезет напролом?.. Как Рожнов?.. Нет, сам Рыбаков не решился бы ссориться со мной перед защитой своей диссертации. Кто же за ним стоит?»

Назавтра в кабинете декана Тюхловский требовал запальчиво: «Я не могу работать в такой склочной обстановке. Увольте меня.»

Тюхловский был уверен в своей незаменимости. Только где-то в сердце таилось паническое: «А что, если в самом деле заменят?» Поэтому он так боялся оставлять на кафедре фольклора одаренных кандидатов наук. Тем более, что в глубине души он уже стыдился своего схоластического,

едва ли не основного у него труда — «Контаминация русских былин», в котором он когда-то соединил «поэтическими» мостками все былины — от «Святогора» до «Дюка Степановича» — в дико-фантастическую «Илиаду».

...Не часто в университете научный руководитель выступает на защите диссертации против своего ученика.

Только в самом начале своей пространной речи Тюхловский («чтобы быть объективным») воздал Рыбакову «за несокрушимое упр... упорство и яркий талант исследователя, не нашедшего еще, увы, своего достойного применения».

Защита диссертации длилась очень долго. Члены ученого совета то и дело посматривали на часы. Студенты по одному выскальзывали за дверь, чтобы не опоздать на последний поезд метро. А Тюхловский, кажется, только начинал входить во вкус...

Председатель ученого совета Сергей Викентьевич Гордеев, положив руки на зеленое сукно стола, утомленно, с досадой смотрел на нервно похаживавшего возле кафедры Тюхловского, который назидательно поучал Рыбакова... Перестав слушать Тюхловского, Сергей Викентьевич задумался над странной судьбой его учеников...

«Бесталанных» аспирантов у Тюхловского всегда было куда больше, чем на других кафедрах. И немудрено! Тех, кто не решился порвать пути его «структурального метода», отличающегося от формалистики Веселовского только подновленной терминологией, частенько ждала неудача, и они, зря потратив народные деньги, покидали университет. Если же из-под пера верных последователей Тюхловского и выходило что-нибудь, то это были никчемные, курам на смех, «глубокомысленные» работы: «похороны кукушки», «обряд вождения русалки» — о пережитках календарной обрядности, давно и прочно забытой нашими колхозниками, или обстоятельные «научные» исследования о «функциях бороды Карла» из «Песни о Роланде», или какие-нибудь «проблемы песенной вариации». Разрешая эти «проблемы», усидчивый аспирант сопоставил пятьдесят вариантов песни «Ванька ключник» и подвел великомудрые итоги: «Доминантная функция во всех вариантах песни — бахвальство Ваньки ключника».

Не далеко ушел бы от этого и Василий Рыбаков, если бы он не отбросил структуральные ходули, если бы он попрежнему чувствовал себя «прикрепленным» к профессору Тюхловскому.

Взглянув на побледневшего Тюхловского, который потянулся к графину с водой, Гордеев подумал:

«Говори — не говори, почтенный, а твоя докторская диссертация перечеркнута, да, крест-накрест, кандидатской диссертацией Рыбакова...»

И он суховато, но вежливо, привстав, спросил Тюхловского:

— Нельзя ли, Ростислав Владимирович, менее пространно?..

Оскорбленный, Тюхловский круто обернулся к Гордееву.

— Что вы делаете, Сергей Викентьевич?! — трагическим тоном воскликнул он. — Ведь вы этим своим неосторожным замечанием убиваете диссертанта. Убиваете! Ваши слова уже стенографированы, — Тюхловский показал рукой на полную седую женщину в черном шелковом платье — секретаршу Гордеева, которая с лихорадочной быстротой наносила на разлинованную бумагу стенографские значки. — В аттестационной комиссии узнают, что на защите кого-то перебивали, лишали слова, и отменяют эту проведенную наспех защиту.

— Вас никто не перебивает, — тихо и устало возразил Гордеев и, не заметив, что его костяная трубочка погасла, сделал несколько торопливых затяжек.

— Вот-вот! — удовлетворенно воскликнул Тюхловский. Он шагнул к кафедре и, растопырив пальцы, порывистым жестом обвел настороженную, притихшую аудиторию. — Я могу говорить хоть двадцать четыре часа. Да!

Но Тюхловский уже ясно видел, что его тщательно продуманная речь не имела никакого успеха. Нервно расстегнув черный пиджак, он решился на крайнее, заготовленное им «про запас» средство:

— Надеюсь, что члены ученого совета,— медленно, подчеркнуто многозначительно произнес он,— не пройдут мимо моих серьезных возражений... — Тюхловский замолчал, дожидая, пока откроет глаза чуть было не задремавший Амвросий Федосеевич, который сидел в первом ряду... — не даром их полностью разделяет наш всеми уважаемый ученый, дорогой Амвросий Федосеевич. Ведь он — помните? — еще двадцать лет назад, в одном из популярных энциклопедических изданий, касаясь структурального метода...

Амвросий Федосеевич машинальным движением поправил черную ермолку и резко вскочил на ноги:

— И-и, вспомнили! Я, коллега, отказался от тех своих ошибочных взглядов. Диссертант меня переубедил. Да-с, окончательно!

Дальнейшее выступление Тюхловского напомнило присутствовавшим кадры немого кинофильма. Тяжелый раздвоенный подбородок Тюхловского дернулся, губы зашевелились, но слов не было слышно...

6

Петр Гай и Лиля Крылова разговаривали, сидя в большой проходной, без окон, комнате, освещенной матовым светом электролампочки. Раздастся звонок, и буйный студенческий поток, вырываясь из коридоров, заполнит и эту комнату. Здесь всегда многолюдно. По стенам, рядом с грозными приказами деканата, вешены свежие номера курсовых стенных газет, десятиметровая, во всю стену, яркая, боевая факультетская «Комсомолния». Издалека видны ее крупные заголовки: «Вот что успевают сделать стахановцы Москвы за один час работы». И тут же: «А что успеваешь сделать за это время ты?» Боевая «Комсомолния», по которой не прошелся карандаш Чепрака.

А кто из редакторов не знал, какой это трусливый карандаш! Напишет, например, комсомолец-аспирант: «Заведующий кафедрой Сомов — очковпиратель и зажимщик критики». И подтвердит это. Чепрак тут же «подправит» эту фразу: «Подчас наблюдаются факты некоторого зажима критики и не всегда точной информации»...

Широко используя набор ходовых словечек: «подчас», «иногда», «изредка» и так далее, и тому подобное, Чепрак умел — и как умел! — превращать любое энергичное критическое выступление в скучнейшее и бесплодное пережевывание фактов.

Секретарь комсомольского бюро Тимофей Лосев охотно подпустил Чепрака к выпускаемой газете, но... с правом совещательного голоса. Поэтому ее читали все. Около статьи Рыбакова «Профессор Тюхловский — «борец» с буржуазно-либеральным космополитизмом», около шаржей и пестрого литературного отдела, в котором очень молодые и очень злые критики «точат когти» о стихи молодых, не балуемых похвалой поэтов, шли бесконечные споры.

Но сейчас здесь, у «Комсомолнии», никого не было, и никто не мешал Петру беседовать с Лилей Крыловой. Комсомольское бюро поручило ему проверить конспект доклада Лили о пьесе Бориса Лавренева «За тех, кто в море». Этот доклад Лиля подготовила по просьбе Тимофея Лосева. Ей предстояло читать его на комсомольском собрании. Петр записал свои мысли и теперь, заглядывая в блокнотик, говорил очень спокойно, не сбиваясь на присущий ему резкий тон.

— Доклад очень абстрактен,— говорил он, искоса поглядывая на Крылову. У Лили был вид уставшего дипломата, который, сидя в кресле парикмахера, выслушивает его внешнеполитические соображения.— Ты не глубоко продумала тему.

И тут только Лиля, забыв, что решила не спорить с Гаем, встрепенулась.

— Не продумала тему?! — воскликнула она. — Как это так? Я проследила истоки развития характеров героев по классическим образам! Я иду от образа капитан-лейтенанта Боровского к всемирной литературе! Я приведу...

— Итти надо к нашим людям, — перебил её Гай, — а не в другую эпоху.

— Ты хочешь, чтобы я связала доклад с борьбой за дисциплину? — еле сдерживая себя, перебила его Лиля. — Это ты скажешь в прениях. Моя задача другая. И материал не тот. Не знаю, что тебе не нравится в докладе. Папа сказал: «Очень хорошо», — невольно вырвалось у нее.

Гай удивленно взглянул на Лилию и не скрыл усмешки.

— Он понимает кое-что в литературе, — поправилась Лиля, поняв, как смешно прозвучало ее «папа сказал». Даже...

— Даже больше меня, — перебил ее Гай. — Это ты хочешь сказать?

— Нет, нет! — живо возразила Лиля. — Ты, конечно, тоже по-своему понимаешь литературу. Но у тебя, мне кажется, другая беда. — Она загнулась. — В медицине состояние какого-либо органа или клеток тела, потерявших болевую чувствительность, называют аналгезией. И у тебя война вызвала, я думаю, частичную аналгезию души. Это и понятно! — произнесла она таким тоном, который подчеркивает, что сказанное ни в коем случае не осуждается. — Иногда я чувствую, ты лучше, выше меня... Но в литературе главное — острота восприятия. У тебя ее нет. Прости меня, товарищ Гай, за прямоту: нет.

— Ну, что же, — сказал Петр. — Возможно. Читай свой доклад. Послушаем, что скажут другие. Я хотел, чтобы ты знала мое мнение до обсуждения.

В комнату заглянул Грачев.

— Почему вы не на заседании ученого совета? Ведь Гордеев приглашал нас. Идемте, уже началось.

Обрадованная возможностью окончить неприятный разговор, Лиля живо поднялась:

— Ой, опоздали! Идем скорей!

В комнате заседаний ученого совета было очень душно. Василий Иванович Рыбаков стоял около длинного, покрытого зеленым сукном стола и непрерывно вытирал платком лицо. Недалеко от него сидел профессор Тюхловский. Скрестив руки на груди, больше всего стараясь не выдать своего волнения, Тюхловский не смотрел на выступавшего Рыбакова. Он скользил взглядом по лицам аспирантов, сидевших у стены, надеясь увидеть на них сочувствие. Но аспиранты были непримиримо суровы.

Не раз поглядывал Тюхловский на секретаря партийного бюро доцента Ивана Матвеевича Жакова. Он давно убедился, что прищуренные глаза Жакова — самые внимательные глаза на факультете...

У Тюхловского был вид незаслуженно оскорбленного человека. Но в мозгу сверлило: «Что скажет он?», ибо из крупных филологов лишь «он», Иван Матвеевич Жаков, мог сейчас — так думал Тюхловский — разговаривать с ним резким тоном. А «наскоки мальчишек» — Ростислав Владимирович, презрительно щурясь, поглядел в сторону доцента Рыбакова и студента Лосева — его не очень волновали.

«Даже грохотанье оказалось не страшным, — вспоминал Тюхловский полтора часовую речь профессора Грома. — Пугал по долгу службы... Ха, повысили энтузиаста! Недаром говорится: высокие места, как высокие скалы. Их достигают не только орлы, но порой и ужи». Он почувствовал, что это в нем говорит обида на Грома: «Нет, несправедливо все-таки

путать бесхитростного Анатолия и эту свинью Рожнова, хотя они и пьют с ним из одного корытца «Нового учения».

— Ну, что ж,— четким дикторским голосом сказал председательствующий профессор Сергей Викентьевич Гордеев и постучал своей трубочкой по столу, чтобы водворить тишину.— Разрешите и мне...

Он поднял руку, потому что молодежь начала аплодировать. Растянул губы в вежливой улыбке, которая сейчас никому не показалась слащавой...

— Я, признаться, очень боялся,— начал он негромко,— что некоторых наших товарищей может смутить ваше, Ростислав Владимирович, умение отстаивать одновременно противоположные точки зрения. Но они разобрались,— в суховатом голосе Сергея Викентьевича зазвучало удовлетворение,— очень хорошо разобрались.

Гордеев посмотрел на Тюхловского, запнулся. «Тяжело ему... Нет-нет, я не имею права молчать».

— Я рад,— продолжал Гордеев,— что неожиданное, но очень своевременное выступление товарища Лосева внесло в обсуждение не совсем обычную для заседаний нашего ученого совета остроту. Отвечая на упреки своих коллег, профессор Тюхловский почему-то ни словом не обмолвился о нем. Мне непонятно это пренебрежение к вожаку наших комсомольцев. Это равнодушие к мнению молодежи. Равнодушие к новому...

— К чему равнодушие? — раздраженно крикнул Тюхловский.— Уж не к тому ли, что доцент Рыбаков выдает за фольклор?

— Вот-вот, почтенный! Вы подтверждаете мою мысль. Ваше эстетское пренебрежение к новому фольклору — это лишь показательная частность. Нет, не только к советскому фольклору, собранному, например, Василием Ивановичем, не только безразличие к нашей молодежи...

— Я не могу двадцать пять лет подряд читать одно и то же, пылая! — резко перебил Тюхловский, который начал бояться гордеевских «не только»: за ними угадывался очень неприятный для него вывод.— Материал старый...

Гордеев, несколько ошеломленный таким «доводом», растерянно посмотрел на сидевших за столом коллег.

— Но люди-то вас слушают каждый год новые,— спокойно заметил Жаков.

— Люди-то новые! — обрадованно повторил вслед за Жаковым Гордеев.— Это ведь счастье — воспитывать человека! А иначе для чего вы? Для чего я? Зачем вообще профессора сами читают лекции, ведут семинары? Можно было бы записать тексты наших лекций на грампластинки. И пусть слушают студенты не нас, а профессиональных дикторов с хорошо поставленными голосами...

Гордеев вдруг замолчал, глотнул из стакана воды. Все-таки Тюхловский работал на факультете четверть века...

— Я вот еще что хочу сказать. Вы пишете после экзаменов о вашем студенте: «методом овладел». А что может перенять студент у вас? Беспринципность... Как он будет работать этим, с позволения сказать, «методом»?

«Когда же кончится эта обличительная кампания? — не поднимая глаз, с тоской размышлял Тюхловский.— Ничего... Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься», — иронизировал он над собой.

— Вас губит, профессор Тюхловский, не только ваше безразличие к студентам, на котором я остановил внимание ученого совета: здесь, в университете, в будничной работе с молодежью, это приносит, по моему мнению, наибольший вред. Вас губит не только ваше упрямое замалчивание советского фольклора...

— Опять «не только»! Что же тогда, интересно знать, Сергей Викентьевич? — подчеркнуто вкрадчиво спросил Тюхловский.

— Вы легко поймете это, достопочтенный, если ответите на мой вопрос, который вам, очевидно, никто не осмелился задать. Читаете ли вы советские газеты?

Тюхловский покраснел.

— Вы не находите, Сергей Викентьевич, этот вопрос... на ученом совете... несколько странным?

— Я думаю, Ростислав Владимирович, вы страшно оскорбитесь, если вас даже кто-либо заподозрит. Конечно, читаете. Но вспомните, Ростислав Владимирович, вы говорили, что вам скучно читать все эти сугубо прозаические, как вы сказали, информации о колхозных делах, о людях, увлекающихся разными там переворотами в сельскохозяйственной науке. А ведь это наши советские люди, наши советские дела. Вас они не интересуют! Теперь ясно: не интересуют так же, как и та молодежь, которая вас окружает!

— Это ужасно! — шепнула Лиля на ухо Тимофею Лосеву. — Неужели Тюхловский такой? — «Вот почему, мои избиратели не помнили меня, — опять возникла мысль, которая не давала ей покоя. — Я читала им, как Тюхловский, может быть, и красноречиво, но — чужая им. Не то, что Катюша. Как хорошо, что в ремесленном я сразу подружилась с ребятами».

— Итак, я считаю, — заключил Гордеев, — ограниченность интересов, профессиональная узость закрыли от вас, профессор Тюхловский, широкие горизонты нашей советской жизни. Вы все еще цепляетесь за рецидивы либерально-буржуазной формалистики, например за структуральную теорию. Хотя вы и отреклись от Веселовского, но в окончательное банкротство веселовщины не поверили и тщитесь примирить ее с идеями революционной демократии Чернышевского, Добролюбова, даже с марксизмом. С марксизмом! Это схоластику-то!.. Перед лицом ученого совета предупреждаю вас, Ростислав Владимирович, если вы и дальше будете жить с повязкой на глазах, то вы, профессор Тюхловский, не только для Московского университета, в котором вы читаете курс фольклора — официально уведомляю вас об этом — последний учебный год, но и вообще для советской науки потеряны!.. По-нят-но?!

7

В университете заговорили о весне. Дружно. Во всех студенческих группах. Еще не слышно на улицах звонкой капели, еще коченеют воробьи, которые два раза в день слетаются на улицу Герцена, где их кормит высокий старик с белой бородкой — известный музыкант, — словом, календарной весны пока нет, но студенческая весна уже пришла. Ранняя. Шумная. У нее свои приметы. И свои первые ласточки.

Чаще всего — это подвижные молодцеватые люди в свитерах, лыжных брюках и спортивных тапочках. Они подлетают на переменах к старостам групп, к размечтавшимся о чем-то студентам, и... университет приходит в волнение: «Лыжные нормы! Все ли сдали лыжные нормы?!»

Начинается весенняя крессовая лихорадка. На доске объявлений то и дело сменяются надписи: «Массовый кросс!», «Последний кросс!», «Завершающая вылазка!!!»

Вот уже рыхлый снег комьями налепляется на полозья, и тогда энтузиастами лыжного спорта вдруг становятся те, кого обычно на мороз и палкой не выгонишь. Еще бы! Нет зачета — нет стипендии.

«Проработанные» на всех собраниях, изруганные всеми старостами, они с фанатическим упорством разбрызгивают лыжами снег.

Наконец, последний из участников этой «лыжноплавательной» вы-

лазки, мокрый от пота и дождя, с грохотом бросает «невезучие» лыжи в угол комнаты!..

Вот тогда-то и прилетают грачи — «вестники весны». К шапочному разбору. Какая уж тут весна!.. На носу летние экзамены.

Тимофей и Катя провожают взглядом юношей и девушек с лыжами на плечах, которые старательно обходят едва-едва скованные бессильным утренником лужи.

— Жень, ни пуха! — изо всех сил кричит Катя, и в этом благожелательном «ни пуха...» явственно слышится угрожающее: «Попробуй-ка, подведи группу!» — Сдаст? — спрашивает она у Тимофея, который медленно идет рядом с ней по асфальтовой дорожке.

— После твоих напугуствий? Еще бы! — Тимофей улыбается. — Лыжи встанут — на животе проползет.

— Сядем вот сюда, — Катя показала на облезлую скамейку, на которой лежал по краям побуревший снег. — Мы тут когда-то с Зефирой горевали... Так вот, Тимоша...

Вчера Катя побывала, наконец, у Сергея Викентьевича Гордеева и не спала почти всю ночь, перелистывая свои тетрадки, обернутые в плотную цветную бумагу.

О, теперь она совсем иначе представляет себе тему работы «О взаимоотношении северо-русских диалектов и литературного языка»!.. В самом деле, одних писателей десятилетиями ругают за злоупотребление диалектными речениями, других, наоборот, — за «дистиллированный язык». А ведь есть какие-то закономерности в этом неизученном процессе взаимосвязи областных говоров и литературного языка. Проследить их с научной точностью, хотя бы на примере северо-русских говоров... вот бы! И как это Сергей Викентьевич во всем умеет найти практическую ценность! И какую ценность!

Катя возбужденно говорила Тимофею, что все это лето она посвятит сбору материала для... — она чуть было не произнесла «исследования», но, уличив себя в зазнайстве, сказала: «для курсовой работки».

Тимофей, сидевший возле Кати на узкой скамейке, под вековыми липами с обледелеными ветками, смотрел на ее одухотворенное, с розовыми, по-детски круглыми щеками лицо. Не замечая выпавшей на снег шпильки, Катя то и дело поправляла неприколотую косичку с черным бантом.

На ближней липе с ободранной внизу корой чья-то очень юная рука выковыряла кончиком ножа традиционную обличительную надпись: «Тимка + Вера».

«Вот как!.. Есть еще один Тимофей... И тоже с преступными намерениями...» — Тимофей старался не улыбаться: ведь Катя рассказывала ему о чем-то с такой озабоченностью!..

Клочковатая тень облака проползла по двору студенческого общежития.

Мартовское солнце! Скупое, оно кажется щедрым.

Как преобразился от солнца стиснутый каменными корпусами двор!.. Он был окаймлен асфальтированной дорожкой, и пока только в одном месте, на бугорке, виднелась желтовато-зеленая трава; но и этот двор был неотделимой частицей родной Тимофею среднерусской весны. С ее скворечниками и прозрачным липовым соком, с ее набухшими липкими почками. И с первой кружкой парного молока в Загорске, у маминой подруги. Любимой, памятной кружкой парного молока, вспененного, теплого, пахнущего луговой свежестью, а порой, казалось, даже полевыми цветами.

— Катя, ты пила парное молоко? — неожиданно спросил Тимофей. — Пила, да?..

— При чем тут... А что?

— У тебя улыбка... теплая, свежая... Вроде как... парная улыбка.

— Здрасьте! — Катя стукнула кулачком по мокрой скамейке. — Я-то распинаюсь! Думаю, он слушает. Комплиментщик! — она произнесла это слово с таким подчеркнутым презрением, что Тимофей улыбнулся.

— Ах, ты еще смеешься! Да если б я выписала на бумажку все твои тончайшие комплименты и вдруг поднесла бы к твоему носу... ой, пришлось бы вызывать «скорую помощь»!

И они оба смеются, глядя друг на друга сияющими, счастливыми глазами.

Тимофей положил свою ладонь на катину руку в белой шерстяной варежке, и Катя испуганно шепнула:

— Спятил? На нас смотрит все общежитие!

Будто ожегшись, Тимофей отдернул свою покрасневшую от холода руку, но тут же возвратил обратно:

— И пусть смотрят!

— Откуда у тебя такое нахальство? — удивилась Катя. — Ну, вот что! Хочешь слушать — пожалуйста. Не хочешь...

— Конечно, хочу... — Тимофей придвинулся поближе к Кате. Он растегнул верхние пуговицы истрепавшейся флотской шинели, стараясь хоть что-нибудь уловить из взволнованного рассказа Кати.

«Ну, какая же у Катеньки улыбка!.. Действительно, парная...»

— Вот и пойми, где тут собака зарыта! — эту фразу Катя произнесла с растерянностью, вовсе ей не свойственной. И Тимофей насто-рожился.

— Какая собака?

— Ну как же! С одной стороны, Гордеев не отвергает положения Марра о том, что язык — это общественная надстройка. С другой же стороны — по вопросу о классовости языка — он...

— А...

Широкая, холодившая им обоим лица и руки тень медленно оттесняла солнце своим острым, похожим на бивень, выступом. Вот уже потускнели окна нижних этажей, стали темносерыми, скучными. Вот уже и травянистый пригорок кажется всего лишь грязным пятном на снегу. Будто сдвинулись, помрачнев, кирпичные стены общежития с мокрыми пятнами отсыревшей штукатурки. Еще немного — и солнце было загнано в дальний угол двора, к зеленой водосточной трубе.

Тимофей полуобернулся к Кате..Посерьезнев, он теперь внимательно слушал встревоженную девушку.

— ...Значит, расположила я все слова по смысловым гнездам, или, как их Гром называет?.. пучкам, смысловым пучкам, вот!.. Амвросию Федосеевичу показала... Он руками всплеснул: «Что вы наделали?!» Лицо у старика такое, будто я человека убила у него на глазах... Только я все переделала, встречает меня в коридоре Гром: «Ну, как ваши успехи?..» Что я ему скажу: «Не попадусь на ваш пучок, как рыба на крючок?..»

Тимофей нервно, уголком рта, усмехнулся.

— Дела-делишки... Что ни языковед, то своя кочка зрения... Впрочем, и у нас, в литературоведении...

— У вас? — перебила его Катя. — Смешно сравнивать! Ты работаешь над ранним Белинским. Частности тут, может, еще и не выяснены. А главное... когда-то чиновные придурки выгнали Белинского из университетской аудитории... А мы сейчас торжественно празднуем в ней столетний юбилей. Вот главное! А у нас... Амвросий Федосеевич воздевает руки к небу: «Сам великий Шахматов сказал...» А Гром... Ой, что же делать, Тимоша?

— Тимофе-эй! — Резкий и хриплый возглас простуженного Саши Чепрака заставил его вздрогнуть.

Перепрыгнув через лужу, Саша подскочил к скамейке.

— У вас уединения? Или общественные вопросы? — на бегу спросил он.

Тимофей резко взмахнул рукой:

— Иди уж, иди, ты... общественный вопрос.

— Люди собраны! — торжественным тоном, четко, словно это был воинский рапорт, произнес Чепрак, которому Тимофей еще неделю назад поручил подготовить коллективную поездку второкурсников на подшефный завод. — Можно докладывать в узком о поголовном участии.

— Хорошо... Сказал им, чтоб они захватили с собой чего-нибудь поесть?

— П-поесть?.. — оторопело, совсем уж не по-армейски, протянул Саша Чепрак.

— Вот тебе на!.. Мы же пробудем на заводе часов шесть-семь, пока не выпустим газету.

— Н-да, упустил из виду...

— Хорош гусь! Ведь первым взвоешь.

Саша переступил с ноги на ногу, и Тимофей спросил:

— Все ясно?

— Абсолютно, Тимофей. Но я... я, к сожалению, не смогу поехать.

— Как так?

— Звонили из комитета комсомола. Велят к двадцати часам представить отчет о последних мероприятиях. Ты уезжаешь. Кто же?..

Тимофей неодобрительно скользнул взглядом серых глаз по румяному лицу и широким плечам Саши.

— Харимбаевой поручи...

— Ты же знаешь, Тимофей, Харимбаева не напишет, как я.

— Так напишет лучше! — резко отпарировал Тимофей. — А сам, голубчик, — ноги в руки и — со всеми...

Чепрак с места, так что мелькнули в воздухе его собранные гармошкой хромовые сапоги, прыгнул через лужу, но тут же вернулся назад.

— Жигарева, говорят, ты вчера была у Гордеева?

Катя молча кивнула.

— Как же он отнесся к твоему... как его?.. глубокопроблемному аканью и оканью?

Многие студенты по-дружески подшучивали над курсовой работой Кати: «Ну, как поживает твое оканье?»... И Катя никогда не обижалась. Но чепраковское высокомерие — на другой день после беседы с Гордеевым — возмутило ее до глубины души:

— Как надо, так и отнесся! А про вас, марристов, Гордеев сказал, что вы сослепу заблудились, да только не в трех соснах, а в четырех элементах.

— Ох, и доиграется старик!..

— Испугался он тебя. Как же...

— Да при чем тут я? Кто я? Шишка на ровном месте. Вот ударит вечевой колокол марризма — академик Воеводин, — торжественно повторил Чепрак где-то услышанную им фразу. — Да отзовется, как эхо, из Москвы Гром...

— А кто такой Гром? А? По сравнению с Гордеевым?.. Амвросий Федосеевич прав: научные споры вынесли Грома, можно сказать, на своем загривке. Да только уселся он задом наперед. Не удержавшись за гриву, за хвост не удержисься. Оземь бряк!

Чепрак от возмущения привстал на цыпочки.

— Да что с тобой разговаривать, брякало!

И он добавил с издевкой:

— Все это не ново... Мужчины от большой тоски — пьют! А ученые девы — пишт об аканье и оканье...

— Ой, а ты... а ты... — Катя вдруг поднялась со скамейки, — ты как в комсомоле, так и в науке — Чепрак!

Но эти слова ни в чем не убедили Сашу, и Катя решительно шагнула вперед, приблизившись к нему почти вплотную:

— Ты — марристик... от верхоглядства. Понимаешь?

— Я?! — Саша, широко раскрыв рот, ошалело взглянул на Катю. — Я?! От верхоглядства?.. — вдруг повторил он тихо и, казалось, растерянно.

Катя хотела что-то добавить, но Чепрак уже подбегал к подъезду. Оттуда послышался его хриплый яростный голос:

— Харимбаева! Где твои люди?! Время на завод отправлять, а ты!.. При чем тут кросс?! Я тебя спрашиваю, люди где?

Машиной движением стряхнув приставшие к пальто льдинки, Катя вновь уселась на скамью. Напряженно глядя на подъезд, в который шмыгнул Чепрак, она сказала Тимофею медленно, взволнованным голосом:

— А знаешь, Тимоша... Я только сейчас поняла: Чепрак-то и в самом деле марристик... от верхоглядства своего. Как, по-твоему?

Студенты ехали в многоместном автобусе. Держась за никелированные поручни, они столпились невдалеке от мягко хлопавшей на остановках автоматической двери. Катя сидела на заднем кожаном диване и смотрела в широкое окно на незнакомые, залитые асфальтом многолюдные улицы заводского района.

Под сиденьем взревел мотор, и прохожие за окном разом сморщили носы.

Покачиваясь от рывков неповоротливого, как бегемот, автобуса, Тимофей коснулся ногами ее колен.

— Тима, — тихо окликнула его Катя, — что же делать?

— О чем ты, Катюша? О том же?

— Ну да... Сам Гордеев, видно, еще не разобрался: язык — явление классовое или общенародное... Амвросий Федосеевич, тот морщит нос, — мол, дурно пахнет от марристов, — и почему-то пятится... А ведь я... я не могу начать свою работу, не ответив себе раз и навсегда на этот вопрос. Марр-то был гениальным. Это все признают.

Она взяла его за рукав шинели и шепнула с горечью:

— Какая у нас еще путаница!.. А ведь это — не игрушки... Идеология!

Она произнесла это самое большое для нее слово и — встревожилась, как никогда: и за Гордеева, и за Горелова-Казанского, и за Грома, и за себя.

Порывисто, за руку, она привлекла Тимофея поближе к своему лицу:

— Тима... А если написать в ЦК?

— В ЦК?! — Тимофей, сдвинув на затылок флотскую фуражку, в упор взглянул в ее карие глубокие глаза. «Вот так девочка с удивленными глазами!»

— Или даже... — Катя приложила губы к уху нагнувшегося Тимофея — ...или даже самому Иосифу Виссарионовичу? Лично. А?..

Тимофей ответил не сразу.

— Правильно, Катенька... Только, по-моему, рановато... Ну, о чем ты сможешь вот сегодня написать? Языкознание — это, кажется, научная иллюстрация к крыловской басне о лебеде, раке и щуке? И начнешь подкреплять этот вывод случайными примерами?.. Ведь это... пожалуй, это тоже верхоглядство. Давай подождем годик-другой... Ты, как лингвист, начнешь вставать на ноги... И тогда уж!..

Рядом с Катей освободилось место, и Тимофей присел на диван. Оранжевый луч солнца пробился сквозь толстое запыленное стекло. Ощувив на своей щеке тепло, Тимофей сбоку взглянул на румяное, вдруг улыбнувшееся лицо Кати. Редкий светлый пушок золотился над ее приоткрытыми губами. «Ну, ведь в самом деле... парная улыбка!..»

Вместе с этим, давно знакомым Тимофее, ярким, неудержным, как весенний разлив, чувством, о котором хотелось петь, по-мальчишески кричать друзьям и даже прохожим, на него нахлынуло новое, сложное, но вполне осознанное им самим чувство: и радость за Катюшу, которая только вчера казалась ему девчонкой, и благодарность к университету, и внезапная тихая грусть: «Мать не увидит моего счастья...»

Тимофей мельком посмотрел на своих товарищей, которые, стоя к ним спиной, увлеклись каким-то спором, на соседку слева — дремавшую высохшую старушку в белом шерстяном платке — и наклонился к Кате. Он протянул перед собой полусогнутую руку и, покачивая ее, будто взвешивая на широкой ладони свои слова, неторопливо прошептал Кате на ухо то, что порывался сказать еще на дворе студенческого общежития:

— Катюш... Выходи за меня замуж... А?..

Катя Жигарева сидела на краю широкого, длинного четырехметрового щита, обтянутого серым полотном, и, то и дело пригибаясь, приклеивала заметки.

У окна, прислонившись грудью к подоконнику, Петр Гай мучительно обдумывал подписи под карикатурами. Его назначили заведующим юмористическим отделом «Горчичник», и с этого часа он потерял покой. Веселые остроты Петр теперь называл «материалом». Услышав удачную шутку, он уже не хохотал оглушительно, широко открыв рот, как всегда, а озабоченно прикидывал в уме: «Нет, не подойдет».

Вскоре приехал «кроссмен» Женя Грачев, недовольный тем, что ему ради «какого-то никудышного зачетика» пришлось «лезть из кожи вон», и этой «бесполезной лосевской затеей с заводом»...

Тимофей Лосев с неделю назад попросил Женю написать статью о том, как застроился, разросся за годы сталинских пятилеток окраинный московский район, где сейчас стоит завод. Отказаться было неудобно, и Женя весь вечер просидел в Ленинской библиотеке. Его статью «Здесь было болото», содержательную, умело написанную, Катя сразу же приклеила, и теперь Женя, сидя на самом краешке забрызганной краской табуретки, редактировал заметки рабкоров. Заинтересовавшись маленькой заметкой о беспорядке на фабрике-кухне, Грачев решил ее дополнить. Он вызвался сходить в заводскую столовую, посмотрел меню и сфотографировал там для газеты сторожа, который храпел у дверей под большим плакатом: «Спящий сторож — враг предприятия».

В огромной, пропитанной резкими запахами масла комнате с высоким, застекленным потолком было холоднее, чем на улице. Пальцы у Лили, которая рисовала цветными карандашами заголовки, посинели, и Петр Гай спросил Грачева:

— Мой ватник она наденет?

Женя соскочил с табуретки, на ходу снял пиджак и уговорил Лилу набросить его на себя. Вторую заметку он выправлял похолодевшими, непослушными пальцами, и Петр предложил теперь свой ватник ему.

— А ты сам как же? — спросил Женя.

— Ну, я из другого теста — замерзаю только при температуре ниже нуля.

В дверях заводской комнаты — склада транспарантов, портретов, электроарматуры — толпились, не решаясь войти, несколько девушек в синих спецовках.

— Вера, кончила смену? — донеслось от двери. — Пойдем домой.

— На моем станке ремесленник пыхтит. Я подожду пока. Надо показать ему.

«Неужели она подряд две смены может работать?» — подумал Женя.

Посоветовавшись с Тимофеем Лосевым, Катя приклеила записку о лучших учениках школы рабочей молодежи на самом видном месте.

Она лежала теперь на щите лицом вниз, оперевшись на локоть, и никто не видел ее счастливых глаз. Ей вспомнилось письмо старого учителя Константина Самсоновича, полученное недавно из Вологды. Она приподнялась и сказала озабоченно, думая о себе и о Тимофее:

— Девочки! В Вологде в нашей школе нехватает двух учителей по русской литературе. Подумать только... А нам еще три года учиться!..

В комнату вошел высокий светловолосый паренек в пропавшем керосином халате. Он принес свои стихи для газеты.

— Может, подойдет? — он застенчиво протянул густо исписанный листочек.

— Вам надо к товарищу Лосеву, — Петр поспешно поднялся навстречу. — Он у нас — поэтическая секция... Лосев! Ребята, куда исчез Тимофей?

Увидев в руках нескольких работниц голубые букетики подснежников, Тимофей сбегал на улицу, купил цветы и теперь раздумывал, под каким предлогом подарить их Катюше Жигаревой. «День рождения у нее... через три месяца... Пусть будет без всякого предложения!»

Он шел по длинному коридору с цветами в руках, и ему казалось, что все идущие мимо люди, глядя на него, понимающе улыбаются. Тимофей отстегнул пуговицы кителя и засунул букетики во внутренний карман.

В комнате редакции газеты было многолюдно. В дверях, с любопытством наблюдая работу студентов, теснились незнакомые девушки. Разве тут подаришь цветы? Вздохнув, он вынул букетики и роздал их — Лиле, Кате и Гале. Кате случайно досталось два букетика, и только мужчины этого не заметили. Галя загадочно улыбнулась.

Стихи заводского поэта «О мастере робком», высмеивающие мастера-консерватора, оказались хорошими. Когда автор ушел в цех, Тимофей продекламировал его стихи.

— Превосходно! — не то восторженно, не то удивленно воскликнула Лиля. — Образно. Хорей точно выдержан. Нет, это талантливо!

— Неплохо, — снисходительно заметил Женя.

— Нет-нет, вы слушайте! — не успокаивалась Лиля. — Такого нужно к нам, в университет!

— Гм... иногда не мешает людей поменять местами, — сказал Женя, думая о заводском поэте и Гале Лебедевой.

— Вирна думка! Хотя бы на время, — подтвердил Петр, выразительно взглянув на Женю.

— Нет, заводскому-то поэту, Петро, этого не надо, — Тимофей понимающе усмехнулся. — Он студент-заочник.

Захватив с собой стихи молодого поэта, Тимофей Лосев ушел в заводской комитет комсомола: автоматически-токарный цех задерживал обещанный материал о лучшей стахановке-многостаночнице. Лосев долго не возвращался, и Саша Чепрак решил послать кого-нибудь прямо в цех, к рабкору.

— Грачев, пойдешь в цех?

— Я схожу, — отозвался первым Гай.

Жене очень хотелось осмотреть цех, и он запротестовал. Наконец они отправились вместе. Студенты прошли по широкому, асфальтированному, как шоссе, коридору. Девушке-вахтеру эти «прохлаждающиеся»

молодые люди показались подозрительными, и Гай с Грачевым минут десять сидели в комнате заводской охраны.

— Ходят вперевалочку, туристами, — виновато оправдывалась девушка-вахтер, когда студентов выпустили.

У дверей цеха Петра Гая и Женю Грачева встретил рабкор, которого они искали. Из комитета комсомола ему позвонили, и он пошел к ним навстречу. Рабкор оказался молоденьким парнишкой с короткими льняными, пушистыми волосами. За этот пух на голове Петр сразу же окрестил его: «птенец орла».

Паренек предложил показать студентам работу многостаночницы, о которой он писал в заметке, и они пошли по цеху, наполненному равномерным шумом станков.

Молодая девушка, которая устанавливала черное необработанное кольцо на шпиндель, мельком взглянула на студентов, и Петр вспомнил: стоя около дверей комнаты, в которой выпускалась стенная газета, и, видимо, не решаясь подойти поближе, она поднималась на цыпочки, чтобы разглядеть работу Кати на щитах.

— Раньше она работала только на двух токарных многошпиндельных полуавтоматах, — негромко объяснял «птенец орла», отводя студентов подальше от станка. — Простаивала, когда ждала готовое кольцо, сорок — пятьдесят секунд. И затем спешила ко второму станку. За семичасовой рабочий день Надя проходила лишних три километра. Целый час на переходы! И вот, — громче и торжественней продолжал он, — попросила Надя инженера прохромо... — паренек сбился, — прохромо-метри-ровать ее рабочий день. Инженер подсчитал все ее лишние движения, и Наде, по ее просьбе, переставили станки. Вы, наверное, заметили, что они расположены необычно?

Гай и Грачев, конечно, ничего не заметили, но промолчали.

— Надин маршрут сократился на три с половиной метра. Теперь она поставила себе вторую, а потом и третью пару станков. Управляется с шестью. Вот какая! — с гордостью добавил «птенец орла». — И все время она придумывает!

Нельзя было не залюбоваться сияющим лицом рабкора. Гаю все больше нравился этот «птенец».

Женя с каким-то особым, новым для себя, радостным чувством смотрел на этого паренька, на девушку у станков.

— Вы из ремесленного? — спросил он юношу.

— Давно уж, — был солидный ответ.

— Токарь?

— Нет. Я наладчик пятого разряда, — с достоинством ответил паренек.

— Ишь ты! — Женя с уважением посмотрел на него. — Пятого... «Когда же он успел?»

— Скажите, а почему на некоторых станках красные флажки?

— Там изготавливают кольца для тракторных подшипников.

— Им особый почет?

— А как же! — с недоумением воскликнул наладчик. — Время пошло к урожаю. Нынче это дело государственной важности.

Наладчик с неодобрением посмотрел на человека, который задает такие вопросы, словно с луны свалился.

— А ты кто по профессии? — перешел он на «ты».

— Гм... филолог, будущий литературовед, — добавил Женя, ибо при слове «филолог» паренек растерянно моргнул.

— А-а! — с некоторым уважением протянул «птенец». — Значит, вы помните эту фразу: «Настоящий человек знает великую цену тому, что создано на земле».

И, подняв руку, он наморщил лоб, наслаждаясь тем, что, как равный, может говорить с этими учеными людьми.

— Помните, откуда это?

— Нет, не помню, — оторопев, тихо ответил Женя.

— Да ну, из Фадеева, «Последний из Удэге»... Не читал?!

— Н-нет...

Гай едва удержался от смеха. Так Жене еще никогда не доставалось.

Тимофей Лосев сидел в небольшой комнате секретаря заводского комитета комсомола, увешанной цветными плакатами: «Больше продукции...». Надпись «Не курить» висела на стене за его спиной, и он беспощадно окуривал секретаря.

— Хорошо бы успеть вывесить газету к концу вечерней смены, — сказал секретарь. Вынув из стола блюдечко, он пододвинул его Лосеву вместо пепельницы.

Тимофей внимательно приглядывался к этому невысокому, светло-волосому, ясноглазому парню. Под его гимнастеркой угадывалась сильно развитая мускулатура тяжелоатлета. Он казался таким же крепко сложенным, как и его фамилия — Глоба.

— Сейчас ко мне позвонят из кузницы. Послушаем, что они скажут, — сказал Глоба и посмотрел на часы.

И точно — позвонили. Он снимал трубку, подзадоривал: «Миша! Кузница хочет утереть вам нос».

— В восемнадцать двадцать должны дать сведения из шарикового. Посмотрим, что у них, — говорил Глоба.

И минута в минуту раздавался звонок.

«А наша точность — плюс-минус сутки», — думал Тимофей, глядя на секретаря. Наброшенный на плечи синий халат Глобы был словно только из магазина. Лишь руки, лежавшие на столе, большие, жесткие руки, которые много лет держали напильник, говорили о профессии.

«Может быть, и здесь не так уж все гладко, но... у нас срыв — далеко не чрезвычайное событие, а здесь все, как хронометр». О чем бы ни рассказывал ему Глоба, Тимофей все время возвращался к этим мыслям. «У них, оказывается, впятеро меньше всяких неприятных персональных дел. Почему? Разве наши люди хуже?»

— Вам не холодно? — перебил его мысли Глоба. Он выключил жужжавший вентилятор. — Меня что-то трясет... Прихватил я с войны малярию в обмен на ногу, — улыбнулся он так, словно это была только шутка. — Так смогут ли ваши комсомольцы немного задержаться?

— Что? Задержаться? Конечно, конечно! — поспешно сказал Тимофей. — Часам к двенадцати выпустим.

— Надо пораньше... В двадцать три. К выходу смены. Думаете, машинистка не справится?

Глоба взял телефонную трубку.

Даже сейчас, когда секретарь распоряжался, в нем не было и тени командирской власти, в которой Тимофей Лосев часто обвинял членов бюро, комсorghов групп, когда кто-либо из них, желая скрыть свою беспомощность, начинал администрировать.

«Как же он-то справляется?» — спрашивал себя Лосев.

Глоба, перелистывая тетрадку со своим докладом об американских монополиях, думал о том, что, будь у него такие обширные знания, как у этого студенческого «комсомольского бога», не сидел бы он вторую неделю над этими проклятыми монополиями, — горы бы перевернул... Глоба дотошно расспрашивал «комсомольского бога» о программе филологического факультета, о быте студентов, о системе заочного обучения, о новых литературоведческих работах.

А «комсомольский бог» растерянно думал: «Да как же он, в конце концов, справляется?»

...Надо было спешить, и Чепрак, Катя, Женя и Галя перекочевали в машинное бюро.

Наедине с Гаем Лиля чувствовала себя, после того разговора о Докладе, очень стесненной и молча продолжала подрисовывать заголовки газеты.

— Наверное, придется здесь остаться на ночь... — вполголоса, словно самому себе, сказал Гай.

— Ну что ж, — не поднимая головы, ответила Лиля. — Если нужно...

— Это будет у тебя, наверное, первая бессонная ночь вне дома?

— Кажется. Нет, впрочем, однажды я всю ночь протанцевала у знакомых...

— Да... Моя первая ночь вне дома иначе прошла. — У Гая от неудобной позы заболела поясница, он встал и потянулся. — Я скоротал ее в двухосном товарном. Слушал заикание колес: «на — фин-ский — на — фин-ский — фронт — ве-зем...» Помню, они выстукивали свое «ве-зем» гордо.

— Ты прямо из школы?

— Почти. Я тогда был первокурсником Киевского юридического института.

— Юридического? — оживилась Лиля. Она быстро села, обхватила колени и вдруг засмеялась. — Ты идешь по дороге великих, Гай. Почти все поэты мира — от Петрарки до Блока — бежали от юриспруденции. Разве у тебя отец был юристом?

— Нет. Землемером. Партизанил. Погиб. Трое братьев не вернулись с фронта. Остались мать, сестренка. Да вот я, непутевый сын, от которого помощи, как от козла молока.

Лиля даже забыла поморщиться от неизящного сравнения. Она не смела поднять глаза на Петра. Только на мгновение представив себя на месте Гая, она ужаснулась: «Разве я чего-нибудь добилась бы?»

— Гай, ты меня извини, пожалуйста, — неожиданно для себя тихо сказала Лиля. — Я нагрубила тогда. Но я не хотела тебя обидеть.

— Ничего, пустяки, — Петр смутился... — Ты согласна, что не глубоко изучила тему? — спросил он, решив, что это и явилось причиной извинения Лили.

— Ни в коем случае! Вот я сделаю доклад, обсудим..

В двадцать два часа пятнадцать минут огромная стенная газета «За стахановский труд» была закончена, вставлена в раму. Ее тут же прибили к стене, осветили небольшим прожектором. До конца вечерней смены оставалось сорок пять минут, но студенты остались ждать. Им не терпелось услышать первое слово читателей.

8

Весна щедро умыла город. Мальчуганы в закатанных до колен штанишках скакали по бурым потокам. Горланили вразной: «Дождик, дождик, перестань...» Задиристо кричали: «Дядя, достань воробушка!» — вслед высокому прохожему, который был им понятнее других: шлепал прямо по лужам.

Прохожий, профессор. Гром, кажется, не разделял восторга мальчишек. Сгорбившись, пряча шею в поднятый воротник короткого темно-зеленого плаща, с которого при каждом шаге стряхивались, как с потревоженного после ливня дерева, крупные капли, он спешил домой. Профессор Гром возвращался с очередного заседания кафедры языка.

Всего лишь два года назад многие ученые высказывались об этой кафедре так же, как говорят (если верить пословице) о покойнике: или

хорошо или ничего. Хорошо — только те старейшие профессора, которые жили воспоминаниями о былых, двадцатилетней давности, схватках с Марром...

А ныне даже второкурсница Катя Жигарева прекрасно знала, что на лингвистической Шипке отнюдь не «все спокойно».

Дискуссия притягивала к себе, как магнит. Поэтому на сегодняшнем заседании кафедры, как говорится, яблоку негде было упасть. Студенты и аспиранты по двое сидели на одном стуле. Толпились в дверях. Аплодировали. Ученики Грома шикали на студентов Горелова-Казанского. И тех и других то и дело призывали к порядку.

Ни один научный труд не возбуждал на факультете таких чуть ли не рукопашных прений, как рукопись профессора Грома о творческом наследстве Марра.

Гром почти не присаживался. Опираясь о стол тяжелыми кулаками, он до хрипоты призывал профессоров «пока не поздно — очнуться от летаргии». Его яркоголубой галстук выбился поверх пиджака. Этот галстук надевался им только в торжественные дни больших дискуссий и поэтому шуточно, с легкой руки Горелова-Казанского, назывался профессорами «разбойничьим».

— Как вы раскроете вашим из-зумительным формальным методом, например, общественное положение женщины-матери, женщины-работницы в доисторическую, да и в историческую эпохи? — раскатистым басом спрашивал он профессоров, сидевших за столом.

Гордеев, как всегда, сосал свою жестяную трубку. Изредка он косил на Грома воспаленными от усталости глазами. Величественно «дремал», опершись локтем на стол, профессор Горелов-Казанский.

— Я же убедительно доказал это в своей книге... — Гром коснулся пухлой рукописи с бесчисленными синими закладками, — ...написание которой доставило мне, признаюсь вам, большое счастье!

Несколько студентов, которые теснились в дверях, зааплодировали.

Профессор Горелов-Казанский вздрогнул, словно его укололи. Тревожно, чуть растерянно взглянул на восторженное лицо круглолицей маленькой студентки в коричневом шелковом платье, которая стояла напротив него, около книжного шкафа, и тихо, казалось про себя, заметил:

— Счастье-то без ума — дырявая сума.

Гром едва не выронил рукописи.

— Па-азвольте, Амвросий Федосеевич...

— Нет уж, теперь позвольте вы, э-э... коллега! — Горелов-Казанский привстал и, согнувшись над столом, потянулся к сиреневой папке Грома. — Позвольте-позвольте...

Он положил папку с рукописью Грома перед собой. Не спеша раскрыл свою записную книжку с серебряным вензелем на кожаной обложке. Перелистывая ее, добавил вскользь:

— Разумеется, коллега, речь не о вас. Всем известно, что вы человек отнюдь не глупый, хотя и... — помедлил, выбирая слово («евнух в науке» — не то, «дубоватый» — то, но...) — ...хотя э-э... порой поверхностно прямолинейный. Речь идет о бесплодности ваших приемов исследования. Только о них! Да-с. Они завели вас в тупик, его же не преи-деши.

Наконец он отыскал в блокноте нужную страничку. Взглянул на Грома насмешливо-злыми глазами:

— Вы не согласны?.. В таком случае, хотелось бы узнать, где это вы убе-ди-тельнейше раскрыли общественное положение женщины в эпохи давно прошедшие?.. А? Не в седьмой ли главе, где вы ратуете за преимущество элементарного анализа?

Гром рывком снял очки. Он был крайне удивлен необычной прыткостью старика. Горелов-Казанский вступил в полемику, когда его об этом даже не просили?! Нет, такого еще не бывало.

Гордеев отложил в сторону свою трубку. Круглолицая студентка в коричневом платье, привстав на цыпочки, следила за каждым движением Амвросия Федосеевича. Вот он взял папку. Быстро, жестом человека, который хорошо знает, чего он ищет, перекинул десятки страниц. Заговорил, как обычно, хрипловато и протяжно, не споря с оппонентом, а, скорее, дружески увещывая его. Станным показалось только то, что Амвросий Федосеевич обращался не к Грому, который сидел справа, через два стула от Горелова-Казанского, и по-гусиному вытягивал шею, а куда-то вдаль. То в сторону темносерого книжного шкафа, то в сторону дверей.

— Подумайте, отражает ли реальную жизнь вымученная абстрактная схема развития элемента «кон»? «О-гонь», «конь», «конура», «о-кун-ать» и, наконец, армянское «кин» — женщина. Эко! Поистине, оглянулся назад — одни спицы лежат... Что это? Марксистское языкознание? Может ли быть марксистским то, что начисто оторвано от конкретных законов языка, проверенных тысячелетиями? Не думаю. Это — не научный анализ, а, простите, суемудрие. Пуще всего опасно оно для начинающего лингвиста.

Гром принял слова «начинающий лингвист» на свой счет. Навалившись на стол, сказал возмущенно:

— Зрелище для богов! Идеалисты за Маркса цепляются!

Горелов-Казанский не обратил на него никакого внимания. Не повышая голоса, он попрежнему певуче, миролюбиво увещевал:

— Но попробуем только отбросить прочь все эти высосанные из пальца языковые культяпки, сиречь «элементы» Марра. А?.. Признать, что пресловутая частица «ма», например, не может объяснить все названия, связанные с рождением жизни? Что тогда останется от «Нового учения»? Рожки да ножки! Декларации!.. Спустимся, друзья, из космоса в аудиторию Московского университета. А?.. Возьмем реальные факты языка: допустим, слова «мать», «женщина». Правда ли, что социальный смысл этих слов скрыт для нас, научных противников Марра, за семью печатями?

Амвросий Федосеевич наконец посмотрел на Грома. Подчеркнуто-почтительно, чуть привстав со стула, он спросил у него:

— Какое из этих слов мы исследуем, коллега? «Мать» или «женщина»? Слово «мать» полностью поглощается словом «женщина», более широким по объему. Вы несогласны?.. Ах, тут согласны... Что ж! Проследим идеалистическим, как вы любите выражаться, сравнительным приемом слово «женщина».

Амвросий Федосеевич почти сомкнул набрякшие от старости темные веки: теперь никто не видел, как он торжествует в этот решительный, по его мнению, час посрамления учеников Марра. Он негромко стал рассуждать:

— Корень «жен». Общий для всех славянских языков. Свидетельствует, в числе сотен других примеров, об общности славянских языков? Безусловно. А что выводит разнообразное грамматическое оформление этого корня? Сербское «женка» — самка, древнерусское и чешское «женима» — наложница, древнеславянское «женимшить» — сын наложницы. Раскрывает это, коллега, общественное положение людей в определенные эпохи?

Словно очнувшись, он вскинул свою крупную белую голову и насто-роженно поглядел куда-то в сторону книжного шкафа.

— Раскрывает?! Так-то, друзья. Недаром Энгельс писал, что он «некогда лелеял мысль разработать сравнительную грамматику славянских языков». Неспроста, видно, лелеял. Право слово, неспроста!

Горелов-Казанский так круто повернулся к Грому, что распахнулась его не по сезону надетая меховая душегрейка.

— Вот бы чем заниматься вам, Анатолий Александрович! От души говорю. Тысячи слов: «труд», «работа», «отец», «жена», «дочь» — не

перечтешь их — ждут своего глубокого исторического осмысления. Да разве только это!.. А вы... вы, простите, как приказчик, отмеряете язык аршином «четырех элементов»... вслед за Марром, размениваете себя на парадоксы — сближаете такие слова, как «хрюкать» и «солнце». Не кругло выходит!.. Отсечь напрочь всю науку до Марра, объявить: все, что не от Марра, то от лукавого,— да вы кто?! Дети? Не ведаете, что говорите?..

Белые волосики на голове профессора торчали в разные стороны, и он, добродушный, «тишайший», казался сейчас колючим.

— Ладно уж, начисто отменили меня. Я ведь, по-вашему, кажется, м-м... эпигон. А?.. Но отменить Шахматова?!

— Вот оно,— крикнул со своего места Рожнов. — Рыбак рыбака видит издалека!

Горелов-Казанский подождал, пока студенты перестанут шикать на Рожнова, вздохнул тяжело: «позна осел ясли господина своего».

Передавая Грому его рукопись, Амвросий Федосеевич спросил устало:

— И вы, коллега, твердо убеждены в том, что классические труды академика Шахматова по синтаксису...

— Еще бы! — Гром не дал ему договорить. Он сжал свою папку с такой силой, что пальцы побелели. — Именно они, эти реакционные ученые, эти консерваторы от науки, мешают вам — поймите, мешают! — занять достойное место в шеренге советских языковедов...

Горелов-Казанский утомленно, опустив плечи, отвалился на спинку стула. Переубеждать Грома? Нет уж, увольте...

Он рассеянно оглядел из-под тяжелых век студентов. Опять остановил свой взгляд на круглом лице девушки в коричневом платье с кружевным воротничком. Большие карие глаза ее горели изумлением, восторгом, ожиданием...

Амвросий Федосеевич наклонился, поднял широкий, как чемодан, портфель, стоявший у ножек стула, вытащил оттуда с десяток небольших картонных карточек, на которые он обычно выписывал своим размашистым угловатым почерком слова, грамматические формы, цитаты.

— Вот, недавно пришлось кое-что перечитать. Выписал, знаете, для памяти.

Он поднес карточку к глазам и отчетливо произнес:

— «Они знают, что Гегель был консерватором, и вот, пользуясь случаем, они во-всю бранят Гегеля...» И далее: «Для чего они это делают? Вероятно, для того, чтобы всем этим дискредитировать Гегеля и дать почувствовать читателю, что у «реакционера» Гегеля и метод не может не быть «отвратительным» и «ненаучным»...

Амвросий Федосеевич бережно сложил карточки. Закрывая замки портфеля, добавил спокойно:

— Ну, а закончил товарищ Сталин, как известно, утверждением: ничего они (то есть анархисты, разумеется), кроме своего невежества, не докажут...

— Довольно! — крикнул Гром, вскакивая со стула. — Пора прекратить эту недопустимую дискредитацию марксистского языкознания. Мы надеялись переубедить вас — я вижу, это была наша ошибка... Пора ее исправлять!..

Рожнов, сидевший возле профессора Грома, видел, как дрожали от ярости его толстые губы.

«Ну, начинается,— подумал Рожнов, поеживаясь. — Академик Воеводин — в Ленинграде, там против Марра никто и не пикнет. Здесь — Гром, его министерские друзья... Силища! Задавят Амвросия. Да и Гордееву непоздоровится...»

Ни к Гордееву, ни к Горелову-Казанскому Гром больше не обращался. Он апеллировал к обрызгшему бородатому толстяку в летнем сером

костюме — своему начальнику по службе в Управлении университетами, которого Гром попросил приехать и «воочию убедиться», как ему «вставляют палки в колеса».

Начальник Грома, Елизар Филиппович Шубов, был (по своим научным возможностям) доцентом, который некогда выступал в печати со статьями, примирившими марризм и сравнительное языкознание. Многие ученые-лингвисты знали и уважали его как хорошего администратора. Многие работники министерства ценили его как заслуженного ученого...

Елизар Филиппович Шубов, подперев рукой щеку, сидел рядом с Гореловым-Казанским недвижимо и молча. Лишь в тот момент, когда Рожнов, выступив сразу после Грома, потребовал «очистить авгиевы конюшни языкознания» — заменить заведующего кафедрой Горелова-Казанского «подлинным ученым», — в круглых глазах Елизара Филипповича промелькнуло подобие одобрительной улыбки.

«Что ж, нужно будет доложить министру, — озабоченно думал Шубов, делая пометки в своей пухлой записной книжке. — Дискуссии разводят — студентов путают. Этот... как его?... Рожнов прав... В самом деле, реакционеры от науки!.. Придется, видимо, не мудрствуя лукаво, разрубить гордиев, вернее, гордеев узел...»

Эта угрожающая противникам Марра улыбка, скрытая в глубине совиных глаз Елизара Филипповича Шубова, на результате голосования не отразилась. Кафедра начертала — рукой Амвросия Федосеевича Горелова-Казанского — эпитафию:

«Работу профессора Грома к печати не рекомендовать».

...Шлепали по лужам грязные калоши Анатолия Александровича Грома. Вздернутые носы калош, надетых не на ту ногу, смотрели в разные стороны.

«Эр-рудиты! Блохоущемители!..»

Особенно ярко ненавидел Гром в эти минуты Ивана Матвеевича Жакова. «Что он путается под ногами? Болен, так и болей себе на здоровье, кому нужен твой письменный отзыв?! Да еще с потугами на лингвистический анализ... Вот оно: друзья познаются в беде... Все! К нему — ни ногой! Посмотрим... Сегодня — парторг, persona grata, а завтра — пшик, заваливающийся доцентиком...»

Гром опять поймал себя на том, что повторяет высказывания Рожнова, и это непривычное для него ощущение своей зависимости от Рожнова расстроило Грома еще сильнее. Он уже остервенело ругал Жакова первыми пришедшими на язык словами — словами того же Рожнова...

Когда Гром широким пружинящим шагом подходил к своему полетному распахнутому подъезду, он услышал пронзительный нервный детский крик:

«Эдик?!»

Задыхаясь, он вбежал на площадку третьего этажа, где около зеленых стен толпились дети. Витюшка, сын Жакова, испуганно бил кулачками в живот долговязого лет тринадцати парня в красной жокейской шапочке на затылке. И нервно, трясаясь всем телом, ревел.

— Что такое?..

Долговязый, нырнув между стенкой и Громом, пытался улизнуть. Гром цепко ухватил его за рукав.

— Ну-у! Что такое?!

Дети закричали наперебой. Наконец, большеглазая девочка в пуховом платке, стянутом узлом на спине, высказалась наиболее внятно:

— Витенька сказал Пашке: это пустяки, что твой отец партизан. А вот мой отец, то есть дядя Иван, сразу и партизан, и профессор, и парторг, и потом он еще летом на горы забирается.

В другое время Гром наверняка бы поцеловал девочку за такую похвальную обстоятельность. Сейчас он вспылил.

— Ну, так что же, наконец?

— А Пашка и говорит Витеньке: твой отец, то есть дядя Иван... как же это он сказал?.. да, дядя Иван вовсе и не твой отец.

— Что-что?..

Лепет ребенка испугал Грома. Он понимал, что означает это и для семьи Жакова, да и для его семьи.

Он рванул долговязого за шиворот — пуговицы на рубашке отлетели.

— Что ты мелешь, иди-от!

Схватив на руки плачущего Витюшку, Гром бегом бросился наверх. Дверь открыла домашняя работница Жаковых, грудастая женщина с красными, величиной в пяточок, клипсами в ушах.

— Господи, в слезах!.. А вывоздился-то...

— Иван Матвеевич где? — поставив ревущего мальчика на пол, задышавшись, спросил Гром.

Иван Матвеевич уже сам приоткрывал тяжелую, обитую клеенкой дверь кабинета.

— Кто это обидел моего сынульку?..

Гром сбросил плащ и, не здороваясь, не попросив разрешения войти, молча направился в комнату Ивана Матвеевича.

— Зайди, Иван, на минутку!.. Сядем... Вот что...

Жаков, забыв запахнуть пижаму, выскочил к Витюшке. Гром остался в кабинете. Стараясь успокоиться, он заставил себя разглядывать фотографии, которые темными пятнами выделялись на светлокоричневых обоях. Вот Жаков, в дымчатых очках, с рюкзаком за спиной, на фоне сияющего на солнце пика. Вот он, держась за веревку, взбирается по скалистому обрыву.

«Уйти? Конечно!.. Нет, неудобно... да и надо же что-то решить о Витюшке...»

Небритая щека Ивана Матвеевича была мокрой от размазанных слез сына. Жаков хотел сесть в кожаное кресло, напротив Грома, но, полузакрыв глаза, прилег на диван.

— Извини, Анатолий.

— Ты бы не вставал. А то вот... — Гром кивнул на письменный стол орехового дерева, на котором стопками лежали рукописи, книги, конспекты, — неугомонный ты, честное слово! «Да не писал бы отзывов», — неожиданно для самого прозвучал в нем ехидный, мстительный голос. Гром тут же подавил в себе это нехорошее, темное чувство.

— Надо менять квартиру, — тихо произнес Иван Матвеевич, глядя куда-то через плечо Грома. — Немедленно менять. Как ты думаешь, Толя?

— Да-да, ибо не сейчас, так позже какая-нибудь кумушка похвалится своей осведомленностью...

Молчание тяготило. Жаков машинальным движением потянулся к столу за папиросами.

— Ты откуда шел?.. С заседания кафедры? А...

Иван Матвеевич чиркнул спичкой.

И словно от желтоватого пламени спички взорвалась тишина. Гром нервно стукнул ладонью по подлокотнику кресла.

— Ну, я пошел.

— Посиди. Расскажи новости.

— Чего рассказывать-то? Наверное, уже звонил Гордеев... радовал... Могу только поблагодарить тебя, Иван... За отзыв.

— Не за что, Анатолий. Чем богаты...

Неторопливо стряхивая пепел в мраморную лепельницу, Иван Матвеевич почувствовал, что его сейчас, пожалуй, больше всего на свете, больше, чем судьба докторской диссертации, больше, чем спокойствие

семьи, волнует судьба этого — чорт его возьми совсем! — неплохого, в сущности, человека.

«Неужели и его придется, как Тюхловского?..»

Нет, вот этого-то Жаков и не хотел. Гром уходил с лыжным батальоном на финский фронт, ополченцем маршировал вместе с Жаковым по Волоколамскому шоссе. «Родине предан», — писал Жаков в партийной характеристике ополченца Грома.

Но разве солдатская стойкость сержанта Грома оправдывает упрямство профессора Грома? Тысячи учителей русского, армянского, белорусского — всех языков Родины — сбиты с толку его марристскими домыслами об идеализме школьной грамматики. Гром мешает им работать и этим вредит... ну, конечно, вредит миллионам их учеников!

В чем же выражается сегодня твоя сыновняя преданность Родине, профессор Гром? Что ты делаешь для нее каждый день, каждый час? Как ты укрепляешь ее силу? Ты любишь свою науку, не щадишь себя ради нее? Но ведь медведь тоже любил пустынника...

Жаков тычком загасил папиросу.

«Как помочь Анатолию?»

Иван Матвеевич возлагал много надежд на объединенное заседание языковедческих кафедр. Это по его совету Гром переработал свои разрозненные замечания, статьи, исследования в книгу о «Новом учении» Марра. «Нечестно всю свою жизнь отписываться одними ругательными рецензиями. Получается: люди работают, ты — мешаешь. На книгу отвечай книгой. И сразу выяснится, кто прав!»

Жаков надеялся: «Переубедим».

Нет, не переубедили... В чем-то, видимо, не разобрались еще ни Гордеев, ни Горелов-Казанский.

Прикрыв рот рукой, Жаков закашлялся. Сухой, злой кашель, казалось, выворачивал внутренности.

— Может, позже поговорим? Выздоровеешь... — тихо спросил Гром.

— Я здоров. — Иван Матвеевич бросил папиросу под стол, в плетеную корзинку. — Только на улицу еще не пускают: боятся осложнений.

— Ну, если так, поговорим откровенно, — начал бастить Гром, рывком вставая с кресла; пружинное кресло, он чувствовал, вконец расслабляет его, уставшего после многочасовой ругни на кафедре. — Откровенно, ибо в тот раз...

— Мы всегда с тобой говорим только откровенно, Анатолий.

— В таком случае, нам нечего сообщить друг другу.

— Н-не думаю. Садись!.. Скажи по совести, тебе, честному человеку, не стыдно... ну, хотя бы того, что ты вынужден любой ценой поддерживать, любое его хамство — поощрять?

— При чем здесь Рожнов? — Гром торопливо заходил по комнате. — Что я, твой Витюшка?

Сказал — и умолок. Достал из кармана платок, смахнул с густых бровей капельки пота.

— Что я, дитя пятилетнее? — глуше повторил он. — И чего вы привязались к человеку? Рожнов — нахал, Рожнов — сума переметная, Рожнов — святее папы римского. А Рожнов, если уж так хочешь знать... мечтает читать курс «Нового учения».

— Брось, Анатолий! Я думаю, единственно, чего жаждет сейчас Рожнов, — это получать не полставки, а полный оклад.

— У тебя есть прямые факты?.. Нет?.. Есть домыслы? Что ж, давай домыслим. Честно. И бесстрашно. — Гром присел рядом с Жаковым на диван, поджал ноги. — Начнем рассуждать, как математики. От противного. Предположим даже, что у Рожнова — нечистые руки. Но этими руками он вершит правое дело. Отсюда следует...

— Ничего отсюда не следует, — зло оборвал его Иван Матвеевич. невольно прислушиваясь к смеху сына, который доносился из коридора. —

К правому делу нечистыми руками даже прикасаться нельзя. Испачкаешь.

Поблуднев, Гром отчужденно покосился на Жакова.

— Ну, вот что, Иван... — наконец, сказал он. — Одумайся! Им... нашим... этим эрудитам... могут еще простить ошибки, ибо они хоть и политически близорукие люди, но — полиглоты. Не каждому дано знать тридцать — сорок языков. Тебя же, парторга факультета, за твое буйное выступление против «Нового учения» по головке не погладят... нет, уверяю тебя! Подумай о своей судьбе, Иван. Это я тебе по-дружески...

— По-дружески? — Иван Матвеевич с горечью усмехнулся. — Значит, одновременно... и мою руку пожимаешь... и рожновскую.

Гром болезненно поморщился. Не глядя на Жакова, вяло, казалось, через силу возразил:

— ...Домысел... домысел это... о рожновских руках... — И упрямо, уставившись на носки своих тяжелых потускневших ботинок, добавил: — Рожнов был способнейшим человеком, бесспорно, ибо...

— Вот именно: «был»... — перебил его Жаков, который знал, что Грома лучше всего остановить на слове «ибо». — «Был способнейшим». Может быть... А сейчас? Сколько научных работ написал он за последние два года?.. Молчишь! Есть ли наказание более жестокое, чем то, которое он сам себе выбрал?! И немудрено: беспринципность — смерть ученого!..

— Рожнов долго ошибался, поэтому...

— Ошибался?! Разве скачка конъюнктурщика от одной теории к другой, разве «научное» хамелеонство — это ошибка? Это — преступление, мимо которого пока проходит наш Уголовный кодекс, что очень жаль... Нет, Анатолий, нельзя говорить о плесени: «ошибалась». Плесень есть плесень! И не она меня тревожит. Нет! Меня беспокоит — и очень! — то, что порождает эту плесень...

Жаков опять закашлялся, встал, прошел к окну, за которым надоедливо барабанил дождь.

— Тобой могла бы гордиться наука, Анатолий. А ты становишься Рожновым...

— Что-что?

— Ты волочишься за Рожновым, как загарпуненный кит. Мало того. Ты сам — как, по-твоему, честно это или нет? — обрезаешь крылья птенцам, которые вряд ли еще знают, что это такое — летать... Не так? А кто, например, убеждал вторкурсников Жигареву, Грачева и других плюнуть на санскрит и заняться в будущем только «Новым учением»?..

Гром возражал одурачивающе многословно. Упрямство Грома раздражало, заглушало все добрые чувства к нему. Иван Матвеевич смотрел в окно на пестроту анютиных глазок, которые дерзко справляли свое новоселье на пробензиновых газонах улицы, и думал:

«Надо менять квартиру. Немедленно менять».

Он вздрогнул, когда за Громом защелкнулась входная дверь.

Жаков прошел в коридор, позвонил Тане в университет, попросил ее не задерживаться на службе: «Есть срочное дело». Он долго возил Витюшку на белой деревянной лошади с коротким мочальным хвостом. Утомившись, он снова прилег на диван, взглянул на старинные, красного дерева стенные часы — подарок университетских товарищей ко дню рождения. Минут через двадцать должны были приехать Тимофей Лосев — сообщить, как прошла первая поездка студентов на завод, и Зефира Харимбаева — рассказать о новых формах отчетности.

Тимофей Лосев и Зефира Харимбаева покачивались на мягком сиденье троллейбуса.

Глядя на залитое дождем окно, Лосев вспоминал, что в летящем са-

молете капли всегда тянутся поперек стекол. Ненужные мысли мешали сосредоточиться.

«Как же он справляется, этот кудесник Глоба?» Лосев не постеснялся, спросил его об этом, и Глоба коротко сообщил ему об учете, о проверке исполнения, о всем том, о чем Лосев десятки раз слышал на семинарах комсомольских работников. Нет, Глоба не сумел рассказать, почему он работает лучше Лосева.

Уж дней десять прошло с тех пор, как Лосев выезжал на завод. Поговорить об этом с Иваном Матвеевичем не пришлось: Жаков болел. И мысль о Глобе все это время тревожила Тимофея: «Как он справляется?»

— Слушай, Зефира. Тебе не кажется, что иногда мы работаем... как бы точнее выразиться... ну, на холостом ходу. А?

Зефира не сразу поняла, чего хочет от нее секретарь. Она думала о последнем письме Мухтара. Мухтара перевели, наконец, в Алма-Ату, на завод, а ведь в Алма-Ате есть филологический факультет!..

«Конечно, такого парня, как Мухтар, не встретишь. Но Московский университет бросать!.. Уй, это даже свинство с его стороны.. Ведь решили подождать... Но почему Галя так настаивает, что мне нужно ехать? В Алма-Ате тоже можно учиться... Уй, эти девчонки! Голову закрутят!.. Посоветоваться бы со взрослым человеком... С Лесей Биденко? Или с Иваном Матвеевичем?»

Зефира остановила свой выбор на Жакове только потому, что в позапрошлом воскресенье говорила с ним о своей семье. Все девчата из их комнаты ушли в этот вечер на симфонический концерт в клуб. У нее было «отвратительнейшее настроение» — вторую неделю не было письма от Мухтара. Да к тому же, преподаватель иранского языка ругал ее на семинарском занятии.

— Опаздываешь на концерт! — окликнул ее Жаков, проходивший по коридору общежития. — Идем быстрее, Зефира.

— Я не люблю симфонической музыки, — категорически ответила она, чтобы хоть вечером остаться одной. Уткнуться лицом в подушку да нареветься, как в детстве, всласть.

— Вот как! — Жаков усмехнулся. — Тогда приходи на танцы. Кажется, будут после концерта.

— Уй, эти танцы! — Зефира тоскливо отмахнулась. — Я же синий чулок, и к тому же в рваных чулках.

Жаков, который уже выходил на лестничную площадку, вдруг обернулся. Взглянул на нее испытующе, пристально.

— А в гости к себе ты меня не позовешь?

Уж чего-чего, а этого-то Зефира не ожидала. Обрадовалась, смутилась, забегала по комнатам подружек. «С миру по нитке» — и на столе появились варенье, конфеты, докторские сухари.

Иван Матвеевич спросил ее, как поживает мать, как учится ее младший брат...

Он был первым (не считая подруг-однокурсниц), кто заговорил с Зефирой не о зачетах и семинарах, не о протоколах и чистоте в студенческих комнатах, а «просто так», по-дружески — о семье и родном Казахстане, о самочувствии и капризах, о мальчишках и весне.

А сейчас ведь Зефиру снова взбудоражил, по сути дела, «семейный вопрос»...

— Как ты сказал? На холостом ходу? Уй, это совсем неверно! Только мои отчеты, бумажки — лишнее. А все остальное... Ну, чего ты расхохотался?..

Дождик перестал. Тимофей, разбежавшись, прыгнул через широкую лужу. Подождал Зефиру, пока та обходила сторонкой.

— Скачешь, ну, совсем как мальчишка, — удивлялась Зефира.

— Так я же второкурсник,— Тимофей шурился на солнце.— В самый раз — прыгать, на голове ходить, объясняться в любви...

— Что ты городишь?! Кто это у нас на курсе способен влюбляться? «Плохо же ты видишь...»

— ...Северяне. Лыдышки. В Алма-Ате, в десятом классе, и то бывало,— ух!..

— Ишь-ты, тихоня! — изумился Лосев. — Ну и ну!.. В вашем-то классе люди с детства росли вместе. Да? А здесь пока приглядываются друг к другу... Подожди! — он громко рассмеялся. — Начнут еще так отчаянно влюбляться, что комсомольское бюро за голову схватится!

Комсомольцы на факультете знали, что Жаков не любит многословия. Поэтому Тимофей Лосев доложил о заводе за шестнадцать минут, Харимбаева — о формах отчетности — за девять. Поговорили о предстоявшем комсомольском собрании. Харимбаева обещала «увязать» обсуждение пьесы Бориса Лавренева с делами второго курса, хотя тут же призналась, что не представляет себе, как это можно сделать.

— О Жене Грачеве будет разговор? — спросил ее Жаков.

— Возможно.

— Обязательно,— поправил ее Тимофей и, не желая больше утомлять похудевшего, бледного после болезни Ивана Матвеевича, встал.

— Пошли, Зефира.

— У меня еще одно дело к Ивану Матвеевичу,— нерешительно поднимаясь, сказала Зефира. — Малюсенькое...

— Выкладывай,— Иван Матвеевич кивнул.

— Видите ли... видите ли... Ну, я лучше в другой раз...

Лосев вскочил прежде, чем уловил мельком брошенный на него взгляд Ивана Матвеевича.

— Я подожду в коридоре,— сказал он.

Шагая взад и вперед по коридорчику, Тимофей Лосев вдруг подумал: «А ко мне приходили вот так, на разговор с глазу на глаз?.. Редко. Крайне редко...»

Он пристроился на подоконнике, у вешалки. Отвернувшись к стеклу, ничего не видя за ним, Тимофей думал о том, что мучило его уже много месяцев и что только сейчас он так остро, ясно осознал: «На заводе, у Глобы, люди видны. А у нас? Правильно Петр говорил: о многих известно только то, что они на экзаменах троек не имели».

Тимофей вспомнил, как встретил недавно его заместитель комсомолки, вошедшую в комнату бюро. Девушка смутилась от вопроса Чепрака: «Кто вас вызывал?», а потом усмехнулась, когда у него, узнавшего, что ее никто не вызывал, вырвалось дурацкое, разочарованное: «А-а!»

«Конечно, она усмехнулась,— рассердился на себя Тимофей Лосев. — Разбираем, обсуждаем, организацию наладили. Доклады, беседы, лекции. Агитаторы — на участках, вожатые — в школах, газеты регулярно... Крутится машина... Да не делает ли она холостых оборотов? Почему девушки попрежнему идут со своими горестями только к подругам и почти никогда — в бюро? О чем размышляла Лиля Крылова хотя бы после того памятного заседания? Ведь она же до сих пор,— больше года, кажется,— не разговаривает с Петром. Откуда мне это знать? Сашка почти всех комсомольцев от бюро отвалил! Даже Харимбаева обратилась со своим личным семейным делом к Жакову, а не ко мне, хотя она меня куда чаще видит... Чаше? А что толку? Я говорил с ней об отчетах, о ремонте крыш, о чем угодно, только не о ее личных делах. Даже в комнату тогда не зашел. Ну, что я знаю о ней?.. Окончила десятилетку в Алма-Ате. Еще? Отец воевал в дивизии генерала Панфилова. Погиб. Не это же анкетные данные. А кроме них? Умная.. аккуратная... почерк хороший,— впрочем, и это по анкете можно определить. И все, пожалуй... Как я узнал о письме Мухтара? Случайно. От Кати. Да и то через две

недели... Лучше Чепрака работаю, значит — хорошо?.. Успокоился... А по сравнению с Жаковым?.. Глоба — тот уверен в своих людях. А я во всех уверен? За каждого я могу поручиться перед Жаковым? У нас — университет! Каждого ждет трибуна! Одного — миллионная аудитория — газета, книга, журнал; другого — несколько десятков школьников, для которых каждое слово учителя — откровение. А о чем думает каждый твой комсомолец? Что волнует его?..»

9

В длинном коридоре факультета только один подоконник. Низкий и широкий. Это — ринг юных литературных критиков. Иногда на нем сходятся кандидаты в мастера — аспиранты и дипломники. Они бьют тяжело, наотмашь. Тут же происходят петушинные бои первокурсников. Эти налетают решительнее, судят строже, отступают чаще.

Здесь лобное место неудачных стихов и романов.

На этом же подоконнике украдкой, отвернувшись к окну, иногда смахивает слезы девушка, разглядывая зачетную книжку со «свежей» двойкой.

Возле этого места любит поговорить с коллегами и студентами профессор Гордеев. Иногда он прерывает беседы неожиданным возгласом: «Я же обещал быть дома к обеду!», когда за окном уже начинает темнеть.

Тимофей Лосев, увидев Петра Гая, пошел с ним к подоконнику.

Подоконник был занят. На нем вполоборота друг к другу сидели Леся Биденко и Галя Лебедева. У Гали поверх наглухо застегнутой белой блузки был повязан пионерский галстук. Вот уже два месяца Галя работает пионервожатой. Она рассказывала полушопотом:

— Говорит: «Честное пионерское, я стрижей из клетки не выпускал...» Что делать? Допытываться дальше? Но так я, пожалуй, сама подорву его веру в «пионерское слово». Как ты думаешь?

— Здравствуй, Леся, — сказал Гай.

— Защитила диплом? — спросил, подходя, Тимофей.

— Нет. Мой диплом взяли читать в Академию общественных наук. Их заинтересовали документы о Котовском, которые я нашла в киевском архиве. Профессор сказал, моя защита в первых числах апреля.

— Ой, Леся, ни пуха тебе, ни пера! — Галя сочувственно вздохнула. Она откровенно, нетерпеливым взглядом попросила Лосева и Гая: «Ну, дайте же, наконец, нам поговорить наедине».

Тимофей и Петр пошли в коридор, где у стены, сплошь завешанной курсовыми стенными газетами, стоял ряд стульев.

— Ну как, готов к бою? — усаживаясь, спросил Тимофей.

— Так точно! — весело ответил Петр Гай. — Сегодня мы Грачева, наконец, встряхнем...

— Ты не помнишь, Петро, кто мне говорил, что в университете никогда хорошо не узнаешь человека? Мол, в этой шумихе многого не добьешься?

— Я же признался: был неправ. Что ты меня изводишь?

— Ладно, лежачего не бьют, — добродушно согласился Лосев. — Считаю, первые и, пожалуй, самые трудные шаги мы сделали. Но все же это только первые...

— Да, работы еще пропасть, Тимоха. Но ты прав — самое трудное позади. Не только я, но каждый — и Лиля, и Галя — чувствуют сейчас рядом с собой товарища, чувствуют себя в родной комсомольской семье... Интересно, какими станут наши хлопцы... знаешь, когда? В день защиты дипломов, так в пятьдесят первом году... Наступит же когда-нибудь, Тимоха, и такое время!.. Жене Грачеву, наверное, будет стыдно вспоми-

пять, каким он пришел в университет. А в науке? Сколько вдохновляющих проблем, очистительных дискуссий, великих открытий!.. Эх, да чего гадать! Увидим. Своими глазами увидим... Хорошо бы только к этому праздничному дню Тюхловского и Рожнова — в шею, Чепрака — за ушко да на солнышко..

— Кого бы нам, по-твоему, выдвинуть в заместители вместо Чепрака?

— А-а! Решился наконец расстаться,— уже совсем не мечтательно продолжал Петр. — Давно пора! Я уж подумывал: не ждешь ли ты, когда «спустят» тебе директиву — «гнать чиновников из комсомольского аппарата»,— усмехнулся Петр. — Ну-ну, не сердись, дружище! Я ж шуткую.

Но Тимофея, вопреки ожиданию Гая, не развеселила эта шутка. Он серьезно взглянул на друга:

— А сам бы ты, Петро, пошел на место Чепрака?

— Что ты, что ты! — вскакивая, Петр замахал обеими руками. — Тут нужен человек выдержанный.

— Да, тут нужен такой... Учись выдержке, Петька. Ты за эти два года широко шагнул. Рыбакову предлагал свой фольклорный труд?

— Позавчера. Не хочет. Говорит: «Сами справитесь».

— Он тебе помогает?

— Еще как! Ведь я раньше смешивал даже пословицы, возникшие в различных социальных группах. Об анализе и говорить нечего. Нет, без Василия Ивановича я — ни шагу. Он мне, между прочим, предложил чешский язык изучать. А как ты, Тимофей, занимаешься?

— Часов по шести сижу в библиотеке. Разработал твердый график. Этому я у Грачева научился. У него день по секундной стрелке размерен. Организованный парень.

— И у Жени есть жемчужное зерно,— Петр усмехнулся.

— И не одно, вероятно. — Мысли Тимофея снова вернулись к тому, что его занимало не первый день. — К сожалению, выдержки у тебя, Петро, нехватает. А то бы...

— Есть у тебя думка о хорошем заместителе? — спросил Петро.

— Юра Кораблев.

— Толково! — Петр оживился. — Румяный еще, но куда уж дельный парень! Видел его новый месячный план шефской работы?

— Видел. Всего лишь два пункта из двадцати трех пришлось заметить.

— Я слышал вчера, как Юра отчитывал Лилю за ее высокомерные усмешки. За все ее пустые восклицания: «очаровательно», «гениально». Так прямо и сказал: «Ты, Лиля, разговариваешь с людьми, будто делаешь им одолжение. Зачем ты хочешь казаться хуже, чем ты на самом деле?»

— Молодец Юра! — Тимофей обрадовался. — Я это ей давно собирался сказать. Знаешь, о чем я сейчас подумал? — Тимофей встал со стула.

— Догадываюсь. Чтобы Юра...

— Да, выступил на собрании вместо тебя. Ты не против?

— Конечно, нет! Я ему зараз передам свои заметки о докладе... Юра! — громко крикнул Петр, заметив Кораблева около «Комсомолии». — Иди быстрее!

Юра выбрался из толчи и подошел к товарищам.

Лосев оглядел с ног до головы взъерошенного Юру, который, как и год назад, то и дело нетерпеливо поправлял галстук.

Все последние месяцы Лосев приучал этого горячего паренька к ответственнейшему комсомольскому делу почти так же, как его самого готовил к самостоятельной партийной работе Иван Матвеевич Жаков.

— А как по-твоему, Тимофей? — спрашивал Жаков, хотя нередко имел уже твердое решение.

— А как по-твоему, Юра? — спрашивал Тимофей, даже не нуждаясь в совете своего помощника.

И все чаще и чаще бывали случаи, когда Юра Кораблев самостоятельно принимал зрелые решения.

— Петро, расскажи-ка ему, что мы с тобой решили. Обязательно напомни о случае в библиотеке. Помнишь? Пусть Юра так использует этот плацдарм, чтобы мне не нужно было брать слова... Ну, ладно, объявляю вам, друзья, первую боевую готовность.

— Есть первую! — полушутя-полусерьезно бросил ему вслед Петр.

Тимофей, обходя группы толпившихся у стенных газет студентов, пошел по коридору. Из приоткрытой двери комнаты деканата выглянул Саша Чепрак. Он взъерошил свои волосы, растерянно огляделся. Схватил за руку Зефиру Харимбаеву, которая проходила мимо.

— Ага! Вот тебя-то мне и надо! Будешь выступать на собрании. Что значит — «не о чем говорить»? Скажи об успехах научной работы студентов. Ты не член научного общества? Почему?

Отпустив локоть Харимбаевой, которая тут же ушла, Саша, приподнявшись на носках, стал опять кого-то разглядывать в глубине коридора.

— Вот тебя-то я и ищу! — обрадовался Чепрак подошедшему Тимофею. — Звонили из комитета комсомола. У них там сейчас секретарь райкома. Говорят, он может прийти на наше собрание.

— Ну и что? Послать за ним в комитет?

— Вот те раз! Надо немедленно снова продумать все кандидатуры выступающих. Распределить отчетный материал между ними. Вот, — Чепрак вытащил из нагрудного кармана листок, — список президиума. Секретаря райкома я сюда уже включил.

— Ты комсомольское собрание готовишь или парад?! — еле сдерживая себя, чуть ли не по складам сказал Тимофей Лосев.

— При чем тут парад? — Чепрак в недоумении развел свои атлетические плечи. — Секретарь райкома будет на курсовом, — он поднял палец кверху, — курсовом собрании. В кои-то веки. Надо, чтобы все без сучка и задоринки... А то, пожалуй, кто-нибудь выскочит и такое в прениях наговорит...

Тимофей побледнел. Нервно шагнул к стенке и тихо, чтобы не слышали проходившие мимо комсомольцы, сказал:

— Сашка, до чего ты докатился! Ты же не был таким. Не был! Оставался еще формалистом, верхоглядом, но ведь ты был честным, понимаешь, честным парнем! Что это значит: «выскочит и наговорит»? Покрикует нас? Если дельно, скажем спасибо.

— Конечно, самокритика — вещь целебная, — быстро согласился Чепрак, неловко переступив с ноги на ногу. — Есть и у нас промахи. Но зато каких людей мы вырастили в научном студенческом обществе! Да и вообще... Разве мы с тобой, Тимофей, мало сделали? Почему же не рассказать секретарю райкома прежде всего именно о нашем научном обществе? Об отличных студенческих работах? О наших лучших...

— Что ты прячешься за спину лучших? — не сдержавшись, перебил его Лосев. — Или ты успехами лучших пытаешься замаскировать свое полное незнание тех, кто может, по твоим словам, «выскочить и наговорить»? Свое неумение или нежелание воспитывать их?! Брось суетиться. Чепрак!

Это было одно из тех открытых курсовых комсомольских собраний, которые теперь нередко проводились на филологическом факультете университета.

Огромное объявление у входа оповещало, что доклад о пьесе лауреата Сталинской премии Бориса Лавренева «За тех, кто в море», сделает студентка Крылова. Оно привлекло на собрание не только комсомольцев.

Лиля помнила на память почти весь доклад.

Она была очень хороша сейчас в своем синем платье, с голубым, под цвет глаз, шелковым платочком в нагрудном карманчике.

Приятно было слушать ее возбужденный, гибкий голос. Приятно смотреть в умные, красивые глаза.

Лиля выдержала свой доклад в стремительном темпе. Книги и тетради, прихваченные некоторыми «на случай скуки», остались нераскрытыми.

— Этика капитан-лейтенанта Боровского, который рвался к славе, оттирая локтями своих товарищей,— Лиля машинально переворачивала листки конспекта,— нормальный, всеми поощряемый закон преуспевания в мире капитализма, в мире, где человек человеку волк, где, как невесело шутят англичане, человек может опереться только на перила. Но в нашей советской жизни человек, который забывает, что он живет в коллективе, где все за одного, один за всех, неминуемо — потенциальный «преступник»...

«Отличный доклад,— шептались девушки. — Умница Лилечка!» «Кто она?» — «Второкурсница». — «Что вы говорите! Москвичка?» «Сейчас — да! А вообще — ленинградка. Потому, наверно, и взяла тему о морях».

Прения не начинались минут пять, желающих выступить не было...

Женя Грачев сидел в последнем ряду, у стены, где на двадцати стульях разместилось не менее сорока человек.

Он очень не любил собраний. Если же пренебречь каким-либо из них он считал неудобным, то читал на нем книги, конспекты лекций, автоматически голосуя за любое предложение.

«Ну, сейчас опять пойдет о влиянии посещаемости на успеваемость и успеваемости на посещаемость,— иронически подумал Женя, глядя на членов президиума, которые спешно набрасывали тезисы своих выступлений. — Напишут в резолюции: «долгой Боровских из нашего здорового коллектива!» Конечно, примут единогласно. Вряд ли у этих девиц есть собственное мнение... Вообще,— вспомнил он из Шиллера,— «голоса надлежало бы взвешивать, а не считать». Пожалуй, надо высказаться да итти домой. Теряю время».

Женя поднял руку и, очень удивив соседок-старшекурсниц, которые не предполагали в этом бледном, застенчивом мальчике оратора, прошел к кафедре.

Женя говорил, глядя куда-то в потолок, медленно, веско, улыбаясь своим мыслям, неожиданным сравнениям. Сравнил он охотно: память у него была удивительно цепкой.

— Есть такая филологическая притча,— начал он: — «Самое страшное — утонуть, самое ужасное — недочитать». А товарищ Крылова прочла и критически восприняла почти всю литературу вопроса.

Женя выступал только потому, что обещал Лиле, и видел свою задачу в том, чтобы защитить ее от оппонентов. Сейчас, однако, он подумал, что, пожалуй, напрасно пришел сюда «изливаться». К чему эти споры?

Пауза в речи Жени затянулась, и комсомольцы, думая, что он запнулся, ощутили неловкость, словно это они сами растерялись на кафедре. Хотелось как-нибудь подбодрить оратора, кивнуть дружелюбно, чтоб не смущался. Воцарилась тишина. Умолкли даже те, кто шептался с соседями. Тишина сочувствия...

— Я не понимаю утверждения комсомольца Гая, который, я слышал, в своей рецензии пишет, что докладчица упустила что-то важное, общественно-полезное и вообще не глубоко освоила тему...

Больше никто не хотел подбодрить оратора: он говорил довольно самоуверенно, постукивая пальцами по кафедре.

— Как это не освоила тему? Конечно, в докладе Крыловой нет открытий, да и как их требовать от студентки второго курса, выступающей с докладом на комсомольском собрании? Но он интересен и, безусловно, полезен.

— А чем, по-вашему, полезен сегодняшний доклад? — спросил со своего места за столом президиума Чепрак.

— Да просто познавательной ценностью!.. — разгорячась, воскликнул Женя. — Товарищ Чепрак, видимо, готов на основе любой литературной темы делать тенденциозные обобщения. Вы забываете, что это прежде всего литература, товарищ Чепрак, искусство...

— Нашла тоже защитница, — шепнула на ухо Лиле Катя Жигарева. — Эстет несчастный!

— Неважно, кто скажет истину, — не повернув головы к Кате, вполголоса ответила Лиля.

— А ведь через три года такой вот умник, может быть, станет литературным критиком, — наклоняясь к Кате, сказал Юра Кораблев. — Страшно подумать!

— Что же, скажите на милость, Лиля упустила? По Гаю, что-то самое важное, — ядовито продолжал Женя. — Важным он считает другое, более знакомое ему... Гай напомнил мне древних мореплавателей — финикийцев, которые, бороздя моря под небосводом с тысячами крупных звезд, вели корабли только по Полярной. Это ведь, как я понимаю, не от важности Полярной звезды, а от скудости их астрономических познаний, — под редкий смешок сказал Женя.

«Зачем он смеется над Петром?» — Лиля болезненно сморщилась.

— Катя, выступи! Катя, выступи! — Галя Лебедева подталкивала под бок подругу. — Как он про Петю...

Женя вернулся на место, провожаемый молчанием зала.

Доклад Крыловой понравился многим комсомольцам. Собрание явно симпатизировало Лиле. Гай, казалось, даже своим крутым затылком чувствовал, как за его спиной девушки, кивая в его сторону, показывают дружке на него глазами. Кто-то переслал ему из задних рядов записку. Гай, не ожидая ничего хорошего, не спеша развернул листок и прочел:

Свежим воздухом дыши
Без особенных претензий.
Если ж глуп, то не пиши,
А особенно рецензий.

Харимбаева передала Тимофею Лосеву список комсомольцев, уже записавшихся в прениях. Тимофей просматривал его, пока на кафедре ораторствовал Саша Чепрак. Вид у Саши был, как всегда, цветущий, жениховский. Он говорил быстро, захлебываясь словами. Казалось, он хочет, но не может остановиться.

Около Тимофея кто-то нетерпеливо зашикал, и он стал прислушиваться к словам Чепрака.

— ... Мол, Чепрак готов делать тенденциозные обобщения. Что мы видим в этом высказывании Грачева? — неся он вперед. — Его речь заставляет нас заострить вопрос о работе с несоюзной молодежью. Надо признать, товарищи, этот вопрос до последнего времени выпадал из нашего поля зрения. Видно, элементы формализма и казенщины, на которые нам неоднократно указывали, все же...

— О чем это вы? — спросил из зала удивленный голос.

— О деле говорите!

— Перехожу к докладу, — подняв руку, успокоил аудиторию Чепрак. — Конечно, Гай прав! Крылова не по-комсомольски подошла к подготовке. Она проявила себя гнилой интеллигенткой, далекой от современности. Только такие, как Грачев, могут не понимать этого...

Шум нарастал. Кто-то затопал ногами. Председатель Зефира Харимбаева тщето стучала карандашом по графину.

— Что вы зря на всех вешаете собак? — вскакивая с места, негодовала соседка Жени.

— Докажите, а не болтайте голословно! — раздавалось со всех сторон.

— Что тут доказывать! Это и ребенку ясно. Вот, например...

— Регламент! — раздраженно напомнил чей-то бас.

— Сегодняшнее выступление Грачева говорит о непонимании им... — перекрывая шум, Чепрак заторопился — ...непонимании им задач этого важнейшего мероприятия. — Не обращая внимания на протесты, он развивал свою мысль. — Гай понял, что...

— Да что ты со своим Гаем заладил одно и то же! — крикнули с места. — Вместо живого разговора — суконные формулировки...

— Сашка может погубить все дело, — зашептал Тимофей, наклоняясь к Петру. — Больше нельзя ждать...

— Я возьму слово...

— Постой, вы же с Юрой договорились? — «Готов?» — взглядом спросил Тимофей Лосев Юру.

— Регламент, — напомнила Чепраку председатель Зефира Харимбаева.

— Кончилось время? — Чепрак широко раскрыл глаза и пошел на место, удивленный и обеспокоенный, как никогда...

Задыхаясь от жары, Женя Грачев, однако, не уходил. Он ожидал выступления Гая и сейчас важно, как фарный, разъяснял своим соседкам-старшекурсницам:

— Гай? Нет, не глуп. Да, этого оппонента можно опасаться. Остальные? Как вам сказать... — он неопределенно склонил голову, — еще дети... Тише! — Женя приложил руку к уху, чтобы лучше слышать. — Кто-то берет слово...

Юра Кораблев боком пролезал между стульев, наступая на ноги товарищам. Настороженное молчание проводило его к кафедре.

— Здесь обвиняли моего товарища Петра Гая, — громко начал Юра, даже не дойдя до президиума, — что он хочет к теме доклада притянуть что-нибудь набившее оскомину, живой интересный разговор смять суконными формулировками. Неверно! Он сам — я это хорошо знаю — не терпит людей, которые на собраниях говорят иначе, чем в быту. Двухязычие — двумыслие!.. Я вместе с Гаем утверждаю, что товарищ Крылова не освоила темы. Что она, увлекаясь классическими параллелями, не разобралась по-настоящему в природе подлости Боровского. Правильно?

— И совсем неправильно! — возмущенно перебил его девичий голос из заднего ряда.

Зефира Харимбаева снова вскочила со стула и застучала карандашом по графину.

Юра Кораблев быстро оглядел ярко освещенные лица. Лиля, усмехаясь, что-то шептала незнакомой девушке. «А у нее — в одно ухо входит, в другое выходит...» — с болью подумал Юра и попрежнему громко продолжал:

— Да, мы с вами любим литературу! Осваиваем ее. насколько способны. Но это не значит, что можно, прячась за классические образы, забыть о нас с вами, о нашей жизни, которая ярче, шире, богаче книг. Спросишь иногда у человека о чем-нибудь очень близком и ему, и себе, а он: «У Стендаля это выражено...» Я думаю, что мышление одними литературными образами, которым мы все грешим, — признак не столько эрудиции, сколько прежде всего жизненной неопытности или робости, боязни анализировать явления жизни так же смело, как литературные. Я понимаю, почему Крылова привычно свернула на легкий путь литературных ассоциаций. Что поделаешь, если у человека самые сильные горести — чужие, книжные горести; если ему приходится разрешать, например, проблему

мировой скорби, а у него в жизни самая большая неприятность, как сказала мне однажды Лиля, — столкновение с Гаем. Плохо приходится при этом только проблеме.

В набитой людьми аудитории что-то прошелестело, словно каждый из присутствующих перевернул страницу. Этот приглушенный смех комсомольцев еще не был одобрением, но если настроения можно сравнить со страницами, то страница переворачивалась...

— Все доводы докладчика похвальны. Нечего возразить. Еще бы, они проверены веками! — с иронией воскликнул Кораблев.

С точностью, которой никто не ожидал, он начал перечислять, откуда взяты отдельные мысли лилиного доклада. Он не обвинял ее ни в плагиате, ни в детской беспомощности. Но не щадил.

— Что же в докладе Крыловой своего? Только, извините за архаизм, плетение красивых словес.

Юра сегодня говорил хладнокровно. Но уже трижды без нуждыправлял свой галстук.

— Крылова прочла массу русской и западной литературы, чтобы проследить социальные корни уродливого честолюбия боровских, — зачитил Юра. — Похвально! Говорили, что ничего нового выдумать она не могла. Правильно! Но можно ли забыть, что книга советского писателя с ее воинствующей партийностью — оружие, помогающее нащупывать наших боровских? Что это книга о революционной бдительности? О бдительности, к которой зовет Сталин?!

— Очень хорошо, но, по моему, тема бдительности в пьесе «За тех, кто в море» имеет лишь третьестепенное значение, — стараясь говорить по возможности язвительнее, громко, через головы сидящих, возразил Женя Грачев, который испугался изменявшегося настроения комсомольцев. — Насколько я помню, в пьесе нет ни одного... гм... заклятого врага, которому бы, следуя горьковской формуле гуманизма: «Если враг не сдается — его уничтожают», — необходимо было срывать голову. Вот если бы...

— Слепец ты, Грачев! Узколобо ты понимаешь бдительность: — Юра не глядел на Женю, но, возбужденный, чутьем оратора-полемиста почти физически ощущал его, стоявшего в последнем ряду, готового огрызаться своими назойливыми репликами. — Это еще вопрос, в каком случае нужна большая бдительность: у сознательного врага голову снять или несознательному человеку на место поставить...

Задвигались, зашумели комсомольцы. Несколько человек сердито крикнули: «Тише!»

— Юра, но ведь это смешно и наивно — познакомиться с вымышленными образами и тут же днем с огнем бросаться на поиски их возможных прототипов! — чувствуя, что поддержка Жени ее только компрометирует, нервно воскликнула Лиля и оглянулась по сторонам.

— Ах, вот как! Может быть, ты тогда и эту книгу «проглотить», как легкий приключенческий роман? Может быть, и она не вызовет у тебя, — это-де смешно и наивно, — мыслей о своих товарищах?

Юра вытянул рывком из кармана небольшую красную книжечку. Открыл ее и поднял над головой.

С плотной страницы, откинув крупную голову с зачесанными назад темными волосами, смеялся молодой, загорелый, видимо, очень сильный человек в белой спортивной рубашке. Глаза его, окруженные столькими глубокими морщинками, сколько не увидишь даже у сорокалетнего, пережившего много страшных минут летчика-испытателя, были чуть прищурены. Глубокий, дерзко-веселый взгляд их, казалось, говорил:

«До чего хорошо жить на свете, товарищи!»

Юра подержал красную книжечку над головой несколько секунд.

И сразу затихли комсомольцы.

— Юлиус Фучик. «Слово перед казнью». Читали все. — Юра положил книжку на кафедру и, выйдя из-за нее, встал почти рядом с напря-

женно ждущими в молчании товарищами. — Фучик, наш Юлиус Фучик, мечтал, — вы помните, друзья, эти его строки, — «снова встретиться в жизни, озаренной свободой и творчеством». И он встретился. С каждым из нас!

Юра обвел взглядом десятки взволнованных знакомых лиц от первого до последнего ряда и негромко, как в задушевной беседе, спросил:

— Думали ли вы, друзья, о своих товарищах, родных и просто случайных знакомых, когда услышали этот голос бессмертного сердца:

«Люди. Я любил вас. Будьте бдительны!»

Я думал. Я вдруг так ясно представил себе, какими будут в критические моменты своей жизни — перед научным открытием, требующим героизма, в солдатской атаке или один на один с врагом, когда человек стоит на грани подвига, — Тимофей Лосев, Петро Гай, Катя Жигарева, Галя Лебедева, Зефира Харимбаева, Иво Бакош — все мои близкие друзья. В те минуты, часы, дни, когда «верный остается верным, предатель предаёт, обыватель впадает в отчаяние, герой борется до конца».

И я, друзья мои, — повысил голос Юра, — от имени всех нас, комсомольцев, от тех, кто знает, что будет бороться до конца, как Юлиус Фучик, хочу здесь поклясться его именем...

— Прекрасне!.. — по-словацки вырвалось у Иво Бакоша, и он первым вскочил на ноги. За ним быстро поднялись Петр и Катя. Через секунду стояли все.

— Клянемся! — во весь свой звенящий юношеский голос, подняв над головой сжатую в кулак руку, воскликнул Юра Кораблев. — Клянемся именем Фучика, именем народных бойцов, павших за свободу, быть верными сталинцами! Беспечный не может быть сталинцем! Невежда не может быть сталинцем!

Клянемся, что из стен университета, из нашей студенческой семьи, не выйдет ни один бюрократ и карьерист, болтливый начетчик и приспособленец! Ни один трусливый обыватель — этот балласт нашей революционной эпохи и резерв предателей!

Юра отбросил со лба растрепавшиеся волосы.

Настороженным молчанием встретили Юру Кораблева, когда он попросил слова после Чепрака. И молчанием его проводили. Но это было совсем иное молчание...

«Я, кажется, не все сказал...» — не дойдя до своего стула, Юра в нерешительности остановился.

Но на кафедру уже поднялся Петр Гай. Подождал, пока, садясь, комсомольцы перестанут скрипеть стульями.

— В Западной Украине, в июльское пекло сорок первого, в артиллерийском блиндаже, сквозь радиоразряды я услышал сталинские слова, которые прозвучали по всей нашей Родине, как набат:

«Необходимо... чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам».

Мы не забыли, хлопцы, этих слов после того, как прогремел последний выстрел на Эльбе!

И уже спокойнее он продолжал:

— Вы знаете, товарищи, что наши ученые сказали Тюхловскому большевистски, резко и прямо: «Дезертир!» Дезертир идеологического фронта... И вы слышали здесь выступление Жени Грачева, который слепо вторит Тюхловскому.

Вы уверены, товарищи, что научный работник Грачев не пойдет дорогой Тюхловского? Кто уверен?.. Лиля, ты? Или тебя этот вопрос вообще мало тревожит? Может быть, задавать его смешно и наивно?

— Меня это беспокоит не меньше, чем тебя! — скороговоркой, опустив голову, так тихо, что в задних рядах ничего не расслышали, бросила Лиля.

— Не верю! Иначе как же ты, Крылова, отыскивая боровских, этих мелких людишек, в предистории, не увидела того, что творится у тебя под носом? Хотя бы, например, вот этого... Несколько месяцев назад, — быстрее заговорил Гай, — когда второкурсники сидели в читальне...

И он подробно рассказал комсомольцам о том, как Лиля попросила Женю Грачева сообщить ей библиографию критических статей о карамзинской «Бедной Лизе», а Грачев, назвав ей несколько работ, скрыл самые необходимые. И отличился на занятии за счет товарища.

— Я не хочу задерживаться на поведении Лили Крыловой, которая брезгует черновой работой. Белоручки никогда не двигали вперед науку. Об этом тоже стоило бы крепко поговорить. Но меня взволновало другое... Есть что-либо общее между преступлением Боровского, образ которого Крылова с такой скрупулезностью проанализировала перед нами, и просто некрасивым поступком Жени Грачева, о котором Крылова знала?

Гай оглядел всех.

— По-моему, нет, — нерешительно пробасили откуда-то сзади. — Если я, например, зажулил книгу у товарища — это не значит, что я завтра ограблю Государственный банк.

Засмеялись, заспорили.

Звона председательского карандаша о графин долго нельзя было слышать.

— Может быть, действительно, нельзя, рассказывая о преступлении Боровского, вспоминать Женю Грачева? — спокойно продолжал Петр Гай, с силой прижимая пальцы к кафедре, чтоб не дрожали. — Ну что, в самом деле, сделал Женя Грачев? Проявил мелкий эгоизм в погоне за незаслуженной славой лучшего студента. И только!.. К сожалению, можно. Природа подлости одна! Боровский хотел «схватить славу за блестящие крылья», ни с кем не делить. Он умышленно сообщил своему товарищу капитан-лейтенанту Максимову неверные координаты фашистской подводной лодки, чтобы торпедные катера Максимова опоздали... Боровский сам хотел дать бой, никому не отдать славы... И бухнулся в грязь... Я, между прочим, еще тогда сказал об этом Грачеву. Женя небрежно бросил: «Чепуха!» Нет, не чепуха! Спрашивается, вы разобрались в природе подлости Боровского, осознали тему своего доклада, товарищ Лиля Крылова? Или попрежнему... — Петр Гай взглянул на бледное, без кровинки, лицо Лили и, не закончив фразы, шагнул с высокой кафедры в зал, вздрогнувший, будто привставший ему навстречу.

После выступления Юры Кораблева и Петра Гая прения приняли бурный характер, но о Грачеве больше не вспоминали.

Лиля понемножку успокоилась. Лосев послал ей записку: «Лиля, ты помнишь о лицемерной статье Жени в стенной газете?»

Сразу пришел ответ: «Тимофей Иванович! Очень нехорошо, что я тогда скрыла это от комсомольцев. Сейчас, конечно, нетрудно вспомнить все грехи Жени... Но прошу меня пощадить. Это было давно. Поверьте, тяжело «хвалиться» своей трусостью».

Внезапно Гай, резко поднявшись, вышел в коридор.

Сразу же вслед за ним вышел и Лосев.

— В чем дело, Петр?

— Душно, голова трещит, — Гай попытался улыбнуться. — Ну, да ничего... Румяный-то каков, а?

— Юра? Растет наш румяный, как на дрожжах растет.

— Куда вы делись? — Саша Чепрак выглянул в коридор. — Как вам это нравится? — с гневом сказал он. — И чего мы возимся? Гнать этого хлюпика из университета!

— Куда? — невозмутимо спросил Лосев.

— То есть, как это? Гнать ко всем чертям!

— Что, опять бдительность свою проявляешь? — с усмешкой спросил Гай.

— Сашка, — едва сдерживая себя, сказал Лосев. — Ну, скажи на милость, почему ты всегда идешь по самому легкому пути? Пока тебе Грачева к самому носу не подпихнули, ты отмахивался от него руками и ногами. Мол, в семье не без уроды. А теперь — гнать... Сами не сладили — пусть подбирает, кто хочет. Так, что ли?

В перерыве собрания из двери быстро вышел Женя Грачев. Громко застучали ботинки по чугунным ступенькам.

Женя всегда больше всего опасался, как бы о нем плохо не подумали, и вдруг... Это был самый сильный удар, какой только можно себе представить. «Раздули-то, — плаксиво повторял он про себя. — До чего раздули!»

Женя поносил Юру, Петра Гая, Лилу, Лосева — всех, кто только приходил ему на ум, чтобы заглушить в себе все растущее непривычное, тревожащее чувство, отогнать неприятные мысли: «Это, действительно, неблагородно. Пакость... скрыть... Гай честнее меня, благороднее. Благороднее?» Несколько секунд Грачев боролся сам с собой. «Благороднее?» И признался себе честно: «Да». Но сразу же, как всегда, он нашел спасительную, успокаивающую лазейку: «Но хуже ли я Гая? Конечно, нет! Не красотой характеров земля держится. Основное в жизни — это не характер, а качество, глубина исполняемого труда. А кто из нас будет более ценен для филологии? Это, пожалуй, даже не вопрос», — Грачев усмехнулся и снова, облегченно вздохнув, почувствовал почву под ногами.

После собрания Лиля вышла из дверей факультета во двор. Было поздно. Свежий воздух, такой оживляющий после утомительной духоты аудитории, не радовал ее.

Все было на месте. Решетка забора. Каменная калитка. Фонари Манежной площади. Жизнь шла своим чередом. А у нее?

Лиле вдруг стало страшно за себя. Такое состояние бывает у очень молодых самонадеянных людей, которые, впадая в другую крайность, убеждаются в своей совершенной бесталанности, когда все их мечты, надежды, планы, вынашиваемые годами, рушатся вдруг.

— Лилия, Лилечка! — услышала она сзади взволнованный голос Кати Жигаревой. — Где ты?

Лиле очень хотелось побыть одной. Перебежав площадь, она пошла к Александровскому саду. Ей стало жарко, и она распахнула пальто. Но и холодный влажный ветер с Москвы-реки не успокоил ее. Взявшись за железные прутья невысокой ограды, Лилия, ничего не видя вокруг себя, вспоминала своих школьных друзей, товарищей по университету, знакомых семьи, Сережу Рожнова, которого она так уважала.

«А ведь Сережа втихомолку радовался, когда забраковали учебник профессора Грома, — неожиданно вспомнила Лилия. — Как? — воскликнула она, пораженная вдруг такой жестокой для нее мыслью. Сережа... Женя Грачев... Боровский...»

10

— Опоздаем! — Катя Жигарева волновалась, избегая по движущемуся эскалатору станции метро. — Галя, опоздаем на митинг!

Подруги полдня просидели, готовясь к семинару по истории русского языка, в уютной гостиной у Лили. Катя, общепризнанный «знаток», терпеливо объясняла девушкам «законы падения» ослабленных, постепенно исчезающих, так называемых редуцированных звуков. Съев две вазы печенья, девушки, наконец, постигли превратности многовековой судьбы «еря» и «ера» и теперь уже твердо знали, почему, скажем, из слова «сон» в родительном падеже «выкатывается», как говорила Галя, буква «о». Хотя приходи на экзамены сам Гордеев! Ни тютельки не страшно!

Приехав домой, Катя и Галя поразились: ни в коридоре, ни в соседних комнатах они не встретили ни одного человека. Ни одного! Небыва-

лый случай. Привратница, молоденькая крикливая толстушка в синей кофточке, сидевшая, как и полагалось ей, «при вратах» студенческого общежития, знала только о том, что все «сломя голову пронесли мимо нас на какой-то митинг».

— Ой, что-нибудь такое важное!.. — Катя взглянула на ручные чашки.

До начала митинга в университете оставалось, как выяснилось, еще тридцать пять минут.

Катя вопросительно посмотрела на Галю.

— Или что-нибудь в Китае, — напряженно припоминала Галя последние газетные сообщения. — Или опять в Чехословакии... А может, в Италии?! — радостно воскликнула она.

— Одним словом, помчались!

Перегоняя прохожих, бежали к университету.

— Ура-а! — закричали филологи, когда Катя и Галя вошли в шумный двор университета. — Нашего полку прибыло!

Юра Кораблев в кругу танцующих отбивал чечетку, то и дело поправляя галстук. Завидев Катю и Галю, он бросился из круга им навстречу.

— Слышали?

— Что?

— Ничего не слышали?

— Да что?

— На Ленинских горах... уф! — Юра перевел дух, — будут строить новое здание университета.

— Когда?

— На днях. В пятьдесят втором году должен быть готов.

— Кто тебе сказал? — спросила Катя.

— Здравствуйте! Откуда вы упали? Разве вы не на митинг?

— Конечно, на митинг! — воскликнули в один голос Катя и Галя.

— Так вы знаете?.. Нет?.. Двадцать шесть этажей. Отдельные корпуса для физического, химического и биологического факультетов. Честное слово! Лаборатории, обсерватория... Квартир для профессоров. А студенческое общежитие, подумать только, на шесть тысяч мест!

— О!

— Подождите! — Юра схватил Катю за рукав. — Понимаешь, представили проект студенческого общежития. В комнатах по четыре человека. Сказал и — каждому отдельную комнату. Понимаешь? Каждому!

В обнимку, толпами ходили физики, считавшиеся самыми дружными ребятами в университете. Скандировали хором:

— Да здравствует новое здание университета! Дворца советской науки!.. Ура-а!

Над головами высоко взлетал волейбольный мяч. Девушки с уважением смотрели на лучшего «гасильщика» факультета: это был инвалид, потерявший на фронте правую руку. Но разве назовет его кто-нибудь инвалидом, когда он — самый ловкий, самый остроумный из парней?

— Пошли, пошли! — закричали со всех сторон. — Митинг у памятника Ломоносову! Филологи, веселее!... Запевай! Юра, Иво Бакош! Запевай!

Когда поет, взявшись за руки, молодежь, наши дорогие друзья и товарищи, когда расплещет ветер по столичным улицам запев их клятвы верности:

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем... —

москвичи, идущие мимо, любят и улыбаются навстречу этой сильной творческой юности, гордятся ею, будущей славой своей, мысленно вторят молодежи:

В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идем.

Из клуба принесли огромные портреты прославленных питомцев университета. Тимофей Лосев доверил Петру держать портрет Виссариона Белинского.

Петр сегодня впервые надел новую голубую рубашку с темновишневым галстуком, черные брюки и, можно сказать, помолодел. В его карих глазах не было прежней, старившей лицо, нервной настороженности.

— Какой ты у нас пушистый! — Галя засмеялась, глядя на растрепанные ветром кудри Петра.

— Пушистый? — Гай улыбнулся. — Меня так все дети называют.

Вознесенная над двором университета площадка — «капитанский мостик», на боковых скатах которой тянулась к весеннему солнцу первая травка, быстро наполнялась празднично одетыми, в светлых костюмах, людьми. Каждый из них здоровался за руку, кивал или снимал шляпу, наверное, перед доброй сотней улыбавшихся ему студентов и преподавателей.

Ждали приезда ректора, который, как передавали из уст в уста, привезет правительственное постановление.

Возбужденные, все необычно громко разговаривали друг с другом, шутили, смеялись. Иван Матвеевич Жаков, ссутулившись, поддерживал под руку низенького Горелова-Казанского.

— Помню, как сейчас, — рассказывал им Сергей Викентьевич, поднимая руку кверху. — Небо было такое же, светлое. Ни облачка. У торговых рядов полиция напала. Около Манежа, там, где сейчас электрические часы висят, студенты красный флаг подняли. Павлуша, мой товарищ, дирижировал студенческим оркестром. А мне дали портрет Белинского...

От волнения у Галя на секунду перехватило дыхание: ведь теперь он, Петро Гай, демобилизованный солдат и студент, держал в руках портрет Виссариона Белинского. Крепче сжимая в руках толстое древко, он прислонил его к плечу.

— Устал? — сочувственно спросила Галя, стоявшая сзади.

— Давай я тебя немножко заменю, — вежливо предложил Женя Грачев.

— Что? — резко спросил, оглянувшись, Гай. — Отдать тебе?

Лицо у Петра Галя стало злым и, как раньше, колючим. «Что это за невыдержанность!» — тут же осадил он себя.

— Спасибо, — холодно, спокойно добавил Петр. — Я не устал.

Это столкновение — незначительное и неприметное для других — Женя ощутил, как тяжелый удар.

«Отец мне предсказывал...» Сцепив руки за спиной, Женя глядел под ноги. «...Это и предсказывал», — с болью повторял он про себя.

В тот вечер, после комсомольского собрания, Женя пришел домой, казалось, успокоившись. Дал себе слово никогда ни за что не ввязываться ни в одно «их мероприятие». Отца еще не было дома, и Женя решил не ложиться спать до его прихода.

Если бы Клавдия Васильевна в эти минуты заглянула в комнату сына, она, наверное, всполошила бы ночным телефонным звонком какого-нибудь знакомого доктора: Женя был смертельно бледен.

В первом часу пришел отец. Он был в хорошем настроении: предприятия главка, которым он теперь руководил, досрочно выполнили квартальный план.

— Так, так, — прихлебывая горячий чай, довольно повторял отец. — Значит, и у вас собрания длятся почти до петухов. А ты выступал? Ничего? Так... А как товарищи отнеслись к твоей рецензии? Помнишь, ты все ругал за примитивизм тот сборник о подвигах комсомольцев.

— Хорошо, — Женя, сморщившись, приложил ко лбу ладонь.

— Больно? Мамочка, повяжи ему на голову мокрое полотенце. Ну, а товарищи согласились с тобой?

— Да... Видишь ли, я в ней... как бы тебе сказать... не резко выразил свое мнение.

— Вот как, — хмурясь, сказал отец. — Ты уже, плутишка, научился штамповать: «Однако, наряду с успехами...» Все-таки как восприняли твои критические замечания?

— Понимаешь, папа, — краснея до ушей, промямлил Женя. — Я ее не ругал...

— Что? — удивился Грачев. — Как это не ругал? Не хвалил же?

Женя нервно перебирал пальцами бахрому скатерти...

— Хвалил? Не понимаю. Объясни, пожалуйста, — откидываясь на спинку кресла, вполголоса сказал отец. Он сейчас, пожалуй, впервые за все эти годы не ограничился своим обычным торопливым вопросом: «Как дела, Женя?»

— Всем нравится, — бормотал Женя. — Чего же лететь против ветра?

— Против ветра? — отец поднялся, шумно отодвинув свое кресло. — Да кто тебя напичкал этим? Этому разве тебя в школе учили?!

— Зачем мне с ними скандалить? — тоже вставая, ответил Женя. — Затаскают по собраниям, отвлекут от учебы. Да и вообще, к чему мне все эти их мероприятия! — глядя мимо отца, упрямо сказал Женя. — Что я по их милости учусь в университете? Я никому не обязан...

— Никому не обязан? — крикнул отец. — Как ты смеешь! Я в твои годы бревна на пристани разгружал! Добегался бы к старости самое большое — до приказчика! Ты б и средней школы не понюхал, если бы...

— Что ты кричишь? Я только хочу, чтобы они не мешали мне заниматься.

— Кто это «они»? Враги, что ли, твои?

— Почему же враги...

— Вне времени и пространства витаешь... чужаком?! — воскликнул отец. — Ах ты, сопляк сочувствующий! — выругался он гневно и горько.

Клавдия Васильевна, вскрикнув, вбежала в столовую и встала между сыном и мужем.

— С ума сошли? В час ночи... Женя, сейчас же спать!

Впервые не пожелав родителям «спокойной ночи», Женя хлопнул дверью своей комнаты. Сел, подперев голову руками, за письменный стол, пытался рассуждать спокойнее. Все, что он так тщательно обдумал, что казалось непоколебимым, — рушилось. Разве ему позволять дальше отгораживаться от жизни, пусть даже томами его изысканий о «лишних людях»? Сколько еще раз он сможет «отпихнуться» от товарищей «обтекаемыми» рецензиями, беззубыми выступлениями? Не придется ли ему... ему, искренно презирающему карьеристов, всю жизнь брести по их стопам? Ведь завтра к нему снова подойдет Лосев, заговорит Лиля, начнет задирать Катя, опять что-нибудь заметит Юра Кораблев. Да, жизнь потребует от него еще много раз твердого «да!» или «нет!».

...Взглянув на Гая, который высоко над головой поднимал портрет Виссариона Белинского, Женя повторил про себя с болью: «Отец мне об этом и говорил. Чужаком витаешь... Добился, — печально думал Женя, — стал исключением, да только позорным».

Явились даже те, кого студенты шуточно именуют «переростками»: они окончили университет три — пять лет назад, но попрежнему приходят сюда — и на демонстрацию, и вот сейчас... Когда они успели узнать?

Лиля Крылова, стоя в сторонке, на тротуаре, ела мороженое. Оно быстро таяло и текло по пальцам.

— Крылова, почему ты не с нашими? — спросил, подходя к ней, Тимофей Лосев. — Иди к ним пить.

— Не хочется.

— Что с тобой? — Тимофей приблизился к ней вплотную.

«Что, если у него спросить? — подумала Лиля. — У него? Конечно. У кого же еще?»

— Тимофей, — решила она. — Вчера я порвала дружбу с человеком, которого перестала уважать. Как по-твоему, это правильно?

— Конечно! Раз перестала уважать.

— Да, но Сергей мне... Я его... — тихо сказала Лиля, опустив голову.

— Понимаю, — помолчав, серьезно сказал Лосев. — Наверное, не за пустяк перестала уважать?

— Да. Он нечестен со своими товарищами.

— Значит, правильно. Правильно! — добавил Тимофей ободряюще. — Не допускать его, Лилечка, ни к дому, ни к сердцу... Катюша! Галя! — что есть силы крикнул он девушкам, которые с букетиками подснежников в руках танцовали в широком кругу. — Почему Лилю бросили?

Катя подбежала, схватила Лилю за руку и увлекла за собой.

«Разочароваться в любимом... нет, не хотел бы, никогда не хотел бы оказаться на ее месте!..»

Тимофей взглянул на смеявшихся девушек, которые под один и тот же мотив ухитрялись танцовать все известные им танцы:

«Ну, сегодня-то моя Катюшка натанцуется вдоволь!..»

Гай отдал портрет Виссарьона Белинского доценту Василию Ивановичу Рыбакову и подошел к девушкам. Он словно преобразился. Никто раньше и не предполагал, что Петя Гай такой невероятный выдумщик, весельчак и даже певец. Он сегодня учил любителей, но сам, своим мощным басом, напоминающим не то медвежий рев, не то паровой гудок, громко запевать не решался. Подтягивал вслед за Иво Бакошем: «Распрягайте, хлопцы, коней!..»

Невдалеке, около танцовавших, засунув руки в карманы, стоял Саша Чепрак. Он со вчерашнего вечера уже не был заместителем секретаря. Молчаливый, даже, казалось Лосеву, осунувшийся, он совсем не напоминал неугомонного, шумного Чепрака, каким его знал весь университет. Видно, непривычно и тяжело было Саше, что ни у одного комсомольца не было к нему пусть даже самого пустякового дела. Ни у одного...

Лосев, увидев Чепрака, снова, как и вчера на бюро, почувствовал себя виноватым: «Завалили парня с головой «мероприятиями» да протоколами. Вот и выработался у него этот «стиль Чепрака»...»

— Саша! — крикнул Лосев. — Ты чего же Гаю не помогаешь?

Чепрак, заметив дружелюбный взгляд Тимофея, сконфуженно улыбнулся.

— Тимоха! — весело крикнул Гай Лосеву. — Ты что это, посылаешь Чепрака, а сам не помогаешь? Вот сейчас тебя поставим на голову.

Лосев взял Гаю под руку.

— Как самочувствие, Петя?

— Хорошее.

— Тяни, брат. Сдашь сессию — тут же на поезд: опять в Геленджик, в студенческий санаторий. Не против?

— Еще бы! — обрадованно воскликнул Петр. — Я, дружище, люблю запах дальней дороги — дымок паровозный... Э-эх, хорошо! — сощурясь, он взглянул на слепившее, казалось, с минуты на минуту накалявшееся солнце. — Пляж... Черное море...

За железной узорной оградой круто остановился черный, как всегда, парадно сияющий ребрами крыльев «ЗИС-110» с занавесками на окнах. Из него быстро, хлопнув дверцей, вышел рослый, плечистый, по выражению Петра Гаю, «мощнейший мужчина» в темносинем костюме.

— Приехал! — крикнул Юра Кораблев осипшим от пения тенорком.

Ректор университета торопливо подошел ко второму «ЗИСу-110», который подкатился вслед за его машиной, и, протянув руку, помог выйти

из него высокому, чуть-чуть сгорбленному, белоголовому, величественно-красивому старику в расстегнутой меховой куртке. Поддерживаемый под руку ректором, старик медленно переступал по асфальтовой дорожке среди мгновенно расступавшихся перед ним аплодировавших студентов.

Невдалеке от мраморного постамента, на котором возвышался озаренный солнцем памятник великому основателю университета, поставили два стула. К ним подошли старейшие: кивавший во все стороны Николай Дмитриевич Зелинский, которого ректор, его любимый ученик, проводил до самого стула, и красный от волнения Амвросий Федосеевич Горелов-Казанский в черном, непривычно широком, свободно ниспадавшем с плеч пиджаке, который, видимо, не стеснял его движений.

Крепко пожав друг другу руки, старики вдруг порывисто обнялись, — черная ермолка Амвросия Федосеевича так и не дотянулась до ослепительно белой подстриженной бородки Николая Дмитриевича. Они уселись рядом — эти патриархи естественных и гуманитарных наук, которые вместе дали Родине столько ученых, что и среди них, в свою очередь, можно насчитать уже не один десяток известных всей стране академиков.

Ректор наклонил к Гордееву, который стоял возле Амвросия Федосеевича, свою крупную, высоколобую голову.

— Выступите, Сергей Викентьевич?

Гордеев улыбнулся ректору предупредительно и чуть напряженно... Вчера к Гордееву позвонил из Управления университетами знакомый ему Елизар Филиппович Шубов и «по-приятельски» рекомендовал («ради вас беспокоюсь, Сергей Викентьевич», — сказал он) не отстаивать перед министром Амвросия Федосеевича, которому, мол, «пора и на покой».

Признаться, в первый момент Гордеев почувствовал смятение... И лишь тогда, когда он узнал об этом строительстве на Ленинских горах, он ощутил в себе небывалый прилив решимости и силы: «Зарвались?! Ну, так мы вас осадим... В крайнем случае, обратимся за помощью. Тот, кто заботится о дворце науки, позаботится и о самой науке...»

— Выступите, Сергей Викентьевич? — с утвердительной интонацией повторил ректор.

— Может быть, вначале Амвросий Федосеевич хочет... Как ты, Амвросий Федосеевич?

Амвросий Федосеевич взглянул на ректора. Старику почему-то всегда казалось, что большое счастье притупляет у человека зрение. Пытливо-острый быстрый взгляд увлажненных от счастья больших серых глаз ректора, которым тот скользнул по его лицу, разубедил его в этом...

Амвросий Федосеевич намеревался говорить после Зелинского. Да, ему-то он уступает во всем: и возрастом, и, к сожалению, здоровьем, и, увы, куда менее цельной и героической биографией своей. А может быть, даже чуть-чуть и научным авторитетом?..

— Разве вот после Николая Дмитриевича...

И, сосредоточившись, он почти что перестал воспринимать окружающее. Ему кивали, улыбались, кланялись — он не отвечал.

«Экое счастье!.. — Амвросий Федосеевич глядел сейчас только на круглолицую, маленькую, знакомую ему девушку, кажется, второкурсницу; коротенькие светлые косички ее забавно торчали в разные стороны — одна вверх, другая вниз. — Разве есть слова, которые были бы сильнее и ярче эдакого-то самозабвенного восторга ее?! Право слово, ему нечего добавить... Или нет? Вот что...»

И тут же мысленно развернул несколько своих разноцветных папок с голубыми тесемочками.

«...Если он не ошибается, это в тысяча семьсот семьдесят пятом году, — да-с, на двадцатом году существования университета, — профессора мечтали перенести университет или на Воробьевы горы, или еще куда-то, где можно использовать «под оный старый... дом с окололежавшими ме-

стами». Да-с. Хоть какой-нибудь старый облупленный дом... А не покажутся ли нынче девочке-то дерзкие мечтатели юмористами?

Наверное, и об этом она не слышала... Будь она хоть семи пядей во лбу, как... Сережа Гордеев, и то... прожила бы все пять лет учебы в казарме... В синей папке лежит этот приказ? «Без дозволения никто из казеннокоштных не может выйти из дому»...

Экой чудак! — Амвросий Федосеевич всплеснул, к изумлению окружающих, руками. — Да ведь она — жен-щи-на!.. Ее бы вообще не приняли в университет. Каково!.. Даже я, даже я об этом стал забывать...»

Девочка с косичками захлопала в ладоши с такой оглушившей его мощью, будто у нее была тысяча рук.

Ну да, это заканчивал говорить ректор... Как обычно, чуть скандируя слова, приглушенным голосом, время от времени встряхивая сильными, чуткими к мысли его, умными руками химика, он не «держал речь», он по-дружески разговаривал с восторженно тянувшимися к нему юношами и девушками.

Второй стул уже был пустым. Академик Зелинский, пытаясь застегнуть на ходу распахнутую ветром меховую куртку, короткими шажками прошел к балюстраде.

Амвросий Федосеевич запоздало оттопырил ладонью ухо.

— ...ни труда, ни жизни самой не пожалеет для Родины мы, старые ученые — молодые коммунисты и беспартийные большевики!

Амвросий Федосеевич первым взмахнул своими пухлыми, со вздутыми венами, руками.

«Что же он, наконец-то, сам скажет?.. — Амвросий Федосеевич снова как бы перестал воспринимать окружающее... — Право слово, трудненько выступать после Николая Дмитриевича... Прежде всего — о Ломоносове и его учениках, бросивших в лицо обнаглевшим иностранцам: «Нет такой мысли, кою бы по Российски изъяснить было невозможно!» О типографии вольнолюбца Новикова, в крепости измученного. Да-с. Затем — о философских кружках Герцена и Станкевича. О Радищеве и Грибоедове. О Белинском и Пирогове. О Лебедеве и Чехове. О Жуковском и Тимирязеве. Да-да. Вот она — генеральная линия Московского университета... А где они — враги их, крохоборы от науки, верноподданные мерзавцы?! Разве только скверным анекдотом остались они в памяти людской. Да-с. Исключить из университета титана мысли Виссариона Белинского по причине «...ограниченности способностей». Экие пигмеи!»

Приложив ладонь к уху, он снова пытался слушать Зелинского. Все еще увлеченный своими мыслями, он не различал его слов. Но так юношески вдохновенно все звучал и звучал глуховатый голос великого старца, такой неиссякаемо-прекрасной любовью, казалось, дышало каждое слово его, что у Амвросия Федосеевича как-то сам по себе отошел на задний план весь его «исторический экскурс».

— Дорогие друзья мои! — хриповато, с надрывом, так, чтоб услышали даже стоявшие поодаль, у ворот и научной библиотеки, воскликнул Амвросий Федосеевич, кладя руки на каменную балюстраду. — Смотрю я и на вас, двадцатилетних, и на нашего всеми уважаемого Николая Дмитриевича Зелинского, которому скоро пойдет девяно-остый годок, и чувствую... чувствую всем сердцем своим...

И так напряглись красноватые жилы на шее Амвросия Федосеевича, что сейчас ему, наверное, и в самом деле внимали все: и те, кто толпились за оградой, на улице, и сотни счастливо-вдохновенных лиц, глядевших из окон библиотек и аудиторий.

— ...Университет вечно молод! В нем нет места людям с холодными глазами!

Ветер пытался сорвать с коротко остриженной седой головы Амвросия Федосеевича черную профессорскую ермолку. Но и ветер-то не смог этого сделать...

— Счастливая судьба университета... — едва перекрывая одобрителный гул, воскликнул Амвросий Федосеевич, — это и моя счастливая судьба! И ваша!..

Помолчал, ожидая тишины, и решительно произнес:

— Каждый, кто взойдет в этот дворец, — помните! — должен оставить за порогом, — он властно взмахнул рукой, — все, все недостойное этого храма науки, детища вождя нашего!..

Он обернулся к светлому зданию университета, сложил руки на груди и с хрипотцой, чувствуя, что становятся влажными глаза, сказал:

— Мы... мы все... будем достойны тебя, наша великая alma mater!

Амвросий Федосеевич хотел еще что-то сказать, потоптался на месте, потянулся за носовым платком и нерешительно, боком, начал отходить в сторонку. Сергей Викентьевич крупным шагом приблизился к своему другу и, выйдя впереди его, повторил его возглас:

— Мы будем достойны тебя, наша великая мать-кормилица!

— Наша alma mater, — негромко сказал вслед за ним Женя Грачев. Столько было в его голосе, показалось Петру Гаю, неожиданной нежности, что Гай внимательно посмотрел на Женю.

— Да, наша мать-кормилица, — повторил и он.

Радуя, возвышая, неслись вперед светлые мысли...

Наша alma mater, наша мать-кормилица! Сколько счастья ты доставила людям, сколько надежд с тобой связано, сколько неунывающих, упрямых, талантливых людей взрастила! Тебя называли своею alma mater и те, кто, надев фуражки с казенным царским гербом, гнали нас, «кухаркиных детей», на задворки жизни... Но только для нас, советских студентов, университет, действительно, мать-кормилица. Волнуясь, мы переступили порог университета в первом послевоенном году. Так же, как многие из наших отцов в семнадцатом, так же, как войдут наши дети и в новое здание на Ленинских горах... Вошли и робко поздоровались: «Здравствуй, Университет». Но он давно уже был нашей первой любовью, мы гордились его великими питомцами, учеными-борцами, провозгласившими на весь мир, «что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать», и тихие слова приветия прозвучали в нашем сердце, как неумолкающая здравица ему. Вместе с теми, кто уже носит на груди небольшой, эмалью покрытый ромб с золотым гербом Советского Союза — значок воспитанника университета, — вместе с теми, кому ежечасно помогают бороться за мир и изобилие пытливые выпускники его, будь то физики или географы, математики или филологи, — вместе с нашим народом и всеми честными людьми за рубежами Родины студенты от всей души повторяют эту миллионоустую здравицу советской науке: «Здравствуй, Университет! Сталинский Университет! Во веки коммунистических веков живи и здравствуй!»

Мы готовы отдать все, чему ты нас научил, наши молодые силы ума и сердца, — все отдадим для счастья народа!

Тимофей Лосев стоял недалеко от мраморного пьедестала памятника Ломоносову, стиснутый со всех сторон разгоряченной ликующей тысячеголовой толпой. Где-то позади его время от времени взрывали тишину медные тарелки студенческого оркестра. У Тимофея все еще звучал в ушах вместе с нараставшим гулом приветствий страстный, вдохновлявший возглас Сергея Викентьевича Гордеева:

— ...молодежи — надежде нашего народа!..

«На нас надеются! — возникла радостная и в то же время беспокойная мысль. — На каждого, кто здесь стоит. Каждому верят. И Жене Грачеву верят... Неужели он так и вырастет сорняком? Нет, не окончен еще этот разговор. Мы еще вернемся к нему...»

— На Красную площадь! — вдруг послышалось со всех сторон. — Идемте к Кремлю, ребята!..

Рассвистелись милиционеры, задерживая движение у Манежа. В обнимку, от тротуара до тротуара, шла благодарная юность, тысячами сильных голосов поднявшая ввысь, к горевшим на солнце кремлевским звездам, любимую, вечно юную песню:

Шагай вперед, комсомольское племя!
Шути и пой, чтоб улыбки цвели.
Мы покоряем пространство и время,
Мы — молодые хозяева земли!..

Студенты направились к темнокрасному зданию Исторического музея, — это на его месте почти двести лет назад был основан Михаилом Ломоносовым первый русский университет.

На широкой панели, возле желтого посольства, блеснули на солнце золотые галуны иностранных военных атташе. Ветер развевал воинственное оперение на высоких шапках морских офицеров. Куда повернуты их головы? А... они смотрят на те четыре голубых автобуса, которые везут вдалеке офицеров с голубыми околышами на фуражках, видимо, слушателей Военно-воздушной академии. Что военным атташе до этой стихийной демонстрации гражданских!..

Тимофей Лосев неожиданно для себя начал вдруг подчеркнуто солдатски, так, как учил когда-то старшина, отмахивать руками: вперед — до пояса, назад — до отказа.

1947—48, 51 гг.

Москва.

Соседи

Повесть в стихах

1

Уже ручьями талых вод
Весна в лощинах отзвенела,
Из-под орешника вот-вот
Цветочек выглянет несмело.
Идет по всей округе сев
С весной в ногу — полным ходом...
Садится солнце, отогрев
Поля под синим небосводом.

А в клубе — только смерклось чуть —
Скамейки заняты заранее:
Сейчас в колхозе «Новый путь»
Начнется общее собрание.
Уселись деды впереди
И бригадиры, а подале
Платки, платки — хоть пруд пруди —
Пестро рассыпались по зале.
Гайдар с Гаврилой кузнецом
Толкуют тихо в уголке:
— Прогнать — и дело бы с концом,
Переизбрать без проволочки!
Нам председатель нужен, друг,
Такой, чтоб все в руках кипело,
А Мазур — что? Он — как без рук!
— Но кто ж бы мог наладить дело?
Ты вот что лучше мне скажи! —
И, наклонившись, кузнечиха
Тут говорит Гавриле тихо:
— А ты Гайдара предложи!

Гайдар смутился, и притих,
И, усмехнувшись через силу,
Глядит растерянно на них,
То на нее, то на Гаврилу...
Но в зале вдруг замолк народ.
За стол садится величаво
Сам Мазур. Слева — счетовод,
А секретарь райкома — справа.
У Мазура на сердце — мир.
Течет собранье тихо, чинно...

Но вот выходит бригадир
Явдоха Власьевна Щербина.
— Что сделал за год «Новый путь»? —
Волнуясь, начала Явдоха.
— Не подтянулся он ничуть,
Дела идут, как прежде, плохо.
Возьмем колхоз, — ну, хоть «Маяк»,
Что тут же с нами по соседству:
Передовым он стал, — а как?
Иль знает он такое средство?
Из года в год «Маяк» сдает
Сполна положенное к сроку,

А «Новый путь» из года в год
Кредиты ест, и все без проку.
«Маяк» вот снег-то приберег
И спас пшеницу. Мы же с вами
Пустили все на самотек —
Посев и выдуло ветрами.
Земля у нас межа в межу
И люди словно бы не плохи,
А результаты, вам скажу!..

Вскипел тут Мазур и — к Явдохе:
— Снопы мы, что ли, на возу,
Что нас одною меркой мерят!
Мы — на горе, они — внизу...
— Хитер! Да кто тебе поверит! —
Вокруг насмешки раздались.
А дед Гаврила — тот уж злится:
— Ты у Явдохи поучись,
Глядишь — под старость пригодится!

Грохочет в зале дружный смех,
Но секретарь тут поднял руку:
— А Мазур, видно, не из тех,
Кто благодарен за науку!

Аж крикнул Мазур за столом,
Лицо внезапно побледнело...
«С Явдохой, значит, и райком!
Ой, Мазур, Мазур, плохо дело!»
Застыл, поникла голова,
Сидит, растерянно моргает.
Явдоха ж гневные слова,
Кипя, в лицо ему бросает:
— Отгородился он от нас,
Ходить к нему уж надоело:
То, мол, в другой расскажешь раз,
То, говорит, не бабье дело.
В работе ж — все на самотек,
Пойдет, мол, как-нибудь, помалу,
А план не выполнили в срок, —
«Ну, что же, мы — колхоз отсталый!»
Нет! Эта песенка стара!
А как пробить глухую стенку?
Я и подумала: пора
Пойти к товарищу Карпенко.

Как будто вихорь грозовой,
Пронесся сразу шум по зале:
— Не может быть он головой!..
— Мы все его предупреждали!..
— Ему бы жить, как жили встарь, —
Всё не спеша, всё тихим ходом...

¹ Голова — председатель.

— Ну, друг, — промолвил секретарь, —
Держи ответ перед народом!
Но не находит Мазур слов,
Стоит он, разводя руками...
— Да я ж старался... Я ж готов...
Я ж целый год не спал ночами...
Себя ж я, братцы, не жалел,
Все отдавал колхозу силы... —

Ударил в грудь себя и сел.

Тут поднялся старик Гаврила:
— Старался! Где там! Тарахтел,
Как заведенная машина,
А разобраться не хотел,
В чем нашей слабости причина...

С трибуны гордо сходит дед:
Мол, мы не лаптем щи хлебаали!
За ним рукоплесканья вслед,
Как буря, катятся по зале.
И лестно деду, — хоть и стар,
А раскраснелся, как с мороза.

...Так вместо Мазура Гайдар
Стал председателем колхоза.

* * *

По темным улицам села
Народ расходится из клуба.
Толкуют про свои дела
С таким огнем — послушать любо!
Пора бы каждому домой,
Но как отстанешь от народа?..
И только Мазур стороной
Бредет один по огородам.
Не разбирая, наугад
Домой в потемках он шагает.
Вдруг слышит голос — и не рад:
Уж не его ли окликают?
Да не Гайдар ли? Он, кажись!
Догнал. Идет тихонько рядом.
— Уж ты, брат Мазур, не сердись,
Давай-ка все обсудим ладом.
Ведь виноват во всем ты сам:
Твой глаз неверно был нацелен.
— Ступай-ка ты ко всем чертям!
Меня учить еще ты зелен! —
Не в силах злость сдержат в груди,
Он плюнул — и скорей до дому,
А сзади слышит:
Приходи,
Поговорим по-деловому!

2

За тракторами ползет дымок,
Медленно тает, стелясь на воле...
Нынче Гайдар не на шутку взмок, —
Всё из-за пробного выезда в поле.

Он счетовода к себе зовет:
— Кто на работу сегодня не вышел?
— Первой Килину бы взять в оборот,
Дома сидит, хоть и дом-то без крыши.
Мазур ходил к ней — зарекся на век!
Ей этот самый колхоз — не соврать
бы —
Нужен, как мне прошлогодний снег.
Только ведь тем и живет, что
с усадьбы.
«Может, Килину под суд отдать?» —

Злитесь Гайдар. — Наказать — и точка.
Лодырь в хозяйстве — врагу подставить,
С ним разговоры — одна проволочка...»

Хата ее на краю села,
Не огорожена, не покрыта,
С улицы вишнями обросла.
На огороде — стерня от жита.
Входит Гайдар, да и сам не рад,
Что и сказать — не найдется сразу...
— Здравствуй, Килина.

— Здорово, брат!

Гнать меня в поле пришел, как
Мазур?
«Гнать?..» Аж смутился незванный
гость,
Вспыхнул он весь от такого слова,
Снова в душе загорелась злость:
— Гнать тебя в поле? Ты, что ж,
корова?

Самый меньшей с материнских рук,
Хныкая тихо, впился в Миколу;
Двое стоят, а в глазах — испуг;
Есть и еще, да ушел он в школу.
Трудно без мужа живет она;
Года уж два, как его не стало.
Так четверых и везет одна, —
Мазуру ж, видно, и горя мало!

Кружкой Гайдар зачерпнул воды,
Думает, как бы тут подступиться?
— С чем же ко мне заявился ты,
Друг-председатель?
— Да вот — напиться.
— Пить захотел! — И Килина —
в смех.

Вторит хозяйке Гайдар, как эхо,
Дети хохочут, в глазах у всех
Весело прыгают искры смеха.
Ладно, что сам побывал он тут,
Что не доверился злomu слову.
Мог бы Килину отдать под суд,
Верно, и справки давно готовы.
Он говорит, на скамью присев:
— Дело, Килина, к тебе, послушай:
Надо нам братиться за пересев,
Ветер-то, видишь, как землю сушит?
Вот и прошу я: уважь ты нас
И обеспечь нам работу в поле.

Села хозяйка, не сводит глаз
С гостя чудного.

— Ты шутишь, что ли?
Чем же могу я помочь?

— Пойми,
Сколько их, рук-то, освободится,
Если займешься хоть ты детьми:
С ними тебе не впервой возиться.
Сытно корми их, да надзираи,
Не урезай в молоке и в масле,
Сахару больше клади им в чай, —
Словом, тебе доверяем ясли.
Как ты, согласна?

— Да нет, постой,
Больно врасплох захватил меня ты!
— Вижу: согласна! Ответ простой, —
Он рассмеялся и — воц из хаты...

Кликнул Гайдар счетовода опять.
Тот, как услышал, застыл на месте:
— Хату покрыть? Огород вспахать?
Бабе дурной, без стыда и чести?

Только хотел он добавить еще,
Глянул — Гайдар уж вдали маячит.
«Значит, работа теперь не в счет.
Лодырей здесь пригревают, значит».

3

Чуть только расквитались с посевною,
Забот возникло множество иных.
Едва Гайдар управится с одною,
Другие дают: думай и про них.

Давно пора бы мельницу наладить;
Конюшню надо выстроить скорей;
Нет племенных телят в колхозном
стаде;
Полуторка стоит без запчастей...

И вот Микола в поезде...

Порхая,
В окошко рвется свежий ветерок...
Вокруг все поле без конца, без края,
Прорезанное лентами дорог.
Дубки бегут,

как вешки землю метя,
Овражком пробирается ручей...
Родимый край! На всем огромном
свете

Что может быть милее для очей?
С друзьями как-то, летом было дело,
Здесь сусликов водой он заливал...
Впервые здесь по-детски неумело
В тридцатом степь он с батькою
пахал...

Гайдар и жил и вырос в этом поле,
Он здесь, поблизости, учился в школе,
Здесь полюбил он девушку одну,
И лучшей бы ему не надо доли,
Да вот пошел солдатом на войну,
А девушка — та сгинула в неволе...

Всех в городе обегав по порядку,
Гайдар добыл на складе запчасти:
Выписывал наряды всех мастей —
На все, в чем ощущал колхоз
нехватку.

Как будто все в порядке, что
ни взять:
Кирпич и лес — все скоро будет дома.
Теперь же «дело в кадрах», так
сказать,
Иметь колхозу надо ж агронома.
Районный — что! Знай, мечется,
спеша.

Все некогда, все времени-де мало.
А надо так, чтоб вся его душа
Колхозу целиком принадлежала.

И вот Гайдар шагает в институт.
Заранее он речь в уме слагает...
Вошел, на счастье — сам директор
тут.

К нему пройти Гайдару предлагают.
И все забыв у входа в кабинет,
Промучившись секунду и другую,
Он попросту директору:

— Могу я
Пройти у вас заочный факультет?
— Ну что же! Лишь бы было
по закону.

Десятилетка? Значит, в самый
раз! —

И руку протянул он к телефону,
Кивнул, — мол, тут же и оформим вас.

Но о колхозе расспросив, он даже
Вздыхнул:

— Заочный факультет хорош,
Но агроном-то нужен вам сейчас же.
— Я знаю сам, да где ж его
возьмешь?
Директор вынул трубку. Закурили.
— Эх, где же, друг мой, раньше
были вы?

Теперь помочь вам не могу, увьи!
Мы всех выпускников распределили.
Вон ваш сосед давно уж побывал,
Самусь. Конечно, знаете такого?
Так вот он Чалую отвоевал,
Уж направление для нее готово.

Гайдар забеспокоился: — Беда! —
И зашагал по комнатам тревожно.

— Ну, «Маяку» еще туда-сюда,
А нам без агронома невозможно!
Они в районе передовики,
У них порядок в севообороте,
Земля, к тому же, около реки,
И люди, закаленные в работе.
А нам — ой, как нам нужен агроном
Теперь же, для удачного почина...

И тут заходит в комнату дивчина.
Стройна. Коса закручена венком,
Цветет лицо румянцем во всю щеку.
Гайдар ее оглядывает сбоку:
Уж агроном, а девочка на вид!
— Я на минуту вас оставлю. Вы же
Покамест познакомьтесь поближе, —
Им, выходя, директор говорит.

Друг другу руки жмут они неловко,
Хоть земляки... И вдруг
без подготовки
Выпаливает девушке Гайдар:

— Прошу вас к нам... Скажите ваше
слово...

И девушка краснеет, сразу в жар
Ее бросает — так все это ново.
Он гор не обещает золотых,
А, как землячке, без утайки, честно
Рассказывает, в чем беда у них.
Все-все, что самому ему известно,
И как он мыслит дело повернуть,
И почему ей хуже было б дома,
И почему как раз вот «Новый путь»
Не может обойтись без агронома...

Она в ответ: — Нет, не могу никак.
Меня ведь ждут, наверно,

не дождутся:
«Маяк» — мой дом, учил меня «Маяк»,
И я туда обязана вернуться.
Гайдар аж вскрикнул: — Вот тебе и на!..
Вас не «Маяк» учил, а вся страна!
Учила вас советская держава,
Она, дружок, у всех у нас одна,
И полагаю, что имеет право
Распоряжаться нами лишь она.

«Да что это, — подумала Ганнуса, —
Меня бранит он? Учит? Или как?»
— Вы думаете, значит, что вернусь я
Не по приказу Родины в «Маяк»?
— Да нет! Случайно здесь совпал
с приказом
Ваш личный интерес, к чему
скрывать?

Признайтесь-ка: у вас в колхозе мать,
И, как мне мой подсказывает разум,
Вам повезло...

— Никто не вправе нас...
— Да я ни вас, ни мать не осуждаю,
Отчизна же — я это утверждаю —
Такая ж мать для нас, как и для
вас.

Ганнуся, рассердившись, встала.
— Здрате!

Все это и самой известно мне.
А что ж «Маяк» — не при Советской
власти?
Не все ль равно, где служишь ты
стране?

Гайдар смекает: «Добрый агроном.
Характер твердый. Настоять сумеет.
А главное — казенным холодком
И равнодушьем от нее не вьет».
— Я не советовал бы налегке,
Сказал он, — плыть вам в жизни
по теченью...

Оно, понятно, легче в «Маяке»...
— Я не ищу в работе облегченья.
Ничто больней задеть бы не могло.
Так на душе у Ганны стало

скверно...
«Ну, что же мать? Она в колхозе,
верно,
Я вправду рвусь в родимое село...
Зазорно это? Нет».

Ганнуся встала:
— Простите, я спешу и спор прерву...
До ругани мне вашей дела мало,
Я как-нибудь ее переживу.

Гайдар опешил...
— Разве я ругался?
Уж извините, если нагрубил...
Но только он впустую извинялся:
Ганнуси нет, ее и след простыл.

Задумался Гайдар: «Что нынче дома?
Как больше хлеба взять с такой
земли?
Не обойдешься тут без агронома, —
Хоть надвое дивчину подели».

А через час он вышел из трамвая.
Гудел, как улей, Киевский вокзал,
А он сидел и, медленно листая,
Программу для заочников читал.

4

В лаборатории — микроскопы;
Злаки расставлены тут и там;
Карты из «Атласа почв Европы»
Схемы и столбики диаграмм.

Тихо, уютно, совсем, как дома...
С книгой Гайдар за столом сидит.
— Нам бы колхозного агронома... —
Грустно Явдоха ему говорит.

Смотрит Явдоха и не понимает:
«Что с ним? Устал? Это хуже всего.
Или, быть может, без пары скучает? —
Думает женщина. — Жалко его».
Но не до отдыха нынче Миколу —

Ум его ясен, на сердце легко.
Глядя в окошко на темное поле,
В мыслях унесся он далеко.

Он достает карандаш и тетрадку:
Как перестраивать «Новый путь»?
Все занесем, брат, сюда по порядку,
Только, гляди, ничего не забудь.
Раз: на пески навалиться дружно
И травополье скорей вести,
Смену культур нам освоить нужно...
Так и запишем — до десяти.
Два: чтобы в каждой колхозной хате
Вспыхнула лампочка Ильича.
Рядом заводы — питания хватит.
Дальше — наладить обжиг кирпича...
И уж нужнее всего, без спора,
Новая мельница, маслозавод,
Около них в голубые озера
Карпов пустить бы, линей на развод.
В будущем самом уж недалеко
Все это видно, а что вдали?
Тут уж и впрямь не охватишь оком
Светлого счастья родной земли!

...А по садам, по лугам, косогорам
Ветер порхает и вкривь и вкось,
Солнечным, синим морским простором
Утро погожее разлилось.
В поле пора, но покоя нету...
Что же случилось, Гайдар, с тобой?
Словно бы чует душа, что где-то
С поезда Ганна спешит домой...

5

Грудь подставила земля
Под плуги да бороны,
Пораскинулись поля
На четыре стороны.
В небе птишка чуть видна,
Заливается она
Над песчаной кручею,
Звонкая, певучая.

А по склонам, как во сне,
Всходы сплошь колышутся.
Из-за леса в тишине
Дальний грохот слышит: а:
Паровоз волочит хвост
Через поле, через мост,
Ухнув над пролетами
Басовыми нотами.

Путь со станции ведет
По полям меж селами,
Ходко девушка идет
Поступью веселой,
С чемоданчиком в руке,
Да с бумажкой в кошельке,
Да с косою русою,
А зовут Ганнусею.

Ганя топает тропой
В полотняном платице,
А горошек голубой
По косынке катится.
А в глазах ее смешок
Серым зайчиком залег,
И по брови Ганины
Щеки разруганы.

Ветер плещет, как волна,
Слышит Ганя речь его,
Но домой спешит она,—
Значит, медлить нечего.
Хоть приехала сюда
Без диплома—не беда:
Ей нужна серьезная
Практика колхозная.

Вот Ганнуса у ворот:
Ой ты, счастье-счастье!..
На крылечке серый кот
К милой гостье так и льнет,
Так, хитрец, и ластится.
Так мурлычет он у ног,
Словно кличет на порог.
Коли так, уверенно
Открывает дверь она.

Хоть Ганнуса не мала,
А не лучше маленькой:
Год ведь дома не была,
Не видалась с маменькой.
Значит, вещи в уголлок
Да скорее—за порог:
«Где ж она с бригадою?
То-то, мол, пораду!»

Вышла в поле. За гумном,
Где так сладко дышится,
«С возвращеньем, агроном...»—
Все ей будто слышится.
И щекочет кожу щек
Шаловливый ветерок,
И ветряк с усилиями
Чуть шевелит крыльями.

Мчит полуторка с горы—
Вольно спозаранку ей,
Кто дудит с такой поры,
Сидя за баранкою?
Ганя с поднятой рукой
На дороге стала: стой!
И Самусь, не мешкая,
Тормозит с усмешкою...

А с машины машут ей
Лица все знакомые.
— Ты не к матери ли?

— К ней,

Не застала дома я.
— А ведь ты к нам в самый раз!
Заждалась тебя у нас:
Где, мол, наша Чалая?
— К вам едва попала я.

— А старушка... ты о ней
Встречных не расспрашивай:
Где озимые пышной
У колхоза нашего,
Где—как бархатная гладь,
Там и следует искать.
— Старую найду мою?
— Да найдешь, я думаю.

Озирает всю она
Гладь необозримую:
Даль повсюду зелена,
Где же то озимое?
Вон, пожалуй, не оно ль
Расстелилось вширь и вдоль
Справа, за дубровою
Скатертью ковровою.

6

Парторг, товарищ Чередник,
К трескучим фразам не привык:
Такие с ним ищи слова,
Чтоб вглубь они пролили свет.
Он любит выслушать сперва
И, лишь обдумав, дать совет.

За что ж сейчас он принялся
Так нападать на Самуся?
С чего Самусь, хоть он не трус,
Молчит и нервно крутит ус?

Парторг охотно признает,
Что сдвиг в колхозе есть большой,
— А у тебя в душе, вот, лед.
— Оставь меня с моей душой!
Ко мне с Гайдаром ты опять?
Так головы мне не морочь;
Дай свой мне урожай собрать,
Тогда смогу я им помочь.
Живем мы, честь свою ценя:
Когда своих не кончив дел,
Я о соседях бы радел,—
Все насмех подняли б меня.
Ведь председатель «Маяка»
Не ты, а я еще пока.

Вновь убеждает Чередник,
Упорно стоя на своем:
— Ну и упрямый ты мужик!
Ведь отвечать-то нам вдвоем.
Доказывай свое, внушай,
А голоса не повышай.

Походит, постойт Самусь
И снова начинает торг:
— Никак я, вот, не разберусь
В твоих суждениях, парторг.
Машина если им нужна,—
Ну, так и быть, пускай берут,
Но дай — потребуют зерна,
А там за Чалою придут.
Быть может, мнение твое—
Чтоб одолжить нам и ее?

— Ну что ж,— смеется Чередник,—
И этот подвиг невелик.
Я б от души тебя просил
Помочь им, сколько хватит сил.
Ведь им нужнее агроном,
А мы-то вытянем гуртом.
— Ты думаешь, его добыть
Мне мало стоило труда?
— Да я прошу-то отпустить
Ее на срок, не навсегда.

Самусь обтер холодный пот,
Взяло его такое зло:
— Когда б я помер тут же вот,
С Гайдаром вам бы подвезло.
Но я как будто жив пока
И говорю обоим вам:
Я не свалю дурака
И агронома не отдам!—
По комнате метнулся он
И, не прощаясь, вышел вон.
А через миг—ведь вот оно!—
Стук-стук в раскрытое окно.
Парторг встает:
— Ганнуса, ты?

Я, я. Вы очень заняты?
— Вот хорошо, что ты пришла,—
Дела теперь у нас, дела!

Потолковали о хлебах
И о мичуринских делах;
Вдвоем раскинули умом,
Как сад разбить бы за селом;
Там почва скудная на глаз,
Ну, а для яблонь—в самый раз.
А на песках—так просто жуть.
Ну, как там влагу задержать?
Ведь вон сейчас и «Новый путь»
Не зря взялся пересевать...
А что там вырастет—про то
Пока не ведает никто!

Да «Новый путь» уж больно слаб,
Там мало знающих людей...
— А что, Ганнуса, не могла б
Соседей выручить в беде?

Тут Ганя вспыхнула моя,
Подобно жаркому лучу:
— Иван Иваныч, с вами я
Об этом спорить не хочу!
Здесь не каприз какой-нибудь,
Сама я вижу их беду,
А все ж работать в «Новый путь»
И не просите — не пойду!

Покуда месяц-молодик
Не засветился над селом,
Листая книгу, Чередник
Сидел в раздумье за столом.
Но вот он встал,

как будто вдруг
В той книге он нашел ответ,
И поспешил, как к другу
друг,
К старухе Чалой на совет.
Конечно, старая должна
Помочь ему на этот счет!
Умна старуха—

уж она
Его ни в чем не подведет.

7

На небе звезды теплятся и гаснут.
Вот-вот заря блеснет из-за лесочка...
У хаты задушевно и согласно
Старуха-мать всю ночь толкует

с дочкой.
Хоть и стара, а все-то ей по силе!
И от людей хватает ей почета,
И орденом недавно наградили
Ее в Москве за знатную работу.
Они не вспоминают здесь былого—
Им времени на это нехватает!
Свободно слово нижется на слово,
И каждое им радость предвещает...

Задумчивы глаза у Гани, сини,
И мать глядит в глаза своей дивчине,
Как будто через них, как через
дверцы,
Проникнуть хочет прямо к дочке
в сердце.

Они сидят...
— Все будет ладно, доня!..—
Твердит старушка с верою такую,
Как бы в своих мозолистых ладонях

Хранит судьбу и мира и покоя.
Как эти руки ссохлись, загрубели
В рубцах морщин, в мозолях
застарелых!

Но как они и чутки и умелы
В своем великом повседневном деле!
Прожилками покрыты голубыми,
Как будто степь весенними ручьями,
Трудясь во славу Родины любимой,
Они великой правды держат знамя.

* * *

Великое вмещается и в малом,
Как солнце, засветившееся в капле:
Вот девушка в ученье побывала,
Теперь пожить бы дома ей, не так ли?
Теперь побыть бы с матерью своею,
В родном колхозе взяться за работу...
Но и сюда врывается за нею
Огромный мир и требует чего-то,
Велит ей отвечать за все на свете,
За все, за все, что в нем должно
свершиться,

И ясно ей: она за все в ответе,
И ей нигде от этого не скрыться.

Уже исчезли звезды с небосвода,
Рассвет блеснул серебряной рекою,
Уже и мать давно ушла на отдых,
Одной Ганнусе только нет покоя.
Вот отказалась, и сама не рада...
И вдруг в душе рассеялась тревога:
«Где я нужнее, там и быть мне надо!
Хоть два колхоза, но одна дорога».

И чемоданчик вынув из-за печи,
Сложила все, что надо взять с собою,
Косыночку накинула на плечи
И за порогом звякнула скобою.

8

«Ты уж прости, дорогая Оля,
Что задержалась я так с письмом.
До ночи самой с рассвета—в поле:
Что ты поделаешь—агроном!
Впрочем, родная, тебе знакомо
Все это, верно, давно знакомо...
Ты уже знаешь, что я не дома,
Хоть и мечтала попасть домой.
Я про Гайдара тебе писала
Все, не скрывая и не тая,
Нынче ж, попав под его «начало»,
Вижу, как грубо ошиблась я...
В нем меня многое привлекает,
Видно, не зря его любит мать:
Скромный, серьезный, во все вникает,
Все он старается сам понять.
Ты на любую приди деланку,
Скажут: «Гайдар уже побывал!»
Сунься в правление,— он спозаранку
Был и давно указанья дал!
Трудно у нас, нет конца заботам,
Но у него все в руках горит!
Ночью читает, сидит с отчетом...
Даже не знаешь, когда он спит!
Только не смейся, уж сделай милость,
И, как всегда, не мути воды:
Думаешь, девушка впрямь
влюбилась,—
Хвалит, мол, парня на все лады!
Не до любовной мне канители,—

Просто приятно, душа моя,
Видеть, когда человек на деле
Лучше, чем прежде считала я.
Черствыми кажутся люди часто,
Если поглубже взглядеться лень,
И ошибиться—большое счастье,
Я ошибалась бы каждый день!
Преданность, Оля, родному делу —
Вот что рисует его вполне.
Честно сказать, — я бы так хотела,
Чтобы «ошибся» и он во мне!..»

9

В-вечерний-час под праздник
Первомай
Столы накрыты в клубе на сто душ:
В краю у нас традиция такая,
Ее теперь попробуй кто—нарушь!
Докладывал инструктор из райкома
О прошлом и о будущем страны,
О:севе, об опасностях войны,
О³ том, что, может, всякому знакомо,
Но что мы. помнить каждый миг
должны.

А после в зале: началось веселье,
И музыка, и пенье... Шум и смех...
Гайдар с Ганнусей молча рядом сели
У задней двери, в стороне от всех.
Но лишь в углы столы позадвигали
И баянист ударил по ладам,
Они друг с дружкой как пошли
по зале—
Аж вихрь горячий закрутился там!
По кругу раз. прошлись они
и дважды,
Пока не кинуло обоих в жар...
— Устала... Душно... Здесь умрешь
от жажды...
И вывел Ганю—под руку Гайдар.

Сияет месяц молодой, двурогий...
Доносится из клуба песни всплеск...
Блестит, лоснится гладкая дорога,
Машинами укатанная влоск.

Они сегодня встретились впервые
Не по делам и не в рабочий час,
Не про озимый клин и яровые
Они беседовали в первый раз...
Пришли к реке и заглянули в воду,
А после, ну совсем как голубки,
Рядком уселись оба на колоду
Под старой ивой, росшей у реки.

Пусть ночь разливы песен доносила,
Пусть баянист не уставал играть,
А им, двоим, молчать приятней было
И молча в воду камушки кидать...
Вдруг—вовсе не подстать такой
минуте—
Захотели оба вперевой,
Припомнив, как при встрече
в институте
Повздорили они между собой.

...Гайдар довел ее до перелаза
И постоял с ней на краю села,
Но только распрощались,
тут же сразу
Его покой тревога отняла:

Он вспомнил—вдруг, что Мазура
не видел.
Да, точно—в клубе не было его!
Неужто он попрежнему в обиде
И знать, чудак, не хочет никого?

Гайдар подходит к мазуровой хате.
Вокруг нее, сплетаясь в один венок,
И тополя, и схожие, как братья,
Четыре явора, и тоненький кленок.

В хлеву корова замычала тихо,
Щенок за дверью отозвался ей...
— Кто там еще?—спросила

Мазуриха,
Заглядывая в щелку из сеней.
— Свои, свои... Простите, позднонато...
Я только на минутку... Дома муж?
Хозяйка вышла, встала перед катой:
Незванный гость, да заполночь
к тому ж!
Не думала увидеть здесь Гайдара...
Молчит и подозрительно глядит.

...А вот и Мазур, из-за самовара
Дивясь на гостя, за столом сидит.
— Позволишь?

— Не стоять же на пороге...
Входи...

— А я к тебе, брат, по пути.
Как поживаешь тут, в своей берлоге?
Не «зашибаешь», часом, взаперти?
Иль на печи больные греешь кости?
— Ты с критикой? Впустую болтовня!
— Да нет, я просто по-соседски,

в гости.
Попотчуеть ты, может, и меня?

— Ну что ж, садись к столу, коли
не шутишь.

А Мазуриха думает: «Пришел!
Ох, что-то неспроста ты воду

мутишь!» —
И собирает впопыхах на стол.
Большую чарку гостю наливает,
Потом плескает чуточку в свою...

— А что ж хозяйка мужа забывает?
— Нет, мне не нужно... Я теперь

не пью.
— Не пьешь?!—вскричал Гайдар.—
Ой, ридна ненька!—

И рассмеялся весело.— Ну что ж,
Коль так пойдет, пожалуй, помаленьку
И на работу бегать ты начнешь!—
И снова—в смех...

Но Мазур не смеялся.
Как грозовая туча потемнев,
Прищурился, чуть сдерживая гнев...
— Ты что—читать мне лекцию
собрался?

Молокососы учат всех вокруг!

Что здесь тебе—колхозное
собрание?

Кто ты такой? Из молодых,
да ранний,
Я лет двенадцать в партии, мой друг!
— Не спорю. Разве в этом суть
вопроса?

Но, может, к слову ты мне
разъяснишь,

Зачем ты в воз запряг молокососа,
А сам забрался на воз и сидишь?
Везите, дескать! Я же понемногу

Соревноваться вызывает—
Кого?—прославленный «Маяк»!

Хоть у него успехов мало,
Людей бы так не удивляло
Все это, если б с Самусем
Гайдар, как добрые соседи,
Сначала в дружеской беседе
Договорились обо всем:
Давай, мол, пункты мы наметим,
Что по плечу и тем и этим!

И вот, совсем как дипломаты,
В саду уселись делегаты:
От «Маяка»—не кто-нибудь—
Бабуся Катря! А Явдоха,
Что тоже трудится неплохо,
Та представляет «Новый путь».
Оркестр расселся у сарая,
Свидетели при каждой—с края:
Со старой, справа, Чередник,
С Явдохой, слева, дед Гаврила.
Ничто тут споров не сулило.
И вот настал желанный миг,
Ведь все, казалось бы, готово:
Сказать приветственное слово,
Как то ведется с давних пор,
И подписать бы договор!

Учтиво, чинно дед Гаврила
Старухе подает чернила,
Перо подносит ей:

— Прощу!

А та в ответ:

— Не подпишу!

— Как так?

— А тут несправедливо.

— Да что ты, что ты?!

Вот так диво...

Но старая, видать, была
Тверда отнюдь не для профформы:

— Вы не осилите той нормы,

Какую я себе взяла!

— Мы? Где уж с вами нам равняться!

— Уж и в обиду... Аж горит!

Не след, молодка, обижаться,

Когда старуха говорит.

Земля у вас... Мученье с нею:

С долиной не сравнишь горы!

— Но я ведь тоже шанс имею:

Я молода, а вы стары.

— Ну нет! Сентябрь не хуже мая!

С прибытком осень—не беда.

Как человек, и впрямь стара я,

А как партийка—молода.

Тут не в годах, выходит, дело,—

В любые годы молод тот,

Кто смело думает

и смело

Дорогой новою идет!—

Явдоха мирными словами

Спор закругляет без труда:

— Земля, как мы, примерно, с вами,

Стара бывает, молода,

Однако есть в стране герои,

Что и со старой брали втрое!

— Что ж, если это не слова,

Так, значит, мы с тобою—пара.

Назначь!..

— По тридцать три с гектара...

— Да я ж взялась по тридцать два!

— Ну что ж, и это добре тянет...

— Так знай: хоть расшибися в пух,

А Катерина не отстанет,—
Таков обычай у старух!

Глядит Гаврила в восхищенье:
Таких, попробуй, только тронь—
У старой, дескать, нет терпенья,
Да и молодка—что огонь!
Не будет труд для них обузой.
Посмотрим, дело с кукурузой
Какой тут примет оборот—
Дойдут ли, нет ли до трехсот?

И снова Чалая к Явдохе:
— Собрать и триста нам с руки,
А вот у вас дела-то плохо,—
Ну что вам смогут дать пески?
Вот-вот—и снова вспыхнет ссора...
Примолкли люди за столом...
Но ведь все пункты договора
Сам разработал агроном!
Ганнуса точно подсчитала:
Все триста—вынь их да положи!
И тут уж, много или мало,
А меньше Чалой не возьмешь!
Пусть, дескать, старая поймет,
Что «Новый путь» уже не тот:
Не та земля, иные люди,
Иной и кукуруза будет!

Но вот окончены дела.
Чуть встал парторг из-за стола—
Взлетел смычок, подобно пики,
И весь оркестр в двенадцать душ
С нежданной мощью грянул туш
Под шум приветственный и крики.

Тут руки дед платком обтер
И спрятал в папку договор.
А там и Чалая привстала
И девушку расцеловала,
А та, хоть смущена была,
Старуху крепко обняла.

12

Передовой колхоз района—
«Маяк», и область знает вся:
Не зря почетные знамена
Уж третий год у Самуся.
Его и славили за это,
И выставляли напоказ,
И даже песню два поэта
О нем сложили как-то раз;
Припевом были в ней слова:
«В районе первый голова».

Да секретарь на этот случай
Так пошутил в веселый час:
«Маяк»-де потому лишь лучший,
Что нету лучшего у нас.
Но нынче разговор уж новый,
И в шутке уж намек не тот,—
Так пошутил Карпенко к слову,
Что Самуся вогнало в пот:
— Уж эти мне поэты! С ними
Я спорить, правда, не берусь,
Но почему в той песне имя
Не зарифмовано, Самусь?
Ох, друг мой, это неспроста ведь:
Не в том ли здесь и соль-то вся,
Чтоб в песню при нужде подставить
Другого вместо Самуся?

Тут, как нарочно, вечером
Зашел и Чередник в райком.
— Конечно, — говорит, — приятно
Быть впереди в такие дни,
Но область вся должна быть знатной.
А не в районе — мы одни!

Самусь поднялся на рассвете
И — вскачь, не дав коню дыхнуть.
— Куда?

— Да дело в райсовете... —
А сам — на поле в «Новый путь».
Коня он привязал в лесочке
И смотрит, крадучись, кругом:
Что, мол, за чудо на песочке
Творят Гайдар и агроном?
А кукуруза, точно роща,
Там разрослась из края в край...
«Чтобы на этой почве тощей
Такой взрастили урожай!»
Он землю шупает руками,
Стеблей могучих мерит рост.
«Куда уж тут тягаться с вами!
Глядь — и наступите на хвост!»

13

Погасли звезды. Рассвело.
Час бестревожен ранний.
Как будто в озере, село
Стоит по грудь в тумане.
Безмолвно хат стоят ряды,
Столбы, плетни, ворота,
Как будто выйти из воды
На берег неохота.

Но вот и луч уже блестит
По кромке небосвода,
Вверху — он тучки золотит,
Внизу — кровавит воду.
На двор пробрался со двора,
Толкнулся в окна, в двери, —
Ну, точно говорит: пора,
Давно пора на берег!

За синим лесом скрылась мгла,
Туман рассветный тает —
И вся вода, что тут была,
Куда-то исчезает.
Ушел туман, синеем даль,
А синь-то, синь какая!
В садах росинки как хрусталь
Блестят, не погухая.

Бежит тропинка... Где конец
И где ее начало?..
По ней Гаврила, наш кузнец,
Идет-бредет помалу.
Мурлыча под нос, дед идет,
Бурчит низкоголосо,
Он, видно, в кузницу несет
Забуренную косу.

Веселый зайчик по спине
При каждом шаге скачет,
И только ветер в тишине
Один с травой судачит.
С заветной думкою сам-друг
Идет-бредет Гаврила,
И ждет он, чтобы все вокруг
Скорей заговорило!
Прислушался — и в тот же миг

Летит вдогонку слово:
— Пстой!

— Товарищ Чередник?!
— Здорово, дед, здорово!
— Бедовый ты! И утром встать,
Брат, дело золотое,
А на заре, чтоб не соврать,
Дороже ровно вдвое!
— Что ж, сон, конечно, не во вред:
Сном лечат от болезней,
А строишь будущее, дед,
Так недоспать полезней!

Идут вдвоем, молчат вдвоем,
А деду нет покоя:

— Парторг, послушай-ка, о чем
Хочу спросить давно я...
Ты объяснишь, так, может быть,
И я уразумею.
— Ну что ж, я рад поговорить,
Отвечу, коль сумею.
— Скажи мне, правды не тая,
Как на духу, по чести:
Смогу до коммунизма я
Дойти со всеми вместе?
Досадно ведь итти, итти
Без малого лет тридцать
И у ворот в конце пути
Вдруг замертво свалиться!
— Десятков семь ты прожил, дед?
Тебя лет на сто хватит!
— А ты мне точный дай ответ, —
Тут шутки, брат, некстати.
Ты укажи мне крайний срок
Точней, не как попало!
— Тот светлый срок уж недалек,
Прошли мы, дед, немало...

— А что, конец пути трудней?
Как я-то одолею?
— Нелегко он, хоть цель видней,
А ты шагай смелее!..
Какой вот снимем урожай,
Бурак, колосовые...

— А ты нас зря не обижай:
Что нам снимать — впервые?
— Как на песке удасться взять...
— Возьмем! — кричит Гаврила.
— Да уродит ли тридцать пять...
— Да будто уродило!
— Теперь бы дождик в самый раз,
Чтоб нам не быть без хлеба,
Но он зависит не от нас
Покамест, а от неба!

— Ну, я до этого дорос:
Задержим снег без бога,
Насадим здесь лесных полос —
И влаги будет много!
«Ого, выходит, что старик
В борьбе любого злее!»
И снова деду Чередник:
— Жить стало веселее.
Вот только бы скорее нам
Прибрать к рукам природу!
Науку, там, по всем статьям
Приблизить бы к народу.
Хоть ты вот: опытный коваль,
Весь век работал славно,
Доклад бы сделал нам про сталь...
— Да дела я недавно!
А как же? Делал, да какой!
Про плуг из тонкой стали!
Ты сам-то сделал бы такой?

Да нет! Куда! Едва ли!
 — Ну, если делаа, так прости! —
 Парторг в усы смеется, —
 Тогда уж только полпути
 Итти нам остается.
 А почему издалека
 Я начаа, о науке?
 Дорога, видишь, не легка,
 Сама не дается в руки.
 Растут заводы... Над Днепром
 Опять заря зажглася...
 Мы у земли добро берем
 И без ее согласия.
 Но чтоб итти другим подстать
 У нас достало силы, —
 Сознательнее надо стать...
 — Кому? — вскричал Гаврила. —
 Выходит так, что я тащусь,
 Что не по мне дорога?
 — Да нет же, дед, не ты! Самусь,
 Он отстаеет немного.
 — Да что Самусь? Один Самусь!
 Приложим все усилья —
 И я, чем хочешь, поручусь,
 Что он расправит крылья.
 — Вот, вот! Отставшего в пути
 Покинуть мы не вправе.
 Учитель мудрый — коллектив, —
 Кого он не направит?
 Зато не одолеть врагам
 Людей советских сроду.
 Как волны, к нашим берегам
 Стекаются народы.
 Чехословакия, Китай,
 Поляки и румыны —
 Ты их, попробуй, сосчитай!
 Все это фронт единый.
 Мир прочит миру красный флаг
 Не на словах, на деле.
 — Так, значит, что ж — выходит так,
 Что мы уже у цели?
 — Да нет, не так уж все легко,
 Сначала потрудись-ка!
 Идешь — и цель недалеко,
 А встал — опять не близко!

Дошли.

Раскрыв широко дверь,
 Дед жмет парторгу руку
 И — за лемех.
 — А ну, теперь
 Пройди мою науку!
 — Давай, — смеется Чередник, —
 Поучимся, Гаврила! —
 Берет он молот-пудовик,
 Старик берет зубило.
 Парторг взмахнет — ну, чем не спец?
 Уж тут, брат, не до смеха!
 Парторг ударит, а кузнец
 Лишь крикает, как эхо.
 И стук размеренный, густой,
 Слетая с наковальни,
 Пчелиной песней золотой
 Звонит на ниве дальней.

14

В чистом поле лес зеленый —
 Сосны, тополи и клены.
 Не прорвется, брови хмурия,
 Сквозь деревья злая буря
 И, бесчинствуя на воле,
 Не спалит дыханьем поле, —

Ведь дубы, как будто люди,
 Против бури встанут грудью!
 Выйди, солнце прикрывая,
 В небо, тучка дождевая,
 Чтобы в зной ты с буйной силой
 Поле щедро оросила;
 Чтоб от нас не ушла ты
 За крутые неба скаты
 И, скитаяся на воле,
 Не искала лучшей доли.
 Стой до срока на кочевье,
 Где стеной стоят деревья,
 Стой, как лодка, на приколе
 У сосны, растущей в поле.
 Мы тот лес растили сами
 Материнскими руками,
 Чтобы засухе отныне
 Не бывать на Украине!

* * *

Но деревья только подрастают,
 А в полях плывет жара густая,
 Южный ветер тучек не наносит,
 И деревья сами влаги просят.
 А Гануся, словно врач бывалый,
 Днем осматривает кукурузу.
 Снять тут можно урожай немалый,
 Да взвалили на плечи обузу:
 Перекрыть «Маяк» не так-то просто
 Без дождя, в засушливое лето!
 В «Маяке», у речки, влаги вдосталь,
 А у них тут сухо, на горе-то!..

Вон Гайдар идет дорогой в поле,
 А Самусь как раз ему навстречу.
 Он подходит, руку жмет Миколо:
 — Что ж, Гайдар, уборка недалеце?!
 Как бы с нами вы соревнованья,
 Даже вскачь несясь, не проиграли!
 Не учтя всех трудностей заране,
 Слишком много на себя вы взяли.
 — Вы-то из другого теста, что ли?
 — Мы-то? Мы-то небу не подвластны:
 Над рекой — взгляни — какое поле!
 — Что же беспокоишься напрасно?
 Все ты норовишь отгородиться!
 Не к лицу, Самусь, тебе зазнайство!
 Может, к осени и нам случится
 Слить, как всюду, наши два хозяйства.
 Будь бы клин на тысячу гектаров,
 Для комбайнов места бы хватало.
 Жизнь уходит от масштабов старых,
 Пятисот сейчас уж очень мало! —
 А Самусь в ответ ему смиренно:
 — За тобой куда уж лезть нам,
 слабым!

Скажем прямо: с храбростью отменной
 За большим ты гонишься масштабом!
 — Эх, Самусь, —
 Микола отвечает, —
 Позабыл ты истину, я вижу:
 Кто тесней людей объединяет,
 Тот стоит и к коммунизму ближе.
 — Ишь-ты, как высоко залетаешь!
 Вот и ты попался в карьеризме!
 Быть уж председателем мечтаешь
 Даже и при самом коммунизме!
 — Мы с тобою материны дети,
 Ну, а мать — она всегда на страже:
 Где нам быть, чего желать на свете —
 Ты не бойся — партия укажет!

Сник Самуель с той встречи на
дороге,—

Знать, запала в голову забота,
Сердце ноет, словно бы в тревоге,
Точно зарождается в нем что-то.
Он нет-нет и выглянет из хаты
И, косясь на диск из жаркой меди,
Думает: «Да где ж он, дождь
проклятый?»

Покропил бы малость у соседей!»
А Гайдар не ждет себе погоды.
И не ищет в чистом небе тучи:
Снаряжает он с водой подводки,
Пусть она стоит на всякий случай.
День-другой—и, с засухой сражаясь,
Из брандспойтов хлынет ливень яро
И хоть не умножит урожая,
Но спасет хлеба, как от пожара.

А земля потрескалась, как дыня,
Горизонт распахнутый не дышит,
Пыль лежит на листьях, словно иней,
Даль, как печь натопленная, пышет.

15

Бегут, врываясь во дворы,
Потоки пенные с горы,
Кипят бушующие воды
И, затопляя в «Маяке»
Кустарник, пойму, огороды,
С волной сливаются в реке.

Водюю залито село,
Как будто тучу прорвало,
Как будто сдуру туча та
Льет воду мимо решета.
Поит сухую землю дождь,
Сечет с плеча кусты, сады,
Для всех полей, лугов и рощ
Хватает на небе воды!

А у Гайдара час от часа
Все кукуруза зеленей,
Блестят, как будто из атласа,
Листочки острые на ней.
И каждый листик крепок, свеж,
И тверд, как нож,— хоть камень режь!
И, как по желобку, струится
По горсти листика водица
И льется струйкой с вышины
На белозубые кочны.

А на верху крутого ската
В шалаш забилися дивчата.
Промокли все, хоть выжимай!
Но в сердце каждой—словно май.
А ливень злой, хоть и веселый,
Хлыстами хлещет горы, доли,
Дивчат стегает в шалаше,
Но ливень всем им по душе:
Пускай бы целый день лилось,
Текло бы за ворот с волос,
И гром гремел из края в край—
Лишь был бы добрый урожай!

— А ну-ка, выгляни, Улита,
К нам кто-то по полю бежит...—
Но уж стоит, мешком покрыта,
У входа Ганя и дрожит.

— Да что с тобой? —

кричат дивчата,—
Чего примчалась ты сюда?

— Скорей! Скорее за лопаты!
Там, в «Маяке», стряслась беда...
У них пшеницу затопило,
Ту, что в низине, у реки...—
И все дивчата, что есть силы
По кукурузе напрямки,
Оврагом, через огороды,
Скорей, скорей, как на пожар!

В объезд несутся вскачь подводки—
Везет колхозников Гайдар.

И все берутся за лопаты,
Копают, не жалея сил,
Чтоб «Маяку» помочь, как брату,
Хотя Самуель и не просил.
И у него людей довольно,
Чужих ему здесь видеть больно,
И глаз растерянных своих
Не в силах он поднять на них.
Пришли на выручку по-братски,
По-боевому, по-солдатски,
Ведь этот клин и им родной:
Советским людям край родимый
Весь дорог—вольный, неделимый
И целью спаянный одной!

А Чередник—тот по дороге
Гостей уж встретил дорогих,
Он знает цену их подмоги,
Не ждал другого он от них.

А ливень все сечет по полю,
И небо, как свинцовый сплав,
Но нет уж выхода на волю
Воде из вырытых канав.
Как голубые ленты, в реку
Она, послушна человеку,
Течет...

Промокнув до костей,
Спешат своей подмогой гости
К соседям перекинуть мостик—
В знак дружбы искренней своей.

Еще далеко до покоя,
Еще бедой грозит вода!

Вот так, единою семьею,
Им и работать бы всегда!

16

Чуть рассвет рассеял мрак
В небе затуманенном,
Уж гурьбой спешат в «Маяк»
Все подружки ганины.
День воскресный—на порог,
А за ним со всех дорог
С шутками, как водится,
К хате гости сходятся.

Едет в Киев агроном
По такому поводу,
Что решили всем селом
Ей устроить проводы,
Пожелать с дипломом ей
Воротиться поскорей,
Но чтоб не просватана
Ехала назад она!
Подоспели тут как раз
Чередник с Миколою
С острым словом про запас,
С шуткою веселю.

Молодцы, как на подбор,
Ладны, статны; с этих пор
Выбриты, наглажны,
Празднично наряжены.

Кто в летах, тот встал в тени,
Молодежь — на солнышке,
Ну, а старые — они
С кузнецом на бревнышке.
Что ж, Гаврила — хоть куда!
Первым знает все всегда,
Делом и безделицей
С каждым он поделится.

Время к поезду итти.
Где ж старуха Чалая?
Ведь до станции пути
Толика не малая!
И Гаврила говорит.
— Опоздавшим — всем на вид!
Ну и нам тут нечего
Дождаться вечера!

И, как будто бы в ответ,
Чалая является:
— На кого это чуть свет
Тут Гаврила лается? —
Приглашает в хату всех,
Ну, а в хате, как на грех,
Ждет гостей и пенное,
И еда отменная.

За Ганнусю Чередник
Поднял чарку полную:
Пусть растет, как большевик,
Смелою, упорною!
Чтоб народу долг она
Заплатить могла сполна,
Чтобы учебой пройденной
Быть достойной Родины!

Говорит потом Самусь
Ей слова сердечные:
— Где нужней ты, не возьмусь
Рассудить, конечно, я.
Привози домой диплом,
Где же быть — решим потом,
Хоть нам брак невыгоден,
Вдруг да замуж выдадим?

Тут уж дед стерпеть не мог,
Начал прыть показывать:
— Кто, скажите мне, пирог
Вздумал хреном смазывать?
Что за притча? — он кричит. —
Словно б с медом, а горчит!
Брага — та на патоке,
А хлебнешь — горька-таки!
Только шутки тут не впрок:
Ганя не смущается,
Точно хитрый тот намек
Не ее касается.
— Эх, старик! Придет их час —
Поцелуются без нас.
Давишь, как трехтонкою,
Чувство — дело тонкое!

...Дед встает: — Итти пора!
В спешке вам не пара я...
Помелом нас со двора
Ты гони-ка, старая!
Посзд — близко к девяти,

А дорожю ~~идти~~
Нам не больно гладкою,
Тихо да с оглядкою... —

...Кони тянутся шажком,
Чуть качая дугами,
Ганя вслед идет пешком
С милыми подругами,
А подальше Чередник,
И Гайдар, и кладовщик,
И старик с дивчатами —
Что гусак с гусятами.

В поле кончена страда.
Постулю чуть слышную,
Предвещая холода,
Ходит осень пышная.
Ходит сбывшейся мечтой,
Вся в одежде золотой,
Селами и нивами
Нашими счастливыми.

Выйдет Чалая не раз,
Встанет ранью раннюю
И глядит — не сводит глаз —
На поля бескрайние.
Все родное, а ведь вот —
Будто и не узнает!
Все свое исконное,
А как вновь рожденное!

Где на диком пустыре
Были вьюги-замети,
Там о страшной той поре
Не найдешь и памяти:
Все отстроено село,
Снова счастье зацвело,
Словно цветом вишенным
Вся по-над крышами.

Обойдешь ли пожни ты,
Облетишь ли с птицами, —
Сплошь скирды, скирды,
скирды,

Встали вереницами.
Смотрит старая на них,
Вся светясь от дум своих:
«Сколько новой осенью
Мы нажнем, накосим их!»

Нет, не зря в родных краях
Мы громили врага:
Он за смерть, за кровь
в боях

Заплатил нам дорого!
Мы смели его с пути,
Чтобы вновь творить, расти,
Строить жизнь прекрасную
Всей семьей согласною.

Пусть наш здравствует народ
И, храня Отечество,
Пусть бестрепетно ведет
К счастью человечество
Тем нехоженным путем,
По которому идем
В солнечные дали мы
За великим
Сталиным!

Перевел с украинского
Борис ИРИНИН

Люди, покорившие Дон

I. ГИДРОМЕХАНИЗАТОРЫ

1

Дорога к земснаряду № 306 плет мимо котлована, через Дон, на правый его берег, где за желтой песчаной насыпью виден большой водный карьер для широкобортных массивных речных землесосных судов.

Карьер неотделим от общего индустриального пейзажа, и тут нельзя не оглянуться вокруг, чтобы проследить взором, как уходит в небо зубчатая стена железобетонной плотины, с ее ниспадающим каскадом уступов и широкими плоскостями днища — рисбермами¹. Плотина стоит в центре котлована, где трудятся тысячи строителей, работают сотни машин.

Сюда по длинным радиусам сходятся шумные линии дорог, связывающие котлован с бетонными заводами, арматурными дворами, мастерскими, складами, образующими как бы вторую линию строительного фронта.

С насыпи видны и дымящие у серой крошки леса энергопоезда, и дальние камеры судоходных шлюзов, головные сооружения магистрального оросительного канала, и, наконец, строения будущего города и порта пяти морей на Цимлянском водохранилище, дно которого пока желтеет ковром выгоревшей травы.

Не охватить сразу взором весь комплекс гидроузла — плацдарм великой стройки! Он занял все видимое глазом пространство, раскинувшись на оба берега реки, вдоль тринадцатикилометровой, величайшей в мире земляной плотины — берега рождающегося моря.

Хотя было еще очень рано, начальник земснаряда Виктор Михайлов уже работал в своей командирской каюте. В машинном отделении гудели моторы, но в каюте было сравнительно тихо, только вибрирующее дрожание корпуса судна заставляло Михай-

¹ Рисберма — бетонное дно сооружения, примыкающее к железобетонной части водосливной плотины.

лова сильнее нажимать на перо, чтобы вывести ровную строчку. Письмо, которое он писал, начиналось словами:

«Уважаемый товарищ! Для завершения курса «Основы марксизма-ленинизма» во Всесоюзном заочном политехническом институте, в котором я учусь, прошу вас выслать следующие книги на срок не более месяца...»

Начальник земснаряда готовился к экзаменам, и стопки книг лежали на столе и на кровати, откуда он их поспешно убрал, извинившись за временный беспорядок.

Мы вышли на палубу. Легкий, уже потеплевший ветерок разносил свежий запах воды и мокрой земли, чуть разведенных горьковатым дымком из машинного отделения и терпким привкусом горячего масла.

С высокой палубы был хорошо виден овальный карьер с извилистой линией крутого берега и окаймляющий его реденький сосновый лесок. Отсюда мощные механизмы судна под большим давлением гнали пульпу, смесь воды и крупнозернистого песка, по магистрали своих пловучих пульповодов, и они длинным хвостом плавающих на понтонах труб тянулись за земснарядом.

Точно гигантское сердце, судно перегоняло по этим стальным артериям поток пульпы. Напорную энергию густой жидкости, если это было нужно, подхлестывали перекачечные станции. Далеко по воде и по суше от земснаряда тянулись трубы, переносящие тысячи кубометров грунта на участки земляной плотины, на так называемые «карты памыва».

Судно управлялось из невысокой палубной надстройки, где находился автоматизированный пульт управления. В эту утреннюю смену работал старший баггермейстер Владимир Супрун — высокий светловолосый подтянутый юноша. Подвижные, первоначально напряженные пальцы Супруна бегали по разноцветным кнопкам пульта управления, воспроизводя на клавиатуре какую-то ритмически черкующую мелодию.

Тут же в рубке находился и старший механик Иван Акусов, на вид добродушный

и медлительный укрывец со взлохматенной копной темных волос, спадающих на лоб. Через рупор переговорной трубы механик подавал команду мотористам в машинное отделение. Весь экипаж земснаряда был молодежно-комсомольским, и поэтому под козырьком багерской рубки издали виднелись нарисованные два ордена Ленина, Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, которыми награжден Ленинский комсомолец.

Михайлов несколько минут наблюдал за тем, как постепенно большими глыбами обваливается берег жарыра. Падающая земля пенила воду, и поднятые ею волны бились о борта покачивающегося судна. Очертания водосма изменялись буквально на глазах. Прокладывая новое русло, земснаряд вливался в него вместе с водами Дона.

— Дон уходит влево, а здесь когда-то было русло реки, — сказал Михайлов, показывая на карьер. — Вода намыла прекрасный песок, вот мы его и подаем в тело донской плотины.

Он рассказывал о своем карьере, когда в рубку вошел Горин, худощавый, невысокий человек с подвижным выразительным лицом. Горин был одним из руководителей Главного управления гидромеханизации, в ведении которого находилась и контора гидромеханизации Цимлянского гидроузла.

— Михаил Андреевич! — обрадованно приветствовал его Михайлов. — Неужели решилось? Не верится!

— Да, решилось, и в пользу вашего экипажа, — сказал Горин, чуть сощурился при этом глаза в сетке мелких и веселых морщинок. Морщинки эти как-то не гармонировали с глазами и придавали взгляду инженера не то сердитое, не то иронически-озорное выражение.

— Вот сейчас вам диспетчер доложит обстановку, дорогие товарищи, — сказал Горин, и почти в это же время к зазвонившему телефону быстро подошел Михайлов. Выслушав диспетчера конторы гидромеханизации, он сообщил товарищам о том, что руководство решило переключить комсомольско-молодежный снаряд на новую карту намыва и что такой картой на этот раз будет само русло реки Дона.

Присев у небольшого столика позади пульта управления, Горин показал экипажу схему нового цикла намыва грунта для нескольких земснарядов. Это была лишь одна из составных частей общего плана предстоявших огромных гидротехнических работ.

То, что земснаряд должен будет принять в них непосредственное участие, воспринималось всем экипажем как большое событие.

Горин заметил, что оперативный штаб,

созданный на стройке для руководства всеми работами, придает особое значение гидромеханизаторам.

— Конечно, мы сила! — вмешался Супрун. — А как намыты такие горы земли без нашей техники?

— Ну, так вот слушайте! — продолжал Горин. — За пять дней мы должны замыть русло реки Дона, чтобы на исходе пятых суток можно было перейти с правого берега на левый прямехонько, и не по воде, не по мосту, а по земле.

Улыбнувшись, инженер спросил, уложится ли Михайлов в столь сжатые сроки.

— Успеем ли? О чем вы спрашиваете! Да мы ночи зачеркнем, спать не будем, на судно жить перейдем, а все сделаем!

— Нет, ночью надо спать, — серьезно возразил Горин, — потому что нам нужен не стпхийный штурм, а труд высокой культуры и четкости.

— Да, это понятно, — кивнул Михайлов. — Мы сейчас же засядем за план самой тщательной подготовки. Пересмотрим все механизмы, линии тупльповодов, перекатные станции, — одним словом, все наше хозяйство. Мы сами проверим себя, все наши человеческие резервы и возможности... Ну, конечно, товарищи, ведь не могло же так случиться, чтобы нас не включили в замыв Дона. Ведь не могло же! — убежденно сказал он и тотчас живо обернулся, ища поддержки у старшего багермейстера и механика.

2

На Цимлянский гидроузел Виктор Михайлов приехал из Ростовского-на-Дону мореходного училища вскоре после торжественных выпускных экзаменов. Он закончил путейское отделение, и в дипломе значилось присвоенное молодому моряку несколько романтически звучащее звание: «техник морских путей». Выпускники училища покидали учебные аудитории специалистами по строительству портов, дамб, морских бухт, командирами дноуглубительных судов. Они разъезжались на службу в морские и речные пароходства страны.

— Махнем, Витя, на Черное море, или на Белое, или на Тихий океан... Выбор-то какой! — предлагали Михайлову друзья. Юноша и сам раньше мечтал заняться гидрографией: устанавливать маяки, вехи, буи на морских дорогах, — одним словом, как говорили в училище, создавать необходимую «обстановку моря».

Но решение его изменилось, когда он услышал о Волго-Доне.

— Это интересно, но форму морскую в сундучок спрячьшь, Виктор, — сказал приятель, с которым Михайлов поделился своими планами. — Там же суша, степь!

— Пока степь, по будет п море. Нсвоа. Может, я первым и пользую по его волнам. Об этом даже и в старых егазках не рассказывалось, такое будет чудо! Нет, я решил на Волго-Дон, — ответил Михайлов.

Разговор этот происходил в первых числах сентября 1949 года, а уже через два месяца Михайлов получил от начальника главной конторы Шелухина назначение техником на земснаряд № 303, который работал в котловане Цимлянского гидроузла.

По всей стройке широким фронтом шли подготовительные работы; стоявшие по-над Доном станицы уже переселились на новые места, к берегу будущего моря. Переселились со всеми постройками и садами, и земля, прятая десятками больших и малых котлованов, уже потеряла здесь свой девственный степной вид.

Еще не было бетоновозной эстакады, которая гигантской стальной скобой впоследствии повпела над плотиной; не было и самой плотины и многоэтажных порталных кранов с изогнутыми стрелами, похожими издали на клювы каких-то гигантских птиц. Но уже нарастал с каждым днем парк механизмов, все больше становилась машин, которые выгнали по стелным дорогам густыми колоннами, как по улицам больших городов.

Земснаряд № 303 размывал вводный канал от Дона, чтобы по широкой водяной дорожке могли за ним пройти в места своих будущих карьеров и другие земснаряды. Затем он возводил самую перемычку, которая должна была защитить котлован от бурных паводковых вод Дона.

Стройка с каждым месяцем требовала все больше землесосных судов, и многие заводы страны создавали земснаряды таких мощностей и объемов, каких не знала ранее мировая гидротехническая практика.

Ранней весной 1950 года способного и энергичного техника командировали в Ростов приять на заводе новый мощный земснаряд, способный перегонять за час триста кубометров грунта. Полный самых радужных надежд и уже назначенный начальником нового судна, Михайлов на заводе сам участвовал в монтаже земснаряда, требовал самой тщательной отделки, больше запасных частей и даже захватил с собой много материалов для мелких доделок уже в пути. И вот через месяц буксир «Быстрый» подхватил спущенное со стапелей заводской гавани тяжелое судно и потащил вверх по Дону.

Стояли мягкие солнечные дни конца апреля. Ожившие поля шелестели травами, ветерок гонял по широким степным просторам волны ковыля. Земснаряд плыл вдоль пойменных лугов низовья реки, мимо

больших казачьих станиц в зелени густых садов, и ласковый воздух над «тихим Доном» был подон ароматами цветущей черешни и молодой степной травы.

Михайлов узнавал места, знакомые по любимым книжкам о гражданской войне, по частым школьным экскурсиям. Он родился на Украине, в селе Старобешево, прославленном его землячкой Пашей Ангелиной, но учился в Ростове, успев к началу войны закончить лишь семь классов. Шестнадцатилетнего паренька, несмотря на все его просьбы, не взяли добровольцем в армию, и он пошел работать телеграфистом на аппарате Бодо.

Уже после войны, вступив в комсомол, юноша подал заявление в мореходное училище. Но, как и многие его сверстники, еще мальчиком встретив войну, за школьной партией, Виктор быстро возмужал за суровые военные годы. Тем полнее оценил впоследствии юноша все счастье мира.

Об этом особенно хорошо думалось, когда после работы, к концу теплого дня, Михайлов выходил постоять на палубу земснаряда, плывшего вдоль бескрайних Сальских степей, обласканных перегорающим золотом заката. В светлом воздухе парили над рекой зоркие коршуны; горбоносые орлы, сложив важно крылья, стояли и прогуливались по желтоватым степным шляхам и хозяйским оком оглядывали зеленеее море травы.

Это было короткое цветение степей, и Михайлов с тоской думал, что уже через несколько недель сухой спалит даже желтую щетину травы, плотная, как сметана, пыль выбелит листья понурых черешен, и те же орлы, лениво махая разморенными крыльями, будут висеть высоко над выжженной и горячей землей.

Судно подошло к причалу Цимлянского гидроузла утром 1 мая. Это был второй Первомай на великой стройке, в самый её разгар, и казалось, механизмы застыли лишь на одно мгновение, готовые заполнить котлован яростным кипением работы. Огромная площадка строительства адела кумачом знамен, вознесенных на гребень плотины, на видне издадека стрелы порталных кранов. И Михайлов с волнением думал о знаменательном совпадении праздника с успешным окончанием его рейса и вступлением в новую полосу работы на строительстве.

Вскоре судно после испытаний и наладки вошло в строй действующих и начало свою работу с намыва земляной дамбы в устье небольшой речушки, впадающей в Дон. «Заморыш», как звали эту речку, мешал строительным работам у котлована, и Михайлов перекрыл её течение еще на километр выше. Затем земснаряд приплыл для работы в сотворенное им самим новое

озеро. Скоро в обширном грушеобразном водном карьере поселилась целая семья землесосных судов.

Ближе к осени, когда в горячем степном воздухе, летом редко остывавшем даже ночью, стало уже чувствоваться дуновение прохлады, на борту судна появились новые багермейстеры — Супрун, Кузнецов, Кононенко и механик Акусок, составившие впоследствии руководящее ядро молодежного коллектива.

Выпускник того же Ростовского мореходного училища Супрун еще на последнем курсе мечтал попасть в экипаж старого друга. Они встречались в Ростове, когда Михайлов с завода приходил в училище и увлеченно рассказывал однокашникам о буднях великой стройки.

Другой багермейстер, Валерий Кузнецов, плечистый высокий парень в очках, с густым, гулким басом, приехал на Волго-Дон из Москвы. Он учился на механико-математическом факультете МГУ, но в один прекрасный день перевелся студентом заочного факультета и теперь, работая на земснаряде, собирался, не теряя времени, продолжать учебу.

Механик Акусок и Павел Кононенко — оба добродушные и спокойные украинцы. Акусок служил на Черноморском флоте; танкист Кононенко, освобождавший Чехословакию и Австрию, поступил после войны в речной техникум и окончил его. Он приехал на гидроузел вместе с молодой женой и поселился у казаков в «Новой Цимле».

Никто из новых помощников начальника земснаряда не имел производственного опыта. Всем надо было самым серьезным образом учиться, и главное — не по книгам, а приобретая мастерство в непосредственной творческой практике.

Михайлов, который и сам работал багермейстером всего лишь несколько месяцев, вместе с инженерами первое время учил новичков стоять за пультом земснаряда и проводил на судне по несколько смен, а вскоре и совсем поселился в своей каюте.

Так протекали первые месяцы совмещенной работы и учебы, к тому же осложненные наступлением дождливой погоды поздней осени.

Сменив удушливые суховеи, по степи гулял теперь леденящий, колющий ветер. Дон посинел, свинцовой тяжестью налились его волны; кое-где у берегов и в лагунах заморозки уже прихватывали воду серой бугорчатой коркой льда.

Обычно земснаряды работали только до ледостава, пока еще можно разрушать подмерзающую землю и гнать ее по пульповодам. Сезон гидротехнических работ замирал уже в начале декабря и до весны. Скован-

ные во льду суда становились на зимний ремонт.

Но в первую свою осень земснаряд Михайлова действовал до 27 декабря, дольше всех других. Покрылся ледяным салом водный карьер, и лед у берегов становился все толще. Уже льдины со скрежетом терлись о железные борта судна, железо обжигало руки, жгуче холодной казалась вода. Немели пальцы у слесарей, исправлявших нередкие прорывы пульповодов, когда внезапно в воздух вырывался бурый фонтан жидкого грунта высотой с двухэтажный дом. И все-таки земснаряд не сдавался, и не напало в экипаже человека, который захотел бы отдать зиме и холодам хотя бы малейшую возможность проработать еще лишней день и приостановить намыв плотины.

Как-то морозным утром смена Супруна должна была нарастить свой плывучий пульповод и для этого подвести несколько тяжелых железных понтонов. Плавающие трубы покачивались у борта соседнего земснаряда, и между двумя судами за ночь вырос сплошной барьер ледяного поля шириной метров в двести.

Супрун не видел иного решения, как только разломать пополам белое поле, нараставшее с каждым часом.

— Ну что ж, будем рубиться, — сказал он своей смене, — отступление сейчас — это полная капитуляция завтра.

На судне были мобилизованы все, кто мог отойти от механизмов. Вся смена вышла на лед, вооруженная баграми, ломами, кирками.

Четыре часа продолжался штурм ледовой полосы. Тотчас вслед за этим смене пришлось перетаскивать длиннее членистое тело пульповода, похожее на гигантского стального удода. Рабочим мешали и ветер, и волны в карьере, мотавшие из стороны в сторону многотонную громаду трубопровода, но все-таки смена Супруна проделала все очень быстро, и еще целую неделю земснаряд продолжал подавать грунт на карту намыва.

Осенние холода явились первым испытанием молодого коллектива. Но это было только начало. Самые серьезные бои с природой были впереди, когда, в полной силе и ярости весеннего половодья, Дон ринется в стремительное контрнаступление на поднимавшиеся над степью бетонные и земляные сооружения гидроузла.

Вскоре в жизни Виктора Михайлова произошло несколько значительных событий, направивших по новому руслу его судьбу на стройке. В конце сентября земснаряд № 306 по предложению экипажа и при полной поддержке партийной и комсомольской организаций главной конторы был объявлен первым комсомольско-молодежным. Это-обязывало ко многому.

В этом же месяце Михайлов подал заявление на заочное отделение Политехнического института, рассчитывая зимой, когда у гидромеханизаторов темпы работы несколько спадают, сдать первые зачеты.

И, наконец, в середине зимы Виктор Михайлов женился и переехал в новый дом вместе с Анной Константиновной, молодым инженером из производственно-технической части 1-го участка, приехавшей на стройку из Пензенской области после окончания института.

— Ну, что ж, Виктор Иванович! Ты теперь, как говорится, ушел корнями в землю стройки, — пошутил как-то начальник участка Капков. — И плотину создаешь, и около нее гнездо семейное вить будешь. Правильное решение!

3

В аккуратной тетрадке дневника Михайлова красной рамочкой обведены несколько цифр и комментарии к ним.

«Итоги 1950 года: мой план — 490 000 кубометров, выполнено — 716 000 кубометров. Это 146 процентов.

Трудно себе представить, какую гору земли мы уложили в тело плотины! Леонтий Александрович Капков как-то подсчитал, что потребовался бы миллион грузовых машин, сделавших по одному рейсу, чтобы возвести только одну карту намыва до проектных отметок. Вот что значит непрерывный поток, высший технологический принцип. Но я себя спрашиваю: все ли уже сделано? Исчерпали ли мы до дна возможности нашей техники? Конечно, нет».

Михайлов громко зачитал цифры на оперативном совещании экипажа, собравшегося перед началом весенних работ 1951 года.

— Возможности, товарищи, еще огромные! — сказал он. — Вот прозвучали красивые, приятные цифры. Но пусть они никого не успокаивают. Гипноз цифр — опасная штука! Только остановись в движении — и они покатаются вниз. Ясно? — спросил он, оглядывая лица товарищей.

Уже после первых месяцев работы земснаряда выяснилось, что бичом ритмической, четкой работы являются непродуцибельные простои судна, главным образом из-за порывов пульповодов.

Нередко поток пульпы, транспортируемый в отводные трубы, потеряв энергию напора, останавливался и возвращался назад как раз к тому времени, когда новый поток уже устремлялся по каналу пульповода. Гидравлический удар при их столкновении был подобен удару молота по толстым трубам: они расклинивались во

фланцах, выпуская свистящие струи пульпы.

Единственной гарантией от этого было нарастающее с каждым месяцем мастерство гидромеханизаторов. Но земснаряд входил в комплексную гармоническую работу с перекачными станциями и бригадами, обслуживающими карты намыва, и тут достаточно было остаться одному звену, как ломался общий цикл.

Вот об этом тоже думал Михайлов, когда стал все чаще посещать плотину, изучая скорости распространения пульпы. Оттуда, с карты намыва, как с ближайшего боевого наблюдательного пункта, он и корректировал по телефону «огонь» своего земснаряда, пульповоды которого выбрасывали черные водопады земли.

И осенью и весной, в различных климатических условиях, наблюдал за своим земснарядом Михайлов, терпеливо собирая воедино элементы самого благоприятного режима работы. Постепенно порывы его пульповодов стали все реже, и кривая на графике выполнения плана из месяца в месяц поднималась круто вверх.

Однако борьба только разгоралась, и Михайлов горячо говорил об этом своему экипажу, то и дело поглядывая на берега карьера, затемневшего уже плешинами сошедшего снега, на дальний лесок и пойму Дона, хорошо видную с палубы судна.

Светило уже мартовское яркое солнце, с каждым днем все набравшее силу; оттаявшие черные полосы степи уже курились теплым паром, по Дону шел лед, и огромные грязнобурые его глыбы, наползая на откосы дамбы, ломались с грохотом, напоминая пушечную канонаду. Свежий радостный ветерок был переполнен пьянящими запахами талого снега, подсыхающей земли, холодной воды. И уже выходили по утрам смены Кузнецова и Супруна ломать толстый лед в карьере, всеми силами помогая наступающему половодью.

* * *

Половодье нагрянуло в апреле. Уже по бурному началу видно было, что этой весной Дон будет необычно грозным и полноводным. Так и случилось. Дон вышел из берегов и, точно торжествуя последнюю свою победу, «наступал» на временные откосы дамб, перемычки и строительные сооружения, заливая их бурными, желтопенными потоками.

Уровень воды в реке поднимался с каждым днем все выше и опрокинул все расчеты. Карьер, где зимовал земснаряд Михайлова, скоро оказался затопленным. Вода разрушила все дороги, оборвала все линии связи судна с левым берегом и главной конторой.

Скоро и сосновый лесок, окаймлявший лагуну карьера, погрузился в воду и стал точно вдвое меньше ростом. Сильным течением туда относило шлюпки с людьми, перебивавшимися от земснаряда к земснаряду, лодки плавали по затопленному кустарнику, кружа в водоворотках и налетая на мокрые стволы сосен.

Дон в эти дни ревел на перекатах, и был его рев сильнее шума притихшей стройки... У перемычек, где вздыбившаяся река грозила прорваться в котлован, днем и ночью кипел яростный бой со взбунтовавшейся стихией.

В эти тревожные и напряженные дни еще сильнее сплотился молодой коллектив. В борьбе с трудностями узнавались люди комсомольского экипажа.

...Это случилось во время послеобеденного отдыха. Михайлова разбудил Кононенко, кричавший, что от земснаряда оторвало пловучий пульповод. В расстегнутом кителе начальник выскочил на палубу. Несколько дней назад он переболел гриппом и сейчас ощущал еще какую-то вяжущую слабость и ломоту во всем теле. Но одна мысль о том, что пульповод может быть унесен в лес и там разбит о деревья, заставила его забыть о недомогании.

Кононенко и Кузнецов уже усаживались в шлюпки.

— Эгей, подождите меня! — крикнул Михайлов.

— Простудитесь, Виктор Иванович, после гриппа. Что у нас — людей не хватает?! — запротестовал Кононенко.

— Ну, ну, я здоров, следите за пульповодом. Я как-никак в прошлом участник всесоюзных соревнований по пребле, — отшучивался Михайлов и, отстранив багера, сам сел на весла.

— А ну, Паша, вперед! — командовал он, и шлюпка пошла наперерез большим волнам, которые ветер нагонял в открытый, соединенный теперь с Доном карьер.

Гребцы нажимали на весла изо всех сил, пульповод уже подтягивало к носам. Но неожиданно переменившийся ветер погнало его к соседнему земснаряду.

Наконец удалось догнать пульповод. Закалив его веревками, гребцы попытались оттянуть трубы обратно, но они оказались слишком тяжелыми. К тому же мешал встречный ветер. Сгирая в кровь ладони, выбиваясь из сил, Михайлов и его помощники метр за метром отводили пульповод от борта земснаряда. Потом в карьер вошли вызванные по телефону два катера и помогли вернуть пульповод на место.

Едва успели закончить с этим делом, как уже поздно вечером произошла новая авария: вода сорвала линию высокого напряжения. Ветер усилился, волны били о железные борта земснаряда точно ку-

вадами. Теперь в шлюпках прыгали электрики. И достаточно было одного неточного движения, чтобы очутиться в ледяной воде.

Михайлов и на этот раз пытался сесть в шлюпку, но его удержал Супрун.

— Хватит вам без нужды здоровье испытывать, отдохните! Электрики сделают все сами, — сказал он.

Группкомсорт Хаустов выехал в карьер отыскивать полузатопленные столбы. В темноте стало еще труднее бороться с быстрым течением.

Но Хаустов скоро нашел место аварии. Он влезал с «кошками» на мокрые столбы, рискуя каждую минуту сорваться в воду, соединял провода и подключал к сети электромоторы земснаряда.

В дни паводка вся стройка жила в состоянии крайнего напряжения.

Михайлов записывал в своем дневнике: «Паводок на Дону принял угрожающие размеры. Вода вплотную подступила к перемычке, грозя вот-вот прорваться в карьер, где горизонт воды был ниже ровно на один и шесть десятых метра... И вот вода прорвалась в котлован. Она ринулась водопадом, бурным водяным вихрем. Сразу же заработали десятки насосов, несколько земснарядов тоже включилось в откачку воды.

...Подъем воды все еще сильный. Ночью сорвало pontонный мост, единственное средство сообщения между правым и левым берегами Дона. Нас отрезало от котлована, и сообщение с главной конторой возможно только на катерах. Все живем на судне. Как не предусмотрен штатным расписанием; одну из кают приспособили под камбуз, матросы там варят на всю команду. На берегу почти не едим. Наладили радио для связи с главным диспетчером на случай порыва телефонной линии, что случается нередко.

...В этих тяжелых условиях понемногу начинаем опробовать механизмы. Но качать грунт еще нельзя. Все наши наземные пульповоды стали пловучими, погрузились в воду. Свободное время используем для учебы: я стою у пульта то с Супруном, то с Кононенко и Кузнецовым.

...Душа не радуется, когда смотришь на Супруна, — такой он вдумчивый, спокойный, быстро растущий багер. Осенью он работал просто самоотверженно. Думаю назначить его старшим. Ну, а я — я тоже учусь в каюте под гул и дребезжание моторов, готовлюсь к сдаче зачетов. И это трудно!»

* * *

В первых числах мая, когда земснаряд уже приступил к намыву плотины, как-то во время ночной смены Михайлов зашел в багерскую будку. За пультом стоял Супрун.

Земснаряд вел разработку высокого берега карьера, освещенного с крыши судна ярким светом прожектора.

«Забой» постепенно углублялся, точно кто-то огромным ножом надрезал его снизу, как пирог, и одна за другой сползали в воду массивные глыбы грунта. По краю одного маленького полуострова еще полчаса назад, поджидая вышедшую навстречу лодку, спокойно прохаживался Михайлов. А сейчас полуостров быстро «растворялся», постепенно «съедаемый» насосом, и Михайлов невольно подумал о том, что он был последним человеком, стоявшим на этом кусочке земли.

— Какой у нас идет грунт, Володя? — спросил он Супруна.

— В основе хороший песок, но вот попадает чортова глина. — Супрун огорченно вздохнул. — С карты уже телефонят, грозят остановить прием.

Дело было в том, что глина, попадавшаяся в карьере, не годилась для намыва в тело плотины. Зато песок, спрессованный с помощью чудесной силы воды, его транспортирующей, формировался на дамбе в плотную, надежную и крепкую массу. Таким образом, известное нарицательное выражение «строить на песке» претерпело в практике строительства интересную метаморфозу. Плотины возводили именно из песка и — впервые в мировой гидротехнической практике — на песчаном основании.

Багер казался особенно напряженным, и движения его приобретали энергичную резкость и решительность в те минуты, когда оползни с грохотом рушились в воду, грозя завалить глыбой грунта раму снаряда. Тогда, используя волну от обвала, он быстро отводил судно назад, затем, приближаясь, снова опускал на дно фрезу разрыхлителя, «шел на углубление». Вот эту отлично отработанную у Супруна технику маневрирования — одну из составных частей искусства багера — несколько минут наблюдал Михайлов, молча стоя рядом с товарищем.

Дверь в багерскую со стороны палубы была приоткрыта, и туда проникал прохладный ветер вместе с похожим на гулкий морской прибой ночным шумом стройки.

— Ну, как занятия, Виктор? — спросил Супрун, отглядываясь на командира. Обычно он называл его строго и уважительно: Виктор Иванович, а обращаться по имени разрешал себе только вне судна или когда старые друзья оставались вдвоем.

— Медленно. Не выдерживаю сроков. Это называется, «горю». Летят мои обязательства. Вот что плохо! — сказал Михайлов.

Супрун тоже готовился к приемным экзаменам в строительный институт, соби-

раясь осенью для этого съездить в Москву, и Михайлов знал: весь экипаж следит за тем, как учится он, командир судна.

— А ведь у нас почти все учатся: ты и я — в институтах, Кузнецов — в МГУ, Кононенко — в десятом классе пилоты рабочей молодежи, Абусок — в седьмом, Шохин, Мысов и механик Киреев — там же. Прямо шловучие средние и высшая школы, — улыбнулся Михайлов.

Супрун сказал, что ему очень трудно выкраивать время для занятий, а с разворотом летних работ будет еще труднее.

— И у меня, признаюсь, положение с учебной тревожное, — доверительно сказал Михайлов. — Иногда думаешь: не бросить ли? Мы на великой стройке, отдаться ей целиком, — оправдание как будто есть. Кто осудит? Но потом поразмыслишь еще — бросить жалко и стыдно, а не бросить, будет очень и очень тяжело.

— Верно, — кивнул Супрун.

— Вот и кое-кто из моих знакомых подсказывает, — продолжал Михайлов, — что с учебной можно повременить. Мне в марте исполнилось двадцать пять лет. Еще молод, а учиться никогда не поздно.

— Бросать, я думаю, нельзя — именно потому, что мы на великой стройке, — сказал Супрун. — Может быть, в этом тоже ее величие, что люди, работая на земснарядах и экскаваторах, учатся в университетах. Я сам иногда колеблюсь: не повременить ли? И говорю себе: нет!

Где-то впереди, в забое захлопотало, и волна подбросила вверх нос судна. Супрун, чуть откинув назад корпус, быстро нажал на шпульте несколько кнопок, и глубокая озабоченная складка легла на его широком лбу между чуть сдвинутых темных бровей.

Михайлов помолчал и потом, зайдя сбоку, внимательно посмотрел в лицо Супруна, сосредоточенное и чуть покрасневшее от напряжения, и еще долго взглядывался в черты друга, точно нашел в них что-то новое и интересное для себя.

К полуночи собрались тучи и грянул первый весенний ливень с грозой. Синие молнии прорезали темное зеркало Дона. При вспышках вдруг выплывала из темноты степь, точно заштрихованная косою и тонкой сеткой серебряных нитей дождя.

Капли дробно стучали по крыше багерской, сливаясь с шумом моторов, когда Михайлов вышел на палубу.

— Люблю грозу в начале мая! Вот она, увертюра к открытию весны. Поздравляю, Володя! — крикнул он в рубку.

Молнии вспыхивали над плотиной. Они почти не прибавляли света в залитый электричеством котлован, и казалось, что это длинные жаркие огни электросварки над вершинами порталных кранов, над самым гребнем плотины, вознесенной в небо.

— Ты знаешь, Володя, я позиций сдавать не собираюсь! — крикнул с палубы Михайлов. — Подумаю, пересмотрю свои методы труда и возможности. А институт не брошу, нет! Не имею права.

* * *

Все лето земснаряд Михайлова намывал четвертую и пятую карты правобережной части плотины. Гигантским полужольцом она уже поднималась над степью, и верхняя плоскость ее была настолько широка, что там проектировалось проложить полотно железной дороги. Ближе к Дону гребень плотины поднялся особенно высоко. Там работал коллектив участка Капкова, который вместе со всеми гидромеханизаторами стройки обещал в письме к товарищу Сталину дойти до условной отметки «38» к 1 декабря 1951 года.

Но экипажи земснарядов работали так дружно и интенсивно, что на участке Капкова отметка была достигнута уже в августе, а Михайлов выполнил обязательство еще раньше — 28 июля. И уже в сентябре он возвел свои пикеты до высшей проектной отметки, слав, таким образом, государственной комиссии первый на строительстве километр готовой плотины.

Успех этот, давшийся ценой напряженной работы, был тем более значителен, что никто из экипажа не прерывал в эти дни своей учебы. А в середине июля, в самый разгар летних решающих работ, старший багермейстер Супрун и с ним еще несколько техников и багеров с других земснарядов стали собираться в Москву держать экзамены в инженерно-строительный институт.

Супрун уехал в Москву на месяц, но конкурсных испытаний не выдержал и вернулся на стройку как раз к ответственному периоду подготовки к перекрытию русла Дона... И Кузнецов, и Кононенко, и Михайлов, которые в течение месяца по ночам делили между собой его вахты, радостно встретили товарища.

— Ну, друг Володя, — сказал Михайлов смущенному и не скрывавшему своего огорчения Супруну, — не сдавайся. Провалился по математике — это тебе урок. Злее будешь. А в следующем году на экзамены поедешь вместе с Пашей Кононенко. Мы его тоже к тому времени подготовим в студенты!

4

Из дневника Михайлова:

«...Сегодня первый день нового учебного года в школе, построенной нами на берегу будущего Цимлянского моря. Я увидел, как пожилой строитель вел по дороге в школу крохотную девочку в белом переднике, с

косичками и бантиками, и подумал о том, что и у меня скоро будет сын или дочь и как было бы хорошо вот так же повести их в школу... Я сказал об этом Ане, которая шла со мной рядом, и ввел ее в краску. Потом мы размечтались и едва успели сесть на попутную машину Ремзавода».

Мы сидели в каюте Михайлова, перелистывая его дневник, в то время как сам он вместе с механиком Акуевым в машинном трюме занимался переборкой одного из электромоторов. Дневник Михайлов вел уже давно, но нерегулярно и бегло, как человек, которому каждый день не хватало нескольких часов в сутки.

Коротенькие, неприятательные эти записки раскрывали интересные черточки характера самого начальника земснаряда. Но в то же время это была своего рода будничная летопись жизни экипажа и документ производственного опыта, который Виктор Иванович, заглядывая далеко вперед, надеялся использовать на других стройках коммунизма.

Земснаряд Михайлова принадлежал к тому типу судов, которые гидромеханизаторы вкратце называли «трехсотками», точнее — марки «300—40», что определяло два важнейших параметра агрегата: его способность перекачивать в час триста кубометров пульпы и поднимать ее по трубам на высоту сорока метров.

— Чем длиннее трасса, тем слабее напор в трубах, это естественно, — объяснял Михайлов, добавив, что когда затащенный на вершину дамбы пульповод растянулся более чем на три с половиной километра, земснаряд работал, что называется, «на пределе» крайнего напряжения всех механизмов.

Это был первый опыт молодежного экипажа, потому что никто и нигде еще не намывал такие плотины и на такой высоте.

— Люди не знали, как это сделать, — признался Михайлов.

И все-таки экипаж заставил сильнее «биться стальное сердце» земснаряда, прогонять по артериям и выбрасывать высоко на гребень плотины добавочно сотни тонн тяжелого грунта.

В ответственной дни, когда земснаряд возводил последние — самые высокие, самые трудные — метры гребня плотины, Михайлов перенес свой наблюдательный пункт на карту намыва. Здесь, у телефона, подчас подвешенного просто к столбу или к маленькой будочке, укрывающей от ветра и дождя, днем и ночью, при свете прожектора, он наблюдал за движением пульпы, направляя работу своего экипажа.

Сейчас этой будочки уже не было: вместе с линией телефонных столбов она пере-

кочевала к Дону, к месту повои площади намыва.

Мы направились туда, и еще с дамбы Михайлов заметил внизу коренастую фигуру Капкова.

— Ну, что у тебя, Виктор Иванович? — спросил начальник участка у слегка запыхавшегося Михайлова, когда тот подбежал к нему. — Уже есть приказ начальника строительства — диспозиция на все этапы работ по перекрытию русла.

— Ну что ж, я готов, ждем праздника! — Улыбнувшийся Михайлов смахнул со лба легкую испарину и, глубоко дыша не то от бега, не то от того радостного волнения, которым светилось его лицо, расстегнул несколько верхних пуговиц синего кителя.

— Волнуемся, а? Ты заходи ко мне почаще, почаще в эти дни. Я-то думаю на несколько ночей перебраться на участок; отоспимся после закрытия Дона, — сказал Капков. Он тоже распахнул пошире свой рабочий ватник, в котором было удобно лазить по дамбам и пульповодам, и сильно потер ладонью большой выпуклый лоб, точно вспоминая что-то.

— Да-да, — сказал он, еще раз озабоченно оглядывая участок, — а мы ведь должны показать образцовую работу. Подумай только, какая ответственность! Второго такого случая, может быть, за всю жизнь не будет. Я-то уж шестой десяток разменял.

— Будет, будет! — сказал Михайлов, чувствуя, что и начальник участка, заслуженный гидротехник, отдавший этому делу более сорока лет работы, строивший морские порты, Беломорско-Балтийский канал и канал имени Москвы, полон сейчас необычного волнения в ожидании исторических дней покорения Дона.

Мы спустились к Дону, еще ниже следуя вдоль стальной «нитки» одного из пульповодов. Отсюда, с приподнятого правого берега, было особенно хорошо видно, как земляная дамба и каменные насыпи, подойдя к реке с обоих берегов, сдавили русло Дона. Река с шумом, бешено бурля, неслась через оставленную ей пока неширокую горловину. Еще свободная и сильная, ярясь, она тащила за собой камни и землю. По обоим берегам бывшего «тихого» Дона громоздились в небо горбатые массивы мостов, эстакад, строений. Земля здесь точно встала «дыбом», стремясь втиснуть реку в ложе искусственного каменистого ущелья.

Вот сюда и должен был экипаж Михайлова подвести свои пульповоды. Огромные жерла труб других земснарядов, похожие на длинные стволы тяжелых орудий, уже выдвигались на самый берег. Около моста через горловину, или, как говорили строители,

«прорана в теле каменного банкета», то есть прохода в скамьи насыпи, подступившей с **обоих** берегов к Дону, стоял белый домик с простой вывеской: «Командный пункт 4-го строительного района».

— Нет, вы только посмотрите, что делается! Артподготовка, — похоже, будет сражение, настоящее сражение, а? — не скрывая восхищения, сказал Михайлов. — А ведь, когда я сюда приехал, что тут было: лесок, озерцо, тишина, зайцы шмыгали в кустах, волчьи следы ребята видели, когда корчевали пни, а теперь... Сюда подтянем с десяток стволов, — продолжал он. — Я тоже буду нацеливаться в этом направлении.

— Виктор Иванович, времени у нас с тобой в обрез, — напомнил Капков. — Надо успеть закончить все приготовления.

— Успеем, успеем. Ну и горячие будут денечки! — сказал Михайлов, влюбленным взглядом окидывая степные дали, голубеющий простор реки, к которому, казалось, уже придвигались, наступая из глубины строительного района, каменные банкеты и земляные насыпи, экскаваторы и земснаряды.

Приближалось 20 сентября 1951 года.

Кудлатый от желтой губчатой пены, сплошным пузырчатым покровом лежавшей на воде, с ворохом мокрых щепок и досок, смытых им с откосов канала, грязный, точно только что после тяжелой земляной работы, Дон должен был тихо дожидаться дня, когда его собирались торжественно впустить в огромный бетонный резервуар нижнего бефа котлована. Дон стоял у плотины. И вот теперь начался самый ответственный этап в грандиозном гидротехническом комплексе перевода реки через бетонную водосливную плотину в новое русло.

II. ДОН ИДЕТ ЧЕРЕЗ ПЛОТИНУ

Приказ, изданный оперативным штабом стройки: боевая диспозиция на покорение Дона и ввода его в новое русло, — был передан во все строительные районы и конторы.

Общая задача предстоящих работ вкратце сводилась к тому, чтобы сначала отвести Дон от старого русла через подводящий канал на железобетонную плотину, расположенную примерно в километре левее старого течения реки, затем пропустить воду в котлован, а от него — по отводящему каналу — снова в старое русло Дона. Так как Дон делал в этом месте небольшой поворот, русло его на протяжении нескольких километров как бы спрямлялось.

После пропуски воды через котлован расход и напор ее в старом русле значи-

тельно уменьшались, что открывало возможность перегородить здесь реку каменным банкетом и затем замыть песчаной дамбой, которая должна была соединить лево- и правобережные крылья тринадцатикилометровой земляной плотины.

Таким образом, река еще задолго до окончания всей стройки была уже подготовлена к тому, чтобы отдавать свою энергию турбинам гидростанции, которая возводилась на левом краю железобетонной плотины.

Инженер Горин подошел с указкой к развернутому плану гидроузла, висевшему в его кабинете в главной конторе гидромеханизации.

Земснаряды располагались на плане широким, охватывающим все пространство фронтом. Горин резким полукругом очерчивал районы сосредоточения «эскадр» этих судов, а длинными стрелками как бы прослеживал линии их магистральных пульповодов и намечал «направления главного удара», как говорил он, по старой памяти пользуясь фронтовой терминологией.

На столе его непрерывно звонили телефоны. Не менее часто и сам Горин звонил своему диспетчеру, принимая сводки с земснарядов то с левого, то с правого берега. В подводящем канале уже исчезла перемычка, «разобранная» судами №№ 301 и 302. Два других мощных земснаряда подошли к перемычке отводящего канала, готовясь углубить и в нее «хоботы» своих разрыхлителей. Инженер сообщил, что получено распоряжение оперативного штаба прекратить глубинный водоотлив. Это означало, что горизонт грунтовых вод начнет быстро подниматься, заливая дно котлована. Горин отдавал приказания, в последний раз проверяя боевую готовность всех экипажей.

— Ну, что же, будем брать перемычку, ту, что еще отгораживает котлован от Дона, — сказал он. — Дамбу уже так подрезали, что она еле дышит, но задача перемычки — сдерживать воду в котловане, пока она не достигнет уровня реки. И тогда мы проколем ее.

— Да мы готовы, совсем готовы, товарищ главный инженер строительства! — быстро доложил Горин, когда ему позвонили из оперативного штаба.

Однако звонки не прекращались. Звонили, еще и еще раз уточняя детали приказа, советуясь и просто поздравляя инженера с наступающим событием; звонили диспетчеры, прорабы, багеры и начальники земснарядов с далеких участков левобережной части плотины, завидуя своим соседям, которые были ближе к руслу Дона.

Одетый по случаю праздничного дня в белый свежееотглаженный костюм, Горин то и дело поглядывал на часы, чтобы не

опоздать на торжественный митинг в котловане. Он несколько раз поднимался и снова садился за стол, чтобы самому еще раз соединиться с участками и, скрывая волнение, нарочито спокойной интонацией передать своим людям последние теплые слова напутствия.

— У меня сынишка в Москве, и я сегодня рано утром говорил с ним по телефону, — неожиданно сказал Горин в короткой паузе между двумя звонками. — Знаете, вышел из дому и первым делом инстинктивно взглянул на небо. Помните, ведь мы на фронте всегда по утрам смотрели на небо. Денек-то у нас сегодня боевой!

* * *

Многотысячный митинг в котловане, посвященный пропуску вод Дона, решено было начать во второй половине дня. Еще с вечера в левом углу огромного бетонного плато, образующего днище котлована, видная издали, высилась широкая трибуна из свежих желтоватых досок. Ее украшал большой, в обрамлении алых знамен портрет товарища Сталина.

Рано утром в котлован начали собираться празднично одетые строители. Они пришли вместе с женами, детьми, знакомыми. Прибыли гости из Москвы и Ленинграда, рабочие из Ростова, создававшие машины для Цимлянского гидроузла, колхозники из окрестных селений.

Шумные, пестрые потоки людей, обтекающая трибуну, направлялись в глубь котлована, чтобы до начала митинга осмотреть его, прежде чем он через несколько часов навсегда уйдет под воду.

А тем временем на плотине и в котловане ни на минуту не ослабевал строительный темп. Весь гребень плотины, оштетнившийся в небо лесом арматуры, сиял сейчас голубыми вспышками сварки. Еще лили бетон в последние секции откосов котлована, сгружая его из кузовов подъезжавших целью самосвалов; еще подвижные краны, неся в своих стальных клювах бетонные плиты, укладывали их в нижние уступы гибкой рибсермы; еще бульдозеры, заходя один за другим, распахивали последние метры русла отводящего канала, а на ровных площадках строители уже убирали мусор и метлами вычищали бетонный пол, чтобы отдать сооружение под воду абсолютно чистым.

Это было в те дни, когда вся стройка жила в состоянии небывалого трудового подъема. Газеты приносили известия о новых и новых рекордах выемки грунта, укладки бетона. До 6 тысяч кубометров бетона в сутки укладывали цимлянцы, и это было выше мировых рекордов, достигнутых в свое время днепростроевцами.

Особого напряжения работы в котловане достигли в самый канун пропуска воды. На двенадцать суток раньше срока закончил месячное задание машинист мотовоза В. Голубов. По 200—300 тонн строительных материалов разгружал машинист порталного крана И. Логинов. Комсомолки-электросварщицы Болдырева и Полякова перевыполняли норму в пять-шесть раз. Экипажи гидромеханизаторов Михайлова, Клышканя, Хлюста и других намного превышали проектные мощности своих земснарядов. И по этим передовикам равнялись тысячи и десятки тысяч строителей.

К двум часам дня весь амфитеатр котлована чернел плотными рядами людей. Рабочие взобрались на крыши высоких экскаваторов, кранов, на кузова машин. Резвый ветерок, чуть сбивая палящую жару, трепал флаги, светлые косынки женщин, шевелил живые цветы, обрамляющие транспарант с надписью: «Осуществив вековую мечту русского народа, соединим Дон с Волгой».

Трибуну, на которую поднимались лучшие люди стройки, новаторы, гости, седобородые степенные деды-казаки из соседних станиц, кольцом окружили фоторепортеры и кинооператоры.

Мы увидели на трибуне известного здесь экскаваторщика Евгения Симака, когда он, получив слово, протиснулся между двух дедов, поближе к обитым красной материей перилам. Несколькими мгновениями он стоял там молча у микрофонов, чуть щурясь от слепящего солнца, осматривая армию строителей и застывшие механизмы.

Потом Симак горячо заговорил о работе своего экипажа, о Пакте Мира, под которым на днях подписывался весь коллектив строителей, о великих стройках коммунизма, которые были лучшим свидетельством неуклонного стремления советского народа к миру.

«Наш экипаж станвится на вахту мира до конца строительства», — сказал он, и его голос потонул в буре аплодисментов.

Когда же начальник строительства Барabanов торжественно заявил, что коллектив цимлянцев, первым среди строителей Волго-Дона получивший переходящее Красное знамя Совета Министров СССР, постарается его сохранить до момента полного завершения всех работ, — снова тысячи рук взметнулись вверх и загрела торжественная здравница и могучее «ура» великому Сталину, знаменосцу мира, гениальному вождю, ведущему советский народ к вершинам коммунизма.

Воды Дона вошли в котлован 20 сентября в 13 часов 23 минуты.

Закачивались последние приготовления. Люди стояли сплошной стеной на бетонной эстакаде. Тысячи рабочих расположились ниже, на самой плотине, в пролетах между овальными сплетениями арматуры. Еще ниже, на боковой стенке котлована, на узком гребне водобойного колодца — всюду, где было возможно, стояли люди.

С нетерпением ожидали сигнала с командного пункта 3-го строительного района. И вот два огромных порталных крана продвинулись по эстакаде и, наклонив стрелы, стальными тросами зацепились за верхние крюки шандронных загравдений тех секций плотины, где алели флаги и на огромных красных полотнищах транспарантов сияли видные отовсюду надписи:

«Сталин — это мир».

«Здесь пройдут воды Дона».

Временами налетал душный и сильный степной ветер. Минут за двадцать до самого пуска воды он резко усилился. Пыль летучими завесами, дымножелтыми столбами смерчей носилась по открытой бетонной чаше котлована. В эти минуты вся стройка застилалась горячим туманом, люди нагибали головы, не видя друг друга, песок обжигал кожу лица и рук, забивался в волосы.

Это была настоящая песчаная буря. Она неслась порывами, обжигая жарким злым дыханием степного яростного суховея, словно этим последним своим тщетным усилием природа пыталась остановить неумолимый приход воды.

Наконец, из огромных радиорупоров раздалась команда: «Поднять шандронные затворы донных отверстий!» Медленно, точно тяжелую рыбину из воды, зацепленную на леску стального каната, кран потянул вверх деревянный щит шандроры.

Раздался легкий треск удара досок о край бетонного лотка, и строители увидели, как в квадратном просеме донного отверстия блеснула первая полоска просвета. Вот она увеличилась, и голубым сиянием сверкнул за нею Дон. Весь котлован тихо ахнул в это мгновение.

Казалось, и Дон точно так же замер от неожиданности. Но вот по покатоной водосливной грани плотины прошумела его первая желтая и пенная волна. Она ударила о бычок «рассекателя», тут же ее нагнала вторая, третья, и тысячи радостных голосов слились в единый тор-

жествующий возглас: «Вода! Пошла вода! Вода!»

Люди, стоявшие на плотине так плотно, что там трудно было повернуться, вздымались вверх руки, махали кепками, платками, косынками. Кто-то взбирался все выше по арматуру, чтобы крикнуть оттуда слова восторга; кто-то спускался вниз, к самой воде, и, уцепившись там одной рукой за штыри, рискуя упасть в пенный поток, что-то кричал, размахивая свободной рукой; кто-то, не совладав со своими чувствами, бросил кепку в воду.

Дети, стоявшие на эстакаде, выпустили голубей, и они, затрепетав крыльями, взмыли вверх и закружились в синем солнечном небе над котлованом, где, не умолкая, гремело ликующее громовое «ура».

А вода тем временем все прибывала. Реке открыли еще одно донное отверстие, затем еще несколько. Точно распрямив плечи, Дон шумным пенным каскадом входил теперь в камеру водобойного колодца, с каждой минутой поднимаясь там все выше и выше.

Виктор Михайлов с женой и почти со всем своим экипажем стоял на плотине, когда вода, заполнив колодец, начала переливаться через его край. Сначала это были светлые робкие струйки. Но вот намочила вся стенка водобойного колодца, и через нее, как через порог, стал переливаться искрящийся полукилометровый каскад воды.

Глухой шум водопада все возрастал. Вода бежала по днищу котлована, и ветер, который недавно вздымал там облака пыли, нагонял теперь на поверхности воды первую легкую рябь.

— Вот как мы перебрасываем Дон! — сказал Михайлов, глядя сияющими глазами на котлован, и трудно было определить, что более звучало в его голосе: удивление ли, радость, или торжествующая гордость человека, чувствующего себя хозяином и творцом этого великолепного и поистине величественного зрелища.

К вечеру Дон заполнил котлован настолько, что там, где еще несколько часов назад бешено носились самосвалы с бетоном, плавно скользили лодки с первыми строителями, решившими показаться по глади нового красивого озера, залитого багряными бликами заката.

III. БИТВА «НА ПРОРАНЕ»

Битва с Доном «на проране» началась 21 сентября, как только река заполнила весь котлован и вода в нем поднялась на один уровень с зеркалом старого русла.

Настало время «разбирать» последнюю временную земляную перемычку, открыв таким образом Дону широкие «ворота» на вольный простор его вековой поймы.

Это была та самая перемычка на конце отводящего канала, где последнюю лекалу, выбирая землю, работал экскаватор Евгения Симача. Но скоро тяжелая машина начала вязнуть в разрыхляемом грунте дамбы, и экскаваторам пришлось уйти, уступив свои рабочие забои более легким и подвижным бульдозерам.

Одновременно два больших земснаряда приблизились к перемычке со стороны нижнего течения, также забирая грунт из дамбы. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы создать необходимые быстрые темпы «разбора» перемычки.

Дон тем временем не ждал. Он подступал теперь уже с обеих сторон, грозя залить искусственный перешеек. Сейчас был дорог каждый час, ибо каждый час решал успех всего гигантского гидротехнического замысла.

Во второй половине дня из оперативного штаба последовал приказ земснарядам отойти в сторону, а бульдозерам начать протаранивать сквозные прорезы в земляном теле перемычки. Это было своевременное и смелое решение. Спустившись к самой воде, бульдозеры, своими стальными ножами постепенно отбрасывая в сторону пласты земли, прорезывали дамбу узкими сквозными проходами. Сюда же немедленно, вслед за бульдозерами, начала входить вода, помогая размывать и расширять прорезы.

На месте перемычки образовалось нечто вроде речной дельты из десятков отдельных перекатов и рукавов, которые с каждой минутой становились все шире и глубже, пока, наконец, не слились в один мощный, бурный и стремительный поток.

В то время как у перемычки отводящего канала разгоралась эта напряженнейшая работа, в другом конце стройки, там, где главная земляная плотина подходила вплотную к реке, готовилась еще более ответственная и трудная операция — навечное закрытие старого русла Дона каменным банкетом.

В 4-й строительный район мы попали к концу дня. Просторная и сравнительно малолюдная его площадка, примыкавшая к самому берегу, по которой еще несколько дней назад мы ходили с Капковым и Михайловым, сейчас неузнаваемо преобразилась.

Весь район был точно описан кольцевой двухкилометровой дорогой, пересекавшей Дон, в двух местах: по понтонному мосту вдалеке и по ближайшей специальной

эстакаде, соединявшей каменные откосы банкета.

Здесь, на большом участке дороги, по правому берегу цепочкой выстроились сто двадцать автосамосвалов и, приготовленные для погрузки на машины в тылах района, высились целые горы камней.

Головные машины колонны этого автотранспортного конвейера подъехали к центральной площадке и замерли около въезда на эстакаду, где толпились сейчас сотни строителей, гостей, делегатов от соседних колхозных станиц.

Весь берег пламенел красными полотнищами и огромными цветными транспарантами с призывными, волнующими словами, обращенными к строителям: «Товарищ, гордись участием в историческом перекрытии Дона!», «Самоотверженному труду строителей старый «тихий Дон» сдает свои последние позиции!», «Направим Дон по пути, указанному советским народом!», «Перекроем русло Дона за тридцать пять часов!»

За тридцать пять часов! Эта цифра говорила о многом. Вначале строители Цимлянского гидроузла проектировали закрыть старое русло Дона за время, почти в два раза большее. Непрерывно нарастающая каменная насыпь на дне реки должна была остановить стремительный водный поток. Подсчеты показывали, что промедление здесь можно рассматривать равносильным катастрофе — Дон постепенно разнесет каменный барьер и вырвется на свободу.

Потом сроки эти подверглись резкому сокращению. Жизнь внесла свои коррективы, и в новых расчетах на первое место выступили тщательная подготовка и возможности широкого использования новой техники и принятое решение нанести Дону массивный и непрерывно нарастающий «удар».

Но и к этому тридцатипятичасовому штурму цимлянцы готовились долго и тщательно, учитывая всю ответственность и новаторский характер предстоящих работ.

И поэтому оперативный штаб стройки создал в 4-м строительном районе до пятнадцати одних специализированных служб: связи, наблюдения за рекой, службы определения роста подводной части насыпи и скоростей течения, транспортной, диспетчерской и так далее.

Вся трасса круговой дороги была оборудована телефонными пунктами, и за каждым участком закреплены прорабы, отвечающие за порядок и четкость всех работ.

В общем в полную боевую готовность было приведено сложное, продуманное до мелочей, вооруженное самой передовой техникой строительное «хозяйство» правого

берега, могучий комплекс механизмов, ожидавший только сигнала к наступлению на старое русло Дона.

Последние приготовления были закончены, когда день уже близился к закату. То и дело налетал холодный ветер, выглядывало и скрывалось за густыми тучами солнце, и тогда сразу резко темнела донская вода.

У командного пункта района мы встретили Виктора Михайлова. Он пришел сюда прямо по магистральному пульповоду от своего земснаряда и теперь в последний раз осматривал русло реки, куда его судно должно подавать пулпу. Недалеко от эстакады виднелись шесть длинных «усов», то есть трубопроводов; стальные черные жерла их, точно дула пушек, нависали над крутым берегом.

Несколько земснарядов, готовясь к работе, уже «прокручивали» свои машины, и в реку выливались толстые черные потоки жидкой земли.

Михайлов присел отдохнуть на камни около самой воды, чтобы увидеть и эстакаду и Дон в торжественный момент начала перекрытия русла.

Над степью уже плыли сумерки. Ветер усилился, срывая пену с бешено ревущей реки, и в воздухе повеяло холодом.

— А погода-то плачет по старому Дону! — сказал Михайлов. — Видите наши муртыры? Шестьдесят тысяч кубометров земли в сутки. Вот что мы обрушим в Дон здесь, чуть выше каменного банкета. И превратим воду в суху.

Он недолго просидел на месте, вскочил и побежал осматривать деревянную эстакаду, проезжее полотно которой через каждые два-три метра зияло квадратными отверстиями для сброса камней.

Видимо, Михайлова интересовало все. Он спустился к наблюдательному мостику около самой воды, где девушки-гидрологи измеряли скорость течения и глубину реки. Хотя значительная часть Дона ушла уже новым руслом через плотину и котлован, здесь, в этом втором рукаве реки, воды еще было много и глубина Дона достигала солидной цифры — почти трех метров. Еще могучий и неустранный, Дон бурлил около высоких деревянных клетей из толстых бревен, так называемых «ряжей», служивших опорами для моста эстакады.

Скоро начальник земснаряда вернулся на облюбованное им место около терраски командного пункта, сообщив, что руководители оперативного штаба заняты сейчас последними подсчетами расхода воды и скоростей течения реки в районе банкета. Не вся перемычка у отводящего канала была размыта, поэтому уровень Дона

у банкета был еще высок, и надо было точно определить час начала работ.

То напряженное и творческое волнение, которое в преддверии окончательного решения царило в маленьком домике оперативного штаба, точно по каким-то незримым нитям передавалось и всем строителям. Люди, ожидавшие на берегу, то и дело подбегали к реке, вглядывались в ее кипящие волны, спорили, что-то подсчитывали в блокнотах, поглядывали на часы.

Уже совсем стемнело. По обоим берегам реки вспыхнуло зарево огней. На площадке засверкали сотни электролампочек. Десятки прожекторов, выхватив из темноты эстакаду, осветили на ней каждую балочку. В сияющем мощном потоке света Дон казался серебряным.

Наконец, около семи вечера, из радиорупоров раздалась долгожданная команда начальника строительного района Резчикова: «Товарищи, займите свои рабочие места, через пять минут начинается перекрытие Дона!»

Потекли последние минуты. На площадке не осталось ни одного человека, кто бы не устремился в эти мгновения к самому берегу, ближе к эстакаде. Все сто двадцать машин завели моторы, и воздух наполнился густым и мощным гулом. Где-то вспыхнули дополнительные прожекторы. В потоке света эстакада казалась белой, точно выточенной из кости. Стало светло, как днем.

«Внимание! Внимание! — командовали по радио. — Начинается перекрытие Дона. Первые четыре машины — марш!»

Грянула музыка. Рывком тронулась первая машина, за рулем которой сидел комсомолец Юрий Аягут, и под гром аплодисментов въехала на мост. Она остановилась у крайнего люка в настиле эстакады, к ней пристроились еще три самосвала, раздалась команда, одновременно поднялись вверх кузова — и грохочущий поток камней полетел в воду. Камни падали с таким плеском и шумом, точно на дне Дона рвались мины.

За первой четверкой машин последовали новые и новые. С грохотом летели вниз камни.

Автоконвейер пришел в движение. Он работал с отличной слаженностью. На Дон обрушился почти непрерывный каменный дождь. Но река не сдавалась. Было слышно, как Дон яростно тащил за собой тонные глыбы, как он, рыча и захлебываясь пеной, старался разбить преграду.

Но шли минуты, сменялись машины на эстакаде, и река начинала понемногу сдавать. Уже через час после начала перекрытия под мостом стали показываться из воды первые каменные бугорки. С каж-

дой минутой их становилось все больше, и уже кое-где камни катились не в воду, а на твердое основание растущей дамбы. Края каменистого банкета, с обеих сторон сжавшего реку, начинали смыкаться.

Дон проигрывал сражение.

Виктор Михайлов, который весь этот первый час простоял у въезда на эстакаду, взглянув на часы, заторопился к своему земснаряду. Через несколько минут и его судно подключалось на замыв русловой части реки, и комсомольскому экипажу предстояла долгожданная первая — и потому самая ответственная — ночная вахта.

IV. НОЧНОЙ ШТУРМ

Когда Михайлов вышел на берег своего карьера, земснаряд уже работал, и свежей его контур с многочисленными огнями на палубе и мачтах дрожал на темной глади воды. Судно гудело и тряслось, точно порываясь вперед. Было ровно восемь часов тридцать пять минут.

Михайлов подошел к воде и крикнул, сложив ладони рупором, чтобы ему подали лодку. Потом ему пришлось повторить свою просьбу еще раз, потому что его голос тонул в шуме работающих моторов. Наконец, кто-то пробежал по палубе, светя себе под ноги карманным фонарем, и прыгнул в лодку. Гребец быстро замахал веслами, но скоро наткнулся на мель и, чертыхаясь во тьме, пытался, встав во весь рост, оттолкнуться веслом, как багром.

Михайлов, подумав о том, что карьер быстро мелеет, потому что вместе с грунтом земснаряд отсасывает много воды, крикнул, что ему будет лучше пройти на судно по трубам плавучего пульповода. Но лодка уже струнулась с мели и, когда вошла в полосу света, отбрасываемого прожектором земснаряда, Михайлов в полуогнутой длинной фигуре гребца узнал багера Кузнецова.

«А ведь сегодня не его смена, — значит не утерпел, пришел-таки на судно», — подумал он, вспоминая, как в последние дни с особым подъемом и воодушевлением весь экипаж готовился к замыву русла Дона.

Еще за день Михайлов созвал у себя в каюте коротенькое производственное совещание, решив передвинуть земснаряд чуть правее, ближе к высокому отвесному берегу забоя. Здесь залегал крупнозернистый песок, и забой был удобен для разработки. К тому же сокращалась длина пульповода, а это означало, что машинам будет легче подавать пульпу и держать необходимое высокое давление жидкой зем-

ли в магистральных каналах трубопровода.

Об этом говорили на совещании, коллективно думая над тем, чтобы в решающие дни судно работало с предельной нагрузкой.

— Хорошо бы и выше предельной, — сказал комсорг Хаустов.

— Тут каждый винтик будет решать. Думайте, электрики, мотористы, матросы, багеры — все! Думайте, я призываю вас к особо организованной и четкой работе — замыкаем старое русло Дона раз и навсегда, — сказал Михайлов.

И весь экипаж в канун «битвы на проране» еще и еще раз проверил и заново отрегулировал все механизмы.

Лодка врезалась носом в песчаную отмель, и Михайлов, пересев на весла, быстро погнался к земснаряду.

— Ну, что у нас, Валерий Борисович, начали? — спросил он.

— Да-да, уже звонили с карты. Пульпа отличная, отличная! — с удовольствием растягивая букву «о», повторил Кузнецов. — Подготовочка сказывается.

Михайлов, в темноте смутно различая фигуру багера, скорее почувствовал, чем увидел, какая довольная улыбка сияла на его лице.

— Как же иначе, товарищ багер, — все закономерно, — сухо зато ответил Михайлов, считая, что ему, командиру судна, не к лицу проявлять преждевременную радость.

Когда они, привязав лодку, поднялись на борт земснаряда, Кузнецов, вдруг спохватившись, что он забыл сказать об этом сразу, сообщил, что к Михайлову пришла жена и ждет его в командирской каюте.

— Хорошо, спасибо, — поблагодарил Михайлов и, прежде чем подняться к себе, прошел в машинное отделение и в багерскую рубку, убедился, что на судне все идет своим порядком.

Анна Константиновна пыталась навести порядок на столе мужа, но от сильной тряски стопки книг все время съезжали в сторону, и когда Михайлов вошел в каюту, она перекладывала их с места на место.

В последние дни они виделись редко, потому что Михайлов часто ночевал на судне. Анна Константиновна готовилась стать матерью, и Михайлов всячески предостерегал ее от лишней ходьбы и физического напряжения. Но она пришла все-таки посмотреть, как пропустят воды Дона по новому руслу, хотела погостить и на закрытие прорана. Зная, какой значительной и необычной будет для мужа эта ночная вахта, она и пришла на земснаряд.

— Ну, как там, Виктор? Только рас-

скажи, пожалуйста, со всеми деталями! — попросила она.

Михайлов посмотрел на жену и внезапно сказал:

— Знаешь, даже жалко его немного. Так Дон-беднягу сдавили со всех сторон, такую гору земли наваливают... Зато по новому руслу Дон катит уже всю богатые свои волны.

Анна Константиновна слушала мужа, скрестив на груди полные загорелые руки, и, глядя на ее светлые гладкие волосы, на розовые, как у девочки, щеки и светлогривые, горящие напряженным вниманием глаза, Михайлов думал о предстоящих семейных переменах и о том, что не только Дон, но и судьба их двоих, экипажа, всей стройки входит теперь в новое прекрасное русло жизни.

Когда он через полчаса вошел в багерскую, за пультом стоял Супрун. Фреза разрыхлителя углубилась в грунт, земснаряд набирал густую и мощную струю пульпы, и черная стрелка вакуумметра дрожала около цифры «три атмосферы». Лицо Супруна, обычно спокойное, выражало сейчас внутреннюю сосредоточенность и напряжение.

— Ну, как он идет, Володя? — спросил Михайлов. — Как наш снаряд дышит?

— Дышит ровно и чисто, — сказал Супрун, энергичным кивком головы приглашая Михайлова взглянуть на приборы.

Кроме Супруна, в багерской находились еще Кузнецов и старший механик Акусок.

— Виктор Иванович, — сказал Акусок, — а ведь мы кубиков-то гоним куда больше проектной мощности. Вот что значит выжимать технику до дна!

Сверившись по приборам и сделав быстрые расчеты, Михайлов убедился, что механик прав и земснаряд подает в русло Дона более трехсот кубометров пульпы в час, превысив, таким образом, проектную мощность.

— Да, а что это доказывает, товарищи? Разве это не доказывает, — ответил Михайлов, — что работу выше проектной мощности на нашем земснаряде можно сделать постоянным законом? Вот хотя бы начиная с сегодняшней ночной вахты.

Супрун одобрительно махнул рукой. Он работал уже несколько часов, не чувствуя усталости, но когда Кузнецов попросил его позволить на несколько минут стать к пульту, он, понимая живнув, уступил товарищу место. Потом Кузнецова сменил Михайлов, а его — Акусок.

Время от времени подходя к телефону, Михайлов звонил диспетчеру главной конторы. Туда, в штаб гидромеханизации,

сходились все нити управления большим флотом земснарядов. В эту ночь мало кто спал.

— Вера Степановна! — взволнованно дышала в трубку, спрашивал Михайлов. — Ну как соседи?

— Успокойтесь, вы идете в числе первых, — говорила диспетчер. — А темпы сегодня небывалые. Все земснаряды работают на полную мощность. И вот сушу по тому, сколько они забирают электроэнергии, — просто уйму! По-моему, назревает рекордная выработка.

— Ну и отлично, Вера Степановна! — говорил Михайлов. — С чем вас и поздравляю!

Потом на земснаряд среди ночи несколько раз звонил Горин. Главный инженер вместе с начальником главка Шкундиным и другими неотступно находился у командного пункта на прсыраме.

— Каменная насыпь все выше поднимается из воды, — быстро говорил Горин, не ожидая вопросов начальника земснаряда. — Можете информировать весь экипаж. Дон уже не переливается через край, а только просачивается сквозь расщелины в камнях. Теперь нам легче замывать русло. Ваши пульповоды подают хороший грунт. Держать тот же темп!

— Есть держать тот же темп, Михаил Андреевич! — в тон ответил Михайлов.

В напряженной работе незаметно пролетела ночь. Предутренний холодок мелкими булавочками колот кожу, и в знобящем его дыхании уже чувствовались первые жесткие заморозки подступающей зимы.

Растирая пальцами холодные веки, Михайлов вышел на палубу. Земснаряд работал всю ночь, и впереди его носа зияла только что образовавшаяся большая грушевидная выемка в крутом берегу карьера.

Михайлов несколько минут молча смотрел на эту маленькую лагунку — наглядное свидетельство труда гидромеханизаторов — и потом взглянул на Супруна с тем чувством гордого удовлетворения, которому сейчас мог бы позавидовать человек, отыскавший новую землю или пролив.

V. ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Начальник земснаряда вошел в кабинет Горина как раз в тот момент, когда главный инженер заканчивал докладную записку в министерство о результатах замыва русла реки Дон. Горин кивнул на стул и попросил его извинить, продолжая быстро писать, но вдруг, искоса взглянув на Михайлова, положил ладонь на бумагу.

— Вам небезинтересно, — слушайте, Виктор Иванович! Мы уже, так сказать,

подвели общую черту, — сказал инженер, показывая глазами, чтобы Михайлов подвинулся ближе. Он прочитал вслух несколько строк, в которых коротко излагались поистине блистательные итоги этих дней.

Старое русло реки Дона было закрыто значительно раньше намеченных сроков. Проран в каменном банкете вместо предполагававшихся тридцати пяти часов отнял всего лишь девять, а замыв русловой части плотины строители закончили не в 26 сентября, а уже через два дня — 23-го, когда земляная гряда вышла из воды по всей ширине насыпи. Сто пятьдесят тысяч кубометров песка, которые уложили здесь земснаряды, образовали сплошную широкую полосу суши в том месте, где еще два дня назад бурлили глубокие воды Дона.

— Теперь с чистой совестью обрадуем Москву, — сказал инженер.

Выйдя от Горина, Михайлов забежал на минутку в диспетчерскую поговорить с Верой Степановной. Она сидела в конце продолговатой комнаты, у стола с телефонами и рацией, склонив гладко причесанную голову над большим листом, озаглавленным: «Суточный рапорт работы всех земснарядов».

Это была своего рода оперативная карта стройки, где каждая клеточка, взвешенная во времени, равнялась пяти минутам и каждые пять минут диспетчер мог оценить «боевую обстановку» на всех участках.

Сменные диспетчеры негласно соревновались между собой, кто больше запишет «кубиков», и поэтому Михайлов первым долгом взглянул в нижний угол «рапорта», где отмечалась выработка за смену, и потом просмотрел диаграмму работы своего земснаряда и соседей.

— Все смотришь, не обогнал ли кто? Комсомольцы — гордый народ. Ваше второе место пока незыблемо, — улыбаясь, сказала Вера Степановна, показывая Михайлову график выработки его земснаряда. — До выполнения годовой программы рукой подать.

Михайлов рассматривал график, когда в комнату вошла секретарша конторы и спросила, видел ли он новый приказ заместителя министра, в котором говорится о комсомольском земснаряде?

— Нет, не видел, а где он? — живо спросил Михайлов.

— Копии разослали по участкам, а вот оригинал, — сказала секретарша. — Хотите посмотреть?

— Да, конечно, — кивнул Михайлов и быстро пробежал текст приказа.

Это была одновременно и приветственная телеграмма, в которой министерство поздравляло коллектив 1-го участка с

успешным окончанием намыва карт в счет плана 1952 года. Заместитель министра призывал другие экипажи следовать примеру молодого новатора.

— Ну что ж, все правильно! — сказал Михайлов, улынувшись и отдавая телеграмму секретарше. — А до зимних морозов намоем всю плотину.

Мы шли с Михайловым с бывшего правого берега на левый. Это был знакомый район «битвы на проране», но там уже не стояла эстакада, и мы перешли через старое русло Дона, как и предсказывал Горин, «по суше», твердой земле намывной насыпи.

Потом Михайлов поднялся на мост бетонной эстакады.

Теперь земля под нами пылала гроздьями огней. Еще ниже сильно и вольно шел темносеребряный Дон по новому руслу, вытекая из котлована. Трудно передать всю величественность, поэзию и красоту

ночной панорамы гидроузла. Как зачарованные, стояли мы на мосту, чувствуя легкое кружение в голове не то от высоты, не то от светлого и окрыляющего восторга.

Казалось, стройке нет конца и световой пунктир ее границ тянется далеко-далеко к горизонту.

— Вот как закончим Волго-Дон в навигацию 1952 года, — тихо сказал Михайлов, — и поплывет армада наших земснарядов вверх по Цимлянскому морю, потом по судоходному каналу в Волгу, а затем в Сталинград, или в Куйбышев, или, может, вниз, в Каспийское море, и там на Туркменский канал. Вот что я говорил своему экипажу, когда мы только-только начинали здесь. Сколько же прошло времени? Меньше двух лет! А сейчас вижу: ведь это же не мечта, — это будет завтра. Готовиться уже пора!

Сентябрь — октябрь 1951 г.
Цимлянский гидроузел.

Л. МЫШКОВСКАЯ

Работа Гоголя над образом и словом

1

В горьком смехе Гоголя было столько взрывчатой силы, что, казалось, сразу упали все маски, все пышные покровы российской империи потускнели и рассыпались в прах все иллюзии, все парады, все фальшивое величие царизма.

Раны, нанесенные смехом Гоголя царизму и крепостничеству, были неизлечимы; это вынуждена была признать впоследствии и реакционная критика, изумившаяся прочности, неизбежности всего того, что сделано было Гоголем «в унизительном направлении». И действительно, как никто другой, он разбудил сознание страны, и в этом увидели величайшую заслугу его Белинский и Чернышевский.

Сила Гоголя как новатора была колоссальна, и выразилась она во всем. Целые пласты жизни, до того еще почти никем не тронутые, не вспаханные, оказались благодаря его творчеству достоянием литературы, освоенными ею. Новые темы, новые герои — целый новый мир с особым, глубоко своеобразным языком, тесно связанным с языком народным, предстал пред читателем; маленький человек во всех его разновидностях — и в столице, и в уездной глуши, и в провинциальном городе, со всеми типическими чертами эпохи, — все это широким потоком хлынуло вместе с творчеством Гоголя в литературу.

Зоркий глаз художника-гения впервые опустился на самое дно жизни, прилепился к ее мелочам, к повседневности со всей ее пошлостью и неприглядностью. И, как живое, все это встало под его пером, вылепленное во весь рост.

Новыми были у Гоголя не только его герои, их язык и все обличительное направление его творчества, — но и самый стиль, все художественные средства создания образа, вся неповторимая в своей оригинальности художественная система Гоголя. До сих пор, несмотря на протекшие сто лет, давшие так много великих имен, она остается удивительным по своей силе и грандиозности явлением русской литературы и культуры.

Для самого Гоголя творчество, созидание было подлинным служением народу и единственным делом жизни, которому он отдавался всем существом. Это было

своего рода подвижничество; и строгость Гоголя к себе, как писателю, была непомерна. Он чувствовал в себе «львиную силу», как он сам говорил, но, чтобы воплотить ее в художественные создания, требовался труд огромный и не меньшее терпение.

Им владела жажда совершенства, которая жгла его изнутри и не давала успокоения ни на минуту. Все сделанное редко удовлетворяло его. Гоголь «одарен орлиным стремлением к неизмеримой высоте», — писал об этой его особенности Чернышевский.

Гоголь хорошо сознавал, что он работает для грядущих поколений — на века, и не успокаивался до тех пор, пока сделанное им не превращалось в создание «плотное... сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа», — как писал он об этом сам. Два раза сжигал он рукописи второго тома «Мертвых душ», труд, в который он вложил столько лет жизни и о котором столько мечтал. Анненков писал, что «Мертвые души» (второй том) стали для него «той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до тех пор, пока не вынесли его бездыханным из нее».

Художник исключительной внутренней зоркости, с высоким представлением о своем писательском долге пред людьми и родиной, Гоголь был в то же время полон самых жгучих и трагических противоречий. С необычайной ясностью видя все зло общественной жизни своей эпохи и воплощая его в образы бессмертные, он одновременно не в состоянии был подняться до самых необходимых теоретических обобщений. Гигантски подтачивая своими произведениями все здание царизма и крепостничества, Гоголь — современник Белинского, а на деле и соратник его — не возвысился до мысли о необходимости освобождения народа от пут крепостничества. Рисуя зло, он не видел его общественных корней.

Вся поэтика Гоголя, вся система его художественных средств поражают внутренним единством, удивительной мобилизованностью всех элементов ее для достижения общей цели — разящей сатиры. Каждое из художественных

средств Гоголя — это как бы смертоносное орудие, которое безукоризненно служит целому — общественно-обличительной направленности всего его творчества, выполняя свою функцию с необыкновенным блеском.

К какому бы элементу произведений Гоголя мы ни обратились, везде встретимся мы с этим явлением — необыкновенным соответствием каждого из компонентов произведения идейно-художественным задачам целого и в первую очередь — созданию образов-типов сатирической направленности. Сюжет произведений Гоголя не является исключением из этого общего правила его поэтики.

Сюжеты большинства произведений зрелой поры творчества Гоголя отличаются особым своеобразием. В них нет и намек на тот сложный «лабиринт сцеплений» (множество событий, поворотов, потрясений, изменений в жизни и судьбе героев), который в большинстве случаев встречается у других писателей. Отличительная черта гоголевских сюжетов — это «беспришестствие», если так можно выразиться (гермин, употребленный Гоголем с другой целью), бессобытийность или, скорее, малая событийность. Однако это еще не самое существенное. Подобное положение можно встретить и в ряде произведений других писателей. Вся суть в том, что события, которые у Гоголя изображаются, «истории», которые происходят в жизни его героев, сами по себе, как правило, поразительны по своей мизерности, а порой просто анекдотичны. Тем не менее эти события, несмотря на свою незначительность, а порой и совершенную их нелепость, часто производят целые перевороты, страшнейшие опустошения в жизни героев Гоголя, а иногда уносят и самих «существователей».

За примерами ходить недалеко. Шитье новой шинели — целая революция в жизни Акакия Акакиевича. Гоголь рисует душевное состояние своего героя в это время самыми высокими словесными образами (светлый гость, подруга жизни, вечная идея шинели и т. д.). Когда же происходит решающее происшествие — кража шинели, то оно подрывает зыбкое существование героя. В «Старосветских помещиках» исчезновение кошечки становится причиной смерти Пульхерии Ивановны и сиротства Афанасия Ивановича; в «Повести о том, как поссорились...» слово «гусак», произнесенное одним из героев, становится причиной пожизненной тягбы, перевернувшей вверх дном все существование обоих, а в «Мертвых душах» прокурор умирает из-за толков о покупках Чичикова. Великий по этому поводу писал, что у Гоголя (в его повестях в особенности) все «начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами».

Нельзя не заметить внутренней, закономерной связи между особенностями

гоголевских сюжетов (малой событийностью и большей частью незначительностью и иллюзорностью самих событий) и характерами героев этих произведений.

У большинства гоголевских героев, по сути дела, нет биографии в обычном смысле этого слова. Жизнь их предельно убога и вся замкнута в их дремлом, растительном быту, так что бытие их бытом покрывается, не выходит за пределы его. Даже у лучших из них, по словам Гоголя, желания не перелезают за частокол их дома, за плетень сада. «Сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то: участвовал такой-то», — записывает о таком «событии» один из героев «Повести о том, как поссорились...» Само по себе это гротеск, но для изображения жизни и характеров этих двух персонажей такого рода подробностей как нельзя более на месте.

Своеобразие гоголевских сюжетов, особенности их, о которых мы говорили выше, диктуются самим характером героев этих произведений. В самом деле, разве мыслимо представить себе какое-либо яркое, интересное или выдающееся событие в жизни Манилова, Коробочки, двух Иванов из известной повести или старосветских помещиков? Допустить подобное — значит подорвать внутреннюю цельность образа, его художественную правдивость и весь его идейный смысл. Гоголевские сюжеты, обусловленные специфичностью характера героев, в свою очередь, в максимальной степени способствуют раскрытию этих характеров.

Герои со сложной психикой, с богатой душевной жизнью, деятельные, с серьезными интересами и страстями, не вмещающимися в тесный быт, несомненно, требуют и соответственного развертывания сюжета — событий и действий, где важнейшие черты их и проявились бы (серьезных случаев, испытаний судьбы, подъемов и падений и т. д.). Все это мы и наблюдаем у других писателей, а также и у самого Гоголя в тех произведениях, где такие герои появляются и где авторские задачи совершенно другого порядка (например, в «Тарасе Бульбе», где и события и люди поэтизируются и героизируются).

Выше мы сказали, что у большинства героев Гоголя нет биографии в том смысле, как это обычно понимается в отношении героев художественного произведения. Но вот о прошлом Чичикова и Плюшкина мы кое-что узнаем из авторского рассказа. Однако колеблет ли это наше утверждение?

В основу сюжета «Мертвых душ» положено событие фантастическое (как это часто встречается у Гоголя), которое, однако, помогает основной авторской задаче (через развезды Чичикова развернуть картины быта и показать галерею образов обличительного характера). Чичиков, являющийся в силу этого основным стержнем сюжета, фигурой,

вокруг которой располагаются остальные, уже вследствие особенностей своей «деятельности» (приобретателя-авантюриста) отличается известным образом от остальных героев. Сама его жизнь, стремление во что бы то ни стало, любым путем «приобрести копейку» ставит его в иные положения, нежели остальных героев «Мертвых душ». Он вынужден развезжать, идти на рискованные предприятия и легко может попасть, вследствие этого, в неожиданный переплет. Его похождения по своему характеру близки к похождениям героев-авантюристов в приключенческих романах, но они не носят столь бурного характера, ибо у Гоголя Чичиков и его проделки — не основная авторская задача, а только повод для художественного воплощения этой задачи (создания образов-типов). В этом смысле Чичиков, в отличие от большинства героев «Мертвых душ» и других произведений Гоголя, имеет своего рода биографию, хотя не так развернутую, как в приключенческих романах, и в то же время очень сильно отличающуюся от биографий героев в произведениях психологического характера.

Рассказ о прошлом Плюшкина уже иного рода. Этот рассказ нужен автору, чтобы объяснить обстоятельствами прошлого своего героя возникновение его маниакальной, пожирающей его самой страсти — скупости. Прошлое здесь имеет весьма отдаленное отношение к тому состоянию, изображение которого и является целью автора, это как бы предистория героя, а не самая история, т. е. цепь разнообразных событий, которую мы обычно встречаем после предистории в других произведениях. Плюшкин у Гоголя — фигура застывшая, никаким изменениям не подлежащая, как и большинство его героев. Поэтому нельзя говорить, что у Плюшкина есть биография в том смысле, как мы это понимаем в отношении героев художественных произведений.

Отсутствие биографии у героев Гоголя и создает отсутствие «сюжетности», весьма малую событийность и незначительность, даже подчас ничтожность событий в этих произведениях. Одно теснейшим образом связано с другим, и все происходит из основных задач Гоголя — его сатиры.

У Гоголя в большинстве случаев мы не встречаемся с эволюцией образа, явлением, часто наблюдающимся у многих писателей: герои в конце повествования, пройдя через ряд событий, кризисов, перемен и т. д., выглядят у них иными, чем в начале его.

В сатирических произведениях Гоголя мы не видим процесса постепенного созревания героев, медленного роста их, изменений в характере и судьбе. Герои Гоголя в большинстве случаев предстают пред нами совершенно готовыми, сложившимися — монументально изваянные, как отлитые из меди, — и такими остаются до конца повествования.

Об Акакии Акакиевиче Гоголь говорит, что он казался уже родившимся «в вицмундире и с лысиной на голове». Таковыми же кажутся большинство его героев — от начала и до конца произведения неизменными, с теми же свойствами, особенностями, привычками и ничтожными интересами.

В силу специфичности своих задач Гоголь не может ставить своей целью изображать характер многосторонне, с противоречиями чувств и эволюцией их. Особенно резко это выступает в его центральном произведении — в «Мертвых душах». Каждый из знакомых нам образов, при всей своей законченности, на деле обрисован в поэме лишь одной-двумя чертами. В одном дана скупость (и как следствие этой черты — подозрительность, недоверие ко всему), в другом — скудоумие (и вытекающие из него мелочность, скардность), в третьем — бессмысленная сентиментальность и т. д. Здесь нет разнообразия черт, сосредоточенных в одном характере, иногда даже противоречивых, как мы это замечаем у тех художников, задача которых — показать образ во всей его многогранности, в постоянном движении чувств и мыслей. Но, несмотря на минимум черт характера гоголевских героев, каждый из них — лицо совершенно живое, полновесное, кажущееся обрисованным всесторонне. Происходит это по той причине, что те немногие типические черты, которые воплощает в своих героях Гоголь, даны им с необычайной весомостью, резко, зримо, густо наложенными красками.

Мы уже вплотную подошли к проблеме создания образов у Гоголя. Остановимся на ней детальнее.

2

В «Авторской исповеди» Гоголь делает чрезвычайно интересное признание, относящееся непосредственно к его работе над образом. Он пишет: «Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я беру в уме своем весь этот прозаический существенный дряг жизни, когда, держа в голове своей все крупные черты характера, беру в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки (подчеркнуто нами. — Л. М.), которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши».

Признание это замечательно по своей верности и точности, — это как будто развернутая программа основных принципов создания образа у Гоголя. Сердцевина образа — крупные, иначе говоря, основные, типические черты характера, но образы не могут обрести плоть, сделаться живыми, полноценными, художественно правдивыми до тех пор, пока не предстанет во всех мельчайших подробностях «тряпье», т. е. все детали обстановки, жилья,

одежды героя — до последней пуговицы (вспомним фрак Чичикова — «брусничного цвета с искрой»).

В этом нет ничего случайного; здесь дело не только в свойствах художнического видения Гоголя, в его необыкновенном умении схватывать все детали внешнего, всего окружения человека, но и в особенностях самих героев, в специфически «гоголевской» физиономии их. Основная суть большинства их в том, что они приросли к своему быту, к своей обстановке, к узкому миру, их окружающему. Обломов говорил, что его нельзя оторвать от обстановки быта и привычек дома Пшеницыной, ибо он прирос к нему больным местом: оторви — будет смерть. Так именно обстоит и с гоголевскими героями: они также приросли к своему окружению «больным местом», т. е. духовным и нравственным убожеством, составляющим самую сущность их характеров. Если извлечь гоголевских героев из привычной внешней сферы их жизни, деталей обстановки, то они лишатся той атмосферы, которой дышат, той художественной опоры, которая составляет органическую часть самого характера, — герои окажутся в положении рыбы на суше. В самом деле, возможно ли представить старосветских помещиков вне их домика, наполненного соленьями, вареньями, сушеными грибами, или Коробочку — вне ее поместья со всеми типическими мелочами домашней обстановки? Они немислимы без этих атрибутов, являющихся неотъемлемой частью образа, составным элементом его, ибо быт гоголевских героев равносильна их бытию и в большинстве случаев им поглощается.

Пьера Безухова можно было изображать и без всяких деталей обстановки, а Собакевича и Плюшкина — невозможно, по той простой причине, что образ Безухова раскрывается пред читателем своим внутренним существом, сложностью и богатством своей духовной жизни, а Плюшкин и Собакевич — миром внешним, предметным, бытовым, куда устремлены все интересы, все желания их. Другого мира у большинства героев Гоголя и нет — ни любви, ни страстей, ни мечтаний — ничего такого, что выходило бы за пределы тесного мирка их быта. При таких свойствах этих героев совершенно естественно, что именно в нем и через него они больше всего и познаются. В этом и кроется причина непомерной роли вещного мира — предметности — у Гоголя, здесь и лежит ключ к этой проблеме его поэтики.

Предметное окружение героев Гоголя, вещи — у него не просто фон, где развивается действие, как у многих писателей; они у него часто те же обличители, одно из сильнейших орудий его негодующей сатиры. Вещи у Гоголя — не мертвая природа, они у него, как живые, обладают своей собственной физиономией, в совершенстве копирую-

щей физиономию-героев, владельцев их. Они говорят различными голосами (как мебель, как дрозд в комнатах Собакевича: «И я тоже Собакевич!», «И я тоже очень похож на Собакевича»). Иногда они вопиют, как знаменитая куча в жилье Плюшкина, которая до того страшна, что кажется, вот-вот она зашевелится и закричит во весь голос о нравственном падении и предельной опустошенности человеческого существа.

«Физиономичность» вещей у Гоголя потрясает. Каждая из них является как бы «зеркалом души» героя (если вообще допустить наличие ее у многих из героев Гоголя; что касается Собакевича, то сам создатель его в этом сомневается), двойником его, заранее разглашающим все его секреты, еще до того, как мы с ним познакомимся поближе. У Ноздрева, например, есть шарманка, замечательная шарманка, обладающая совершенно чудодейственными свойствами. У нее не все дудки в порядке, и, начав мазурку, она внезапно завершает ее песней «Мальбрук в поход поехал». Этакое необдуманное поведение ноздревской шарманки удивительно напоминает его собственное — он все делает внезапно, без всякой видимой причины: то подерется, то подругится, то наслетничает. И все это из одной лишь прирожденной прыти и юркости характера, как говорит о нем автор.

А поющие двери в доме старосветских помещиков! Гоголь до того оживил эти двери, наделив их различными голосами, что они воистину не подлежат забвению. В их хриплых басах, тоненьких дискантах, в их стонущих звуках («батюшки, я зябну», — поет дверь, выходящая в сени) так много теплого юмора, и так веет от них воздухом этого маленького, уютного, но сонно-дремлющего мирка, что мы на минуточку, как и сам Гоголь, погружаемся в него — и так отчетливо видим радушных хозяев, слышим их разговор о войне, о «политике», о вкусных блюдах и целебных свойствах различных настоек... И все это делают поющие двери...

Рисовать своих героев Гоголь обычно начинает издали — с пейзажа, с дороги, ведущей к их дому, и затем с живописи — изумительной — жилья их. Здесь каждый предмет у Гоголя отменно работает на образ в целом, являясь важнейшим компонентом всего характера, выражающим его основные типические черты:

«На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост... Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу...» Между ними «героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные...» «В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах; совершенный медведь. Стол,

кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства».

Кто же живет среди этих вещественных Собакевичей? Человек, весьма похожий на медведя «средней величины». И Гоголь начинает рисовать портрет своего героя — портрет, где каждый штрих, каждая складка одежды и все движения являются прямым продолжением живописи его жилья: дрозда в клетке, полководцев на картинах и всего прочего. Фрак на нем «медвежьего цвета», все исполинское, мешковатое. И движения его медвежьи: «ступнями ступал он вкривь и вкось и беспрерывно наступал на чужие ноги». Спина у него широкая, «как у вятских приземистых лошадей», ноги — «как чугунные тумбы, которые ставят на тротуары»; шей Собакевич «не ворочал вовсе, и, в силу такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь». К довершению картины Гоголь прибавляет, что цвет лица у Собакевича был «каленный, горячий, какой бывает на медном пятаке», а самое лицо «широкое, как молдаванская тыква».

Портрет как будто не только написан, но изваян. Собакевича не только видишь воочию, но, прочитав эти строки, так и хочется посторониться — не наступил бы на ноги, не произошло бы «беспокойства», как говорит в таких случаях Гоголь.

Физиономия Собакевича, как сообщает об этом автор, принадлежала к той породе лиц, «над отделкою которых натура недолго мудрила», не употребляла никаких мелких инструментов, «но просто рубила со всего плеча, хватила топором раз — вышел нос, хватила другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «живет».

Поразительно в этом портрете самое соотношение элементов — внутренняя слаженность всех черт, в совокупности и дающих внешний облик героя, абсолютно соответствующий его содержанию: мы уже знаем Собакевича всего, увидев со страниц Гоголя его живой и дышащий портрет.

Именно благодаря такому единству и создается характер. Здесь все компоненты образа обладают центростремительной силой — каждый штрих невидимо накапливает основное качество героя, так что в конце концов это качество, эта черта выступает с колоссальной силой.

К внутреннему единству образа Гоголь приближался, вытесняя все лишнее и акцентируя детали, которые работают на черту типическую.

Рукописи первоначальной стадии работы не сохранились, а в имеющихся можно заметить преимущественно стилистические правки. Так, в одной из редакций главы, где дан образ Собакевича, мы видим резкое стилистическое отличие от окончательного текста. В ней мы читаем: «Ступни его захватывали

такое большое пространство, что чужим ногам всегда становилось тесно. Цвет лица его был очень похож на цвет недавно выбитого медного пятака. Да и вообще все лицо его несколько сдавало на эту монету, такое же было сдавленное, неуклюжее; только и различия, что вместо двуглавого орла были губы да нос».

Если бы Гоголь в таком виде оставил описание внешности и движений своего героя, то образ Собакевича очень много потерял бы в своей художественной осязательности и правдивости. Такого рода фраза, как «ступни его захватывали такое большое пространство, что чужим ногам становилось тесно», еще решительно ничего не говорит. Но когда Гоголь вместо нее вставил: «ступнями ступал он вкривь и вкось и беспрерывно наступал на чужие ноги», то Собакевич словно вышел из тумана и предстал пред нами весь, — мы точно видим это движение его. Благодаря такой характерной для всей этой фигуры детали (очень уж она «идет» ко всему облику Собакевича), образ приобрел удивительную осязаемость.

Не в меньшей мере выиграл окончательный текст и от последующей правки Гоголя, когда он вместо нескольких длинных, вялых, ничего не выражающих фраз вставил одну короткую, ударную, навсегда запоминающуюся: «цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке». Сколько иронии и сарказма в этой образности Гоголя, в этих унижительных эпитетах и сравнениях, и как выиграл портрет Собакевича, приобретает такое «родимое пятно»! В таких правках и происходит «вылушивание», «снятие покровов», как называл это Толстой, т. е. освобождение образа от шелухи, от всего заглушающего и обнажение его ядра — черт важнейших; в результате и получилось то, что Гоголь называл «созданием плотным».

До сих пор мы рассматривали два компонента образов Гоголя: мир предметный (окружение, обстановку, жилье) и портрет героя. В других составных элементах их (в поведении и языке героев) мы встречаем тот же принцип внутреннего единства.

Нет никакой надобности подробно останавливаться на поведении Собакевича, на поступках его, где в каждом шаге видны черты типические. Все это общеизвестно, но нельзя не отметить, что каждый поступок его находится в полном взаимодействии со всем остальным, исподволь наращая основные свойства характера (грубость, обжорство, повадки кулака).

Речь Собакевича, сама интонация его голоса чисто «собакевические», типические. Говорит он резко, отрывисто, с бранью отзываясь обо всех и обо всем. «Разбойник», «мошеник», «Гога и Магога», «дурак», «свинья»... «Толкуют — просвещенье, просвещенье, а это про-

свещенье — фук» — таков тон и стиль речи Собакевича. Все это как нельзя более идет в унисон и с его портретом, и с обстановкой, и всем поведением его.

Говоря о своих героях, таких невзрачных, Гоголь в то же время подчеркивает, что физиономия у каждого из них своя. И действительно, как разнообразны и разноголос этот мир, населенный гоголевскими комическими героями!.. Своим образом, исключительная индивидуализация характеров, столь примитивных, особенно выступают в «Мертвых душах». Это выражается не только в различии поведения каждого из них в своем быту, но и в том общем деле, которое касается всех — в продаже мертвых душ Чичикову. Замечательно, что на эту сделку каждый из героев Гоголя реагирует по-своему.

Сентиментальный Манилов, кулак Собакевич, Ноздрев, дубиноголовая Коробочка — все эти незатейливые герои различно ведут себя в одном и том же деле. Это делает их лица видимыми, осязаемыми.

В процессе создания образа у Гоголя чаще всего акцентируется, выделяется тот или иной компонент его (в соответствии с особенностями героя): в одном — окружение, мир предметный, в другом — поведение, в третьем — язык. В Акакии Акакиевиче — поведение, положение его среди окружающих, в Плюшкине — обстановка, в Ноздреве расширенной, полней, чем у других героев, дана его речь. Все это обусловлено авторской задачей в каждом из данных случаев.

В образе Акакия Акакиевича наиболее важно показать убогость положения героя повести, бедственность его жизни (вспомним, ценю каких лишений и голода готовит он себе новую шинель), отношение к нему чиновников и т. д. В Плюшкине на первом плане — изображение его нравственной опустошенности, одичания, потери человеческого облика, и здесь особую роль играют детали обстановки, которые, как мы уже указывали выше, в полной мере являются у Гоголя двойниками души героя. Неудивительно поэтому, что образ Плюшкина начинает расти на глазах читателя — с изображения дороги, ведущей к его усадьбе, с бревенчатой мостовой, где бревна, как фортепианные клавиши, поднимаются то вверх, то вниз, с полуразрушенных крестьянских изб, на которых «крыши сквозили, как решето», с дома его, который глядел «дряхлам инвалидом», и с различных мелочей жилья Плюшкина.

В образе Ноздрева, любителя лихо покутить, сыграть в картишки (и не совсем чисто), страстного охотника до всяких сборищ и ярмарок, — словом, человека «с задором», как отзывается о нем Гоголь, автор особенно внимательно останавливается на поведении его в различных случаях, с необычайной яркостью отражая его в языке своего ге-

роя (Ноздрев не только действует, но и рассказывает о делах своих со всеми подробностями и со всей роскошью красок).

Не обходит Гоголь и обстановки Ноздрева (описание его дома, где маляры всегда что-то красят, то начиная, то бросая работу, его псарни и т. д.). Но дело в том, что Ноздрев, не в пример многим другим героям Гоголя, — человек «общественный»: дома ему не сидится, его постоянно так и тянет быть на миру, затеять какую-нибудь драку, скандал, — словом, «историю» (человек «исторический», говорит о нем Гоголь). Совершенно естественно, что при обрисовке такого характера Гоголь пространней всего останавливается на этой, самой типической стороне его, что ярче всего и выражается в поступках и в речи.

Язык героев в сатире Гоголя играет роль первостепенную. Исключительная индивидуализация языка и интонации их уже издавна привлекали внимание исследователей. Несомненно, что среди всех художественных средств создания образов у Гоголя язык героев — самое мощное орудие его.

Языку Гоголь, как и Пушкин, а затем и Толстой, учился у народа. Все тонкости, все оттенки народного языка, все блестящие народного юмора постоянно привлекали внимание Гоголя. Он не раз на веку своим ездил по Руси, не имевшей тогда еще железных дорог, и в своих странствиях, дорожных встречах, соприкосновениях с различными людьми жадно прислушивался к языку народа. В свои записные книжки он вносил все, что казалось ему особенно заметным, выразительным или что было ему мало знакомо.

Кроме отдельных слов и выражений, подслушанных из живого разговора, Гоголь неоднократно вносит в свою записную книжку и различные сценки, в которых народная речь, отдельные словечки, весь юмор ее казался ему стоящим внимания. Исследователь стиля Гоголя выпишет такую сценку из его записной книжки:

«Обоз едет, мужик остановился и кричит —

— Сенька!

— Що?

— Скажи моей кобыле: тпру!

— Нерзля.

— Да шо ж нерзля?

— Кроха у ртю»¹.

В этой сценке Гоголя, очевидно, привлекал не только комизм, но и своеобразие слов и оборотов речи («кроха у ртю»). Записывает он также и такой краткий диалог:

« — Да что ж ты, сват, к нам того?..

— Я было того, да жена то тае. Я так уж и ну!..»

¹ См. И. Мандельштам. О характере гоголевского стиля, 1902.

Все это очень напоминает речь Акакии Акакиевича, изъяснявшегося чаще всего одними местоимениями: «А я, брат, того, Петрович... Как же этак право того!..»

Гоголь в свои записные книжки вносит множество слов из различных отраслей быта: названия различных блюд, отдельные из которых были затем использованы в «Мертвых душах» (название блюда «няня» за обедом у Собакевича), термины карточной игры — «семпель», «загнуть утку» и др. (последнее встречается в речи Ноздрева), собачьи клочки, которые мы встречаем в «Мертвых душах» (Густопсовы, Брудастые, Чистопсовы и Стрела, Обругай, Скосырь и т. д.), обозначения различных пород леса, термины рыболовов и охотников, названия птиц и зверей, множество бранных слов и словечек.

Народная речь со всеми своими особенностями, со всей остротой и юмором хлынула широким потоком в его творения, она так и блещет и сверкает и в языке героев и в языке авторском. Это удивительное знание языка народного, умение постоянно пользоваться всем богатством его красок, оттенков и форм давали Гоголю возможность бесконечно разнообразить речь своих героев и этим выставлять все особенности характера каждого из них. Язык Ноздрева — ярчайшее тому доказательство.

В речи Ноздрева, в его разговорах с Чичиковым Гоголь с небывалой полнотой и рельефностью раскрывает этот образ. Всевозможные оттенки, все тонкости, все богатство языка и народно-разговорной речи и весь блеск гоголевского юмора невольно привлекают внимание к этой удивительной речевой характеристике. Язык Ноздрева — самая поразительная смесь разнороднейших элементов. В нем мы встречаем и комически бранные слова, и разнообразные обороты простонародной речи, и наряду с ними слова французские, очень часто своеобразно искаженные, и особо изысканные словечки рядом с бранью. Словарь, вся лексика ноздревской речи восхищают своей яркостью, свежестью и пестротой:

«А я, брат, с ярмарки... продулся в пух... Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков — просто все спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов... Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни.. как покутили! Теперь даже, как вспомнишь... чорт возьми! — говорит он Чичикову, рассказывая о всех подробностях времяпровождения на ярмарке. — Штабс-ротмистр Поцелуев — такой славный! Усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой... Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико матрадура... бонбон. Запах? — розетка и все, что хочешь...»

«Просадил», «убухал», «продулся»,

«крутнул фортунку», «поддеюлил» в речи Ноздрева отлично сочетаются с «клико матрадура», «шампаньон и бугоньон», «рющи и трющи» и с таким шедевром как — «девушка... — чудо-коленкор».

Брань и вранье Ноздрева выражены с не меньшей живописностью. Тут в его речи встречаем всевозможные перлы: и «фетюк», и «Софрон», и «скалдырник» (последние два слова попали сюда из записной книжки Гоголя), и «ракалия», и «скотовод», и др.

Поразительно быстры переходы Ноздрева от одного предмета к другому: от рассказа о кутеже на ярмарке — к породистому щенку, к русакам, из-за множества которых «земли не видно», от разнообразных предложений обменного характера — к картам:

«Вон она! Экое счастье! — говорит он Чичикову, метая колоду карт и подзадоривая его к игре — ...так и колотит! Вот та проклятая девятка, на которой я все просадил! Чувствовал, что продаст, да уже зажмурил глаза, думаю себе: «чорт тебя поberi, продавай, проклятая!»

В речи Ноздрева в одинаковой мере замечательно и что он говорит, и как он говорит. Самые темы его разговоров, и словарь, и интонация в каждом отдельном случае удивительны по своей характерности.

Быстрога его речи, постоянные восклицания, бранные прозвища, легкость переходов от одного тона к другому, резко противоположному (то дружеский, то грубо-бранный), и весь безостановочный поток его речи — все это, как и самые действия Ноздрева, в которых неожиданность всегда на первом плане, с совершенно необычайной выразительной силой дают почувствовать (почти физически) всю фигуру его.

«Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей богу скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор!» — говорит он на балу Чичикову. Так лестно стозвавшись о нем в обществе, Ноздрев тут же объявляет себя лучшим другом Чичикова и лезет к нему с поцелуями: «Позволь, душа, я тебе влеплю один безе».

«Скотина» и «безе» в речи Ноздрева идут рядом, мирно уживаясь и бросая яркий свет на весь характер.

Не только Ноздрев, но и сам Гоголь, говоря о своем герое, не раз прибегает к остро выразительным словам и оборотам народно-разговорной речи: «захлебнув куражу», «нагадит», «насадивал», «нарежется в буфете», «уж начал пули лить» и т. д.

Как мы уже указывали выше, индивидуализация языка героев играет у Гоголя роль первостепенную. В образе Ноздрева она особенно виртуозна. Его широко развернутая в «Мертвых душах» речь является как бы органическим сплавом, состоящим из самых разнородных и далеко отстоящих друг от друга элементов, — сплавом, в котором

преобладающий элемент народно-разговорный.

Редкое соответствие языка Ноздрева всему его поведению, как и совершенное соответствие интонации его голоса всему его темпераменту, и является одной из важнейших причин такой изваянности, чисто скульптурной осязаемости его образа.

Не менее выразителен язык женщин у Гоголя. «Какой веселенький ситец!» — восклицает одна из дам губернского города — «дама приятная во всех отношениях», «— это такое очарованье, которого, просто, нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой, и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки... Словом бесподобно!» — говорит другая дама. Комический пафос этой речи, тон восхищения не оставляют даму ни на минуту, когда она говорит о таком волнующем предмете. Повторения и восклицания, как признак глубокой заинтересованности, создающие интонацию этой речи, так отчетливо рисуют дам губернского города, что, пожалуй, никакое пространное описание не могло бы дать этого полней.

У жены городничего свои мечты: «Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице, и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти, и нужно бы только этак зажмурить глаза (зажмуривает глаза и нюхает). Ах, как хорошо!»

Этим «амбре» и «зажмурить глаза» сказано все. Городничиха со всем кругом ее представлений о «светскости» и «столичности», с ее желаниями и стремлениями видна вся с головы до ног.

Гоголь, редко прибегающий к иностранным словам, порой наиболее комические реплики с иностранными словами вкладывает в уста женщин: «Ах, какой реприманд неожиданный!» — восклицает одна из дам в «Ревизоре», когда из письма Хлестакова к Тряпичкину все выясняется.

Иначе говорят у Гоголя женщины из другой среды. Унтер-офицерская вдова в «Ревизоре» изъясняется с немалой выразительностью: «Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня, да так отпартовали: два дни сидеть не могла... А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться».

Так различно — каждая по-своему и каждая о своем — говорят женщины у Гоголя, и лицо каждой из них обрисовывается в самых кратких репликах, исполненных необычайного комизма и чисто гоголевской остроты.

3

Повесть «Старосветские помещики», которую Белинский назвал «слезной комедией», по своему художественному

построению во многом отличается от ряда других произведений Гоголя: она лирико-комическая по своему характеру — особенность, являющаяся выражением двойственного отношения Гоголя к ее героям. С одной стороны, мы видим здесь комическое изображение «низменной», «буколической» жизни двух стариков — младенцев по своему умственному уровню и отдаленности от жизни, а с другой — глубокою жалость к этим добрым и невинным старым детям и печальному концу их. В отличие от большинства героев Гоголя у них сверх их обычных всепоглощающих интересов чисто растительного существования есть и настоящее человеческое чувство — глубочайшая привязанность друг к другу вследствие многолетней привычки. По этой причине во всех элементах повести, в особенности в авторской интонации ее, отчетливо выступает не только гоголевский юмор, его ирония, но и лиризм, человечность писателя, его скорбь о людях.

Первая часть повести посвящена изображению их «старосветского» патриархального быта, с отсутствием всяких забот, кроме одной — сущения, варения, соления, изготовления всяких блюд и наливок, и отсутствием всяких занятий, кроме еды, заполняющей всю их жизнь.

В изображении быта двух старичков, в тех художественных деталях, к которым Гоголь здесь прибегает, видна черта, не часто встречающаяся в других его произведениях, — обилие теплых красок и теплого юмора, обусловленное отношением автора к героям повести. В изображении их дремотного быта, чуть ли не восьмикратной еды в день, домика с жарко натопленными комнатами и «забот» Пульхерии Ивановны, на которой лежало «все бремя» правления хозяйством, — во всем этом какой-то особый колорит. Самый смех Гоголя в этой повести — не тот знакомый нам гоголевский смех, горький и безжалостный, срывающий все покровы и рисующий все бездушие и низость окружающего, а смех и сострадание одновременно. Глубокий лиризм наряду с юмором пронизывает всю повесть.

Отношение Гоголя к героям этой повести видно во всем, во всех художественных компонентах ее.

Выше мы говорили о вещах-обличителях, как в зеркале отражающих всю внутреннюю сущность пустых душ владельцев их. Атрибуты жилья и быта двух гоголевских старичков также с удивительной полнотой рисуют их самих, но здесь вещи не обличители, а только свидетели. По ним, по этой удивительной живописи быта, можно прочитать всю бесхитростную, лишенную каких бы то ни было серьезных человеческих интересов жизнь героев.

Покоем и беззаботностью дышит все окружение старичков. И здесь, как обычно, Гоголь начинает не с самих

действующих лиц, а с двора, сада и всего антуража жилья. Низенький домик, галерея из почернелых деревянных столбиков, душистая черемуха, ряды фруктовых деревьев, «потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив», развесистый клен и ковер под ним для отдыха, протоптанная дорожка от амбара до кухни...

Удивительной поэзией насытил Гоголь все углы жилья своих старичков, рисуя их с тем чувством любви и нежности, которое испытывает человек к милым предметам, окружавшим его в детстве и давным-давно исчезнувшим. «...Длинношейный гусь, пьющий воду, с молодыми и нежными, как пух, гусятами: частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок... воз с дынями... отпущенный вол, лежащий возле него — все это для меня имеет неизъяснимую прелесть», — пишет Гоголь, вспоминая далекое прошлое. Даже в соба-чем лае, который поднимали «флегматические барбосы, бровки и жучки», слышалось что-то приятное, рассказывает он. Во всем этом и в таких подробностях окружения и внутренности домика, как «ленивый вол», «флегматические барбосы» и поющие «на разные лады двери, читатель еще до того, как узнает обитателей, уже чувствует всю неторопливую, тихую, но до ужаса растительную жизнь их.

И портрет героев, и неизменность распорядка их жизни, постоянное закусывание, сон, встреча гостей, радушие хозяев и обстановка — все это составляет основу первой части повести, исполненной комизма. Сама речь героев, отношение их друг к другу, к гостям — все это выдержано в духе теплого юмора.

Но вот быт героев и они сами, вросшие в него, показаны читателю. Мы слышим их голоса и видим все морщины на их лицах, мы уже так хорошо знаем их... И вот здесь наступает перелом. Смешная, комическая история закончена, и начинается другая — грустная и драматическая, как ни далеки сами герои повести от понятия драматизма. «Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка», — пишет Гоголь.

Замечательно, что в первой части повести, где речь идет о растительном быте, о еде и питье, в лепке образов исключительно место занимал, как обычно у Гоголя, мир предметный, данный со всей художественной конкретностью. Во второй же части, когда в его героях из-за неожиданно ворвавшегося в их тихую жизнь несчастья проявляются истинные человеческие чувства (страх и скорбь за близкое, самое дорогое существо), Гоголь оставляет мир вещный и воссоздает душевное состояние своих стариков путем непосредственно психологическим: он рисует волнение, страда-

ния и жаркую печаль их совершенно так же, как мы это видим у других писателей, имеющих своей задачей не сатиру и иронию, а сострадание и стремящихся показать внутреннее существо человека в самые трудные минуты его жизни.

Предсмертный разговор Пульхерии Ивановны с Афанасием Ивановичем и ключницей, на которую она возлагает обязанность заботиться о нем после смерти своей, ее мольбы, просьбы и даже угрозы со всей ясностью свидетельствуют об этом. В этих небольших сценах с огромной силой выражена вся сердечная скорбь умирающей не о себе, а «о бедном слутнике, с которым провела жизнь, и которого она оставляла сырым и бесприютным», вся сила чувства, пред которым даже смерть бессильна, вся боль сердца человеческого. Обнажение его в самые страшные минуты, совершенное художником, поражает высотой художественного психологизма. Это предсмертное обращение героини в своей удивительной трогательности, в полном забвении себя и совершенной устремленности всех чувств и помыслов к другому существу является таким большим художественным обобщением, какое мы встречаем только у величайших мастеров художественного психологизма.

Недаром Белинский так восхищался «Старосветскими помещиками», говоря, что вся прелесть их в том, что, изобразив двух стариков, «две пародии на человечество», которые только и делали, что ели и пили, пили и ели, а потом умерли, Гоголь заставляет читателя проливать слезы над ними, жалеть и скорбеть о них.

«Сначала смешно, а потом грустно. И такова жизнь наша: сначала смешно, а потом грустно», — писал он, говоря о глубокой жизненной и художественной правде этой «слезной комедии».

И реакция Афанасия Ивановича на кончину его верной спутницы показана Гоголем с не меньшей силой психологического раскрытия. Его печаль так велика, что он не в силах высказать ее в слове, в жалобе, в сетовании. Он произносит несколько незначительных слов, нечленораздельных, и его долгая, незатаившая боль выражена лишь немногими восклицаниями, жестами:

«— Вот это то кушанье», — сказал Афанасий Иванович... «это то кушанье», продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выгнаться из его свиновых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...» и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчной точущий фонтан лились, лились ливмья...

Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце».

Толстой говорил, что существуют «умные» приемы, к которым прибегают писатели, когда сильные чувства, большие потрясения своих героев выражают не словом, а жестом или чем-то недосказанным, и читатели сами догадываются, что происходит с героями в эти минуты, — и тем сильнее воздействие этого приема. Сам он не раз прибегал к таким.

«Вот это то кушанье... Это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...» Невыговоренное слово, дрожь в голосе, рука, упавшая на тарелку, и плач дитяти — это, по сути дела, тот же самый умный прием, о котором говорит Толстой.

Кроме комических героев и комических событий, которые изображает Гоголь в своих обличительных произведениях, у него, как известно, есть герои и события совершенно иного порядка, как, например, в «Тарасе Бульбе» (на что мы указывали выше). Замечательно, что приемы художественного мастерства в связи с задачей героизации и поэтизации центральной фигуры повести и ее окружения здесь совершенно иные. В противовес обычному все внимание автора здесь сосредоточено не на вещном мире, а на показе душевных импульсов Тараса, его устремленности к подвигу, презрения к благополучной, сытой, но бездеятельной жизни.

Характерно в этом смысле уже начало повести.

«Тарас Бульба» начинается, как известно, со знаменитой сцены кулачного соревнования отца с только что подъехавшими к дому молодыми сыновьями, вернувшимися из бурсы. Изображение самого дома, внутреннего убранства его дано позже, и ему уделено места очень немного: предметы, украшения его описаны чуть-чуть, и не живут, не говорят, как в доме Плюшкина или Собакевича. Портрета Бульбы, сколько-нибудь подробного, здесь вовсе нет (что является обязательным компонентом образа в большинстве других произведений Гоголя). Все развитие сюжета сосредоточено на сильных душевных движениях героев и их действиях.

Уже первые сцены в этом отношении разительны. Безмолвная ночная сцена прощания матери с сыновьями накануне ухода их в Сечь создана чисто психологическими средствами — раскрытием ее чувства и мыслей...

«Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она взростила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! Что будет с

вами? Что ждет вас?» говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо... Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими».

Для большей полноты психологической характеристики Гоголь привлекает и ночной пейзаж:

«Месяц с вышины давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих, и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше».

Как обычно в таких пейзажах, функция которых и состоит в том, чтобы способствовать раскрытию душевного состояния героя, различные мотивы из жизни природы перемежаются с ощущениями человеческими, тем самым особенно акцентируя, выделяя их.

Психологическое раскрытие душевных движений является важнейшим средством создания образа в этой повести (то, чего мы вовсе не видим в других произведениях Гоголя, где идейно-художественные задачи автора другие). Старый Бульба, который просит запорожцев заманить Андрия, встреча их, Остap на площади перед казнью и возглас его: «Батько! где ты? Слышишь ли ты?», ответ Тараса: «слышу!», и момент, когда он наклоняется, чтобы и «люлька не досталась» врагам, и гибнет, — все эти проявления внутренней жизни натуры героической даны Гоголем средствами чисто психологическими. Огромную внутреннюю силу своих героев Гоголь рисует здесь скупыми деталями — односложными словами, движениями, жестами, оставляющими глубокий след в сознании читателя.

Все это с очевидностью свидетельствует о теснейшей внутренней связи между художественными средствами обрисовки образов у Гоголя и идейной направленностью каждого из его произведений; различие авторских задач, а следовательно, и характеров героев обуславливает и различие этих средств.

4

Выше нам пришлось по ходу анализа задеть и проблему пейзажа, однако вопрос этот требует более детального исследования.

Как у всякого большого художника, пейзаж у Гоголя несет самые разнообразные и сложные функции. У Гоголя — сатирика по преимуществу — и пейзаж, само собой разумеется, не мо-

жет не служить смеху его — столь характерному, в котором одновременно сочетаются комизм и грусть. В таких пейзажах мы действительно и встречаем оба элемента его обжигающего смеха, и сами пейзажи как пельза ярче рисуют отношение автора к своим героям и все-му бытию их.

Именно такого рода сатирический пейзаж мы находим при изображении дороги Чичикова к Манилову и самой усадьбы:

«Едва только ушел назад город, как уже пошла писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие, жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкой похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами, с разными деревянными под ними украшениями, в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами, в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели с верхних окон; из нижних глядел теленок, или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные».

Вслед за этим дан пейзаж усадьбы Манилова:

«У подошвы этого возвышения, и частично по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы... Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени: везде глядело только одно бревно. Вид сжвляла две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестяла попявшаися плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням».

Как мало напоминают оба эти пейзажа (и по настроению автора, по отношению его к окружающему) его знаменитые лирические пейзажи в «Тарасе Бульбе», в «Старосветских помещиках» и даже в тех же «Мертвых душах» и как различно дышит сама природа в них!.. Если там вся роскошь трюсок, сияние неба и солнца, то здесь только бедность, да серость, да мрак — «чушь и дичь», «виды известные»; завершающий, почти символический штрих к ним — слепая морда свиньи.

Трудно резче, сильнее и выразительней высказать через пейзаж всю горечь

своего отрицания действительности, чем это сделал здесь Гоголь. Каждая деталь и каждый момент в этом пейзаже — грустная ирония великого художника (изорванный бредень с двумя раками, картинно подтыкавшиеся бабы, серовато-скучный цвет леса и дня...)

Как при изображении своих героев, так и в своих сатирических пейзажах Гоголь пельзуется предметной живописью для акцентирования своего отношения к изображаемому. И здесь и там вещный мир равно весомо служит горькому смеху Гоголя. Каждая подробность, каждый предмет в таком пейзаже придают определенное освещение всей картине, являющейся как бы прологом к дальнейшему изображению нравственной физиономии героя и всего бытия его. Сатирический пейзаж у Гоголя, таким образом, по-своему и с немалым успехом работает на создание характеров-типов, совершенно так же и с такой же целеустремленностью, как и другие компоненты его произведений.

И в «Повести о том, как поссорились...», в конце ее, после того как рассказана история многолетней тяжбы двух ее героев, Гоголь в заключении дает пейзаж, в котором изливает грусть, охватившую писателя после последней встречи его с состарившимися героями, все еще ждущими ответа суда на свою комическую тяжбу:

«Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодой, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень — творение скучных, беспрерывных дождей, покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы старухе... Я въехал в главную улицу: везде стояли шесты с привязанным сверху пучком соломы: производилась какая-то новая планировка. Несколько изб было несено. Остатки заборов и плетней торчали уныло».

Такова картина при въезде в Миргород, столь характерная для Гоголя, для горькой иронии его, — эти шесты «с пучком соломы», свидетельствующие о «новой планировке»; и здесь, в этом печальном пейзаже, отдельные предметы, как необходимые выразительные пятна в картине, важны для всего колорита его.

Еще острее сарказм Гоголя, когда он рисует осенний пейзаж при въезде из Миргорода:

«Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук... Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без

просвету` небо. Скучно на этом свете, господа!»

Такого рода пейзаж, где каждая деталь плачет, и нужен был Гоголю как ступень к заключительному возгласу. Этот пейзаж по функции своей, по глубокости скорби, в нем заключенной, выраженной унылыми красками осени в беспросветном болоте Миргорода, и существует для Гоголя, как последняя точка, как отзвук его невеселого смеха в этом грустном, по сути дела, рассказе.

В середине повести Гоголь также дает пейзаж небольшого провинциального городка своего времени, и хотя в нем сарказма не меньше, но авторский тон в нем иной — тон комического пафоса, после чего очень часто и следует уже ничем не прикрытая грусть, вызываемая всей изображенной им действительностью (как мы это и видим в конце этой повести).

«Чудный город Миргород!.. направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь! плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или напяленную плахтой, или сорочкою, или шароварами... Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа!.. Прекрасная лужа!»

Нет надобности пространно доказывать, что такого рода пейзаж, полный яда, является в такой же степени убийственной сатирой на современную Гоголю русскую действительность, как и сами герои этой повести.

Замечательно, что в этом открыто саркастическом пейзаже Гоголь, как и при обрисовке жилья своих героев (также преследующей сатирическую цель), прибегает к детальной и обильной предметности (горшки, шаровары, плахта, сорочка) — и все это в пейзаже, и каждая вещь здесь — стрела его беспощадного смеха.

Но Гоголь знает и другие цвета, другие краски в своих пейзажах, где так тепло и светло, где везде солнце, даже в дождь. Такие греющие, полные внутреннего света пейзажи, исходящие из сердца писателя, встречаем мы чаще всего там, где отношение его к героям другое.

Такой пейзаж есть и в «Старосветских помещиках»: «...и если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет древней, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскую темную ночь, глядящую из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, солоньем, обладающим сад, дом и даль-

ную реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!»

Не трудно заметить из всего выше-приведенного, что большинство пейзажей у Гоголя, как грустно-сатирические, так и приподнято-лирические, отличаются открытой субъективностью: они чаще всего даны как непосредственно авторские ощущения, от его лица, как его воспоминание, чувствование, переживание былого. В лирических пейзажах Гоголя в «Мертвых душах» этот момент субъективности выступает особенно остро.

Большинство таких пейзажей, включенных в его так называемые лирические отступления, является как бы авторской исповедью, задушевным разговором писателя с читателем — разговором, тесно связанным со всем ходом мыслей его о самых различных предметах: здесь и сотования, и уныние, и пафос, и надежда, и вера в будущее. Авторское «я» в «Мертвых душах» играет не меньшую роль, чем авторское — в «Евгении Онегине». В гоголевской поэме оно является важнейшим внутренне цементирующим стержнем ее, связующим отдельные разрозненные элементы. Пейзаж очень часто входит в эти лирические отступления как органический компонент их.

В таких пейзажах строй речи во многом отличен от других пейзажей. Лексика здесь то и дело приподнятая, возвышенная, со славянизмами, фраза широко развернутая. Однако в лирико-патетический строй речи у Гоголя здесь неоднократно вливается и другая струя, органически свойственная ему, — народно-разговорная (иногда даже грубоватая), создавая резкие перебои — моменты, сдерживающие, умеряющие напряженную патетику авторского монолога:

«И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественно властью осветились мои очи... У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь, с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка».

Высокий строй речи, как это не раз встречается у Гоголя, неожиданно обрывается, весь ритм ее внезапно меняется. Но через несколько мгновений — снова прежнее лирическое течение речи, со всеми характерными ее особенностями.

«— Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове дорога! и как чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенние листья, холодный воздух... Покрепче в дорожную шинель... Кони

мзатся... как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся: и «не белы снеги», и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Пронюлся: пять станций убежало назад, луна, неведомый город, церкви с старинными куполами... нигде ни души — все спит... А ночь! А небесные силы! Какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!»

Мы привели этот удивительный по своему лиризму и пафосу пространный пейзаж со многими пропусками; завершается он взволнованным авторским признанием, задумчивым разговором с читателем: «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез».

Как всегда в таких случаях, пейзаж все время переплетается с авторскими признаниями, с исповедью писателя; они, в сущности, неотделимы друг от друга. И в этом функция и смысл таких лирико-пафетических пейзажей, где Гоголь-художник раскрывает себя, обнажая свою душу перед миром; это пейзаж-исповедь, и в этом чаще всего и его художественное назначение.

Теснейшая взаимосвязь языка народного с лирически возвышенным видна в этом удивительном пейзаже на каждом шагу, почти в каждой фразе; везде мы видим эти переходы, вернее, сочетания, вклинивание одного строя лексики в другой, вместе образующих единый чудесный поэтический сплав. «Мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке — что до них? А ночь, небесные силы! Какая ночь совершается в вышине...» Или: «Полегче! легче!» слышишь голос; телега спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд... как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке... Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога!» Такие противоположности все время идут рядом, как две органические стихии языка и стиля Гоголя, сливающиеся воедино и создающие невиданную музыку его речи, в которой слышны самые разнообразные, самые отдаленные друг от друга голоса жизни.

Все эти явления, несомненно, связаны с особенностями реализма Гоголя — его постоянным вниманием к прозе жизни, к ее мелочам и будням, которые он то и дело возводит до величайших чудес поэзии. Даже в моменты самых высоких взлетов он не забудет «низкой», как это тогда называлось, действительности, и она, сияя всеми красками,

входит как равноправная на Олимп его поэзии. Это свойство Гоголя несбыковенно ценил Белинский, постоянно защищавший его от обвинений в грубости и физиологизме и говоривший, что для Гоголя — где жизнь, там и поэзия. Все это было ярким выражением того новаторства и демократизации литературы, которые начались при Пушкине, и что продолжил Гоголь в совершенно невиданном до того масштабе.

Как и все прочее, пейзаж у Гоголя получал свой надлежащий вид лишь после многих правок. В одной из черновых редакций «Мертвых душ» в этом пейзаже встречаются еще дополнительные строки, не вошедшие в окончательный текст, а также другие стилистические отличия: «А ночь, ночь. Свежий (неразб. слова), воздух, чистое ясное зеркало, небесное пространство. А луна, красавица моя старинная, моя верная любовница, боже мой, что глядишь ты на меня с такою думою, так любовно и умильно, и нежишь меня, душа моя. Твои родственнее душе моей, чем все другие ласки. И прославим, прославим, господи, молодых. Какая невидимая толпа друзей, поцелуев, речей и пеней в твоём полном, обнимающем сиянии. Музыка или песня колыбельная, песня убаюкивает меня, и вот уже позабылся вновь сном...»

Луна, как обязательный атрибут романтических пейзажей, занимала в этом черновом варианте еще очень много места, заглашая все другое, и Гоголь счел нужным все это удалить. Одновременно он развивает мотив ночи, которому здесь было уделено очень мало места; после такой правки пейзаж приобретает совершенно другой вид: все лишнее, мешающее из него вытеснено, а важнейшее детально разработано. Все стало на свое место, и пейзаж заговорил языком поэзии и лирики, стал глубоким и проникновенным, как и все в неповторимом творчестве Гоголя.

5

Говоря о художественном мастерстве Гоголя-стилиста, нельзя обойти вопроса о том, как достигал он такой языковой выразительности. Проследить, хотя бы и в малой степени, как постепенно созревала непревзойденный язык героев «Ревизора», представляет несомненный интерес. Наличие нескольких редакций знаменитой комедии дает такую возможность. Сравнение сцен в трех различных редакциях во многом разъясняет нам ход работы Гоголя над языком, позволяет установить некоторые принципы, которыми он руководился при этом, и раскрывает авторские цели при неоднократных правках текста комедии.

В первом наброске комедии, считающемся ее первой редакцией, как это обычно и наблюдается на начальной стадии работы, далеко не все еще было

на своем месте: лица не отличались должной очерченностью, в диалогах было много лишнего, подчас карикатурного, и вовсе еще не было той отточенности, остроты и блеска, к которым мы так привыкли по окончательному тексту комедии. «Ревизор» еще долго не был созданием «плотным», без излишеств, четким в своей законченности, к чему так осознанно стремился Гоголь. Только многократные вдумчивые правки приводили Гоголя к желанной цели. Постепенно текст комедии освобождался от всякого словесного сырья, превращаясь в чистое, беспримесное золото слова.

В пределах статьи нет возможности широко проследить процесс медленной кристаллизации слова, вызревания его в тексте комедии во всем ее объеме. Мы ограничимся несколькими примерами, в которых основной принцип Гоголя («создание плотное») выступает со всей очевидностью.

Обратимся к началу комедии.

Все мы хорошо знаем начало «Ревизора» — обращение городничего к собравшимся чиновникам: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». В ответ на вопросы чиновников: «Как ревизор!» — городничий разъясняет: «Ревизор из Петербурга, инкогнито с секретным предписанием».

Нельзя выразиться ясней и сжатей. Однако далеко не сразу пришел писатель к этой ясности и сжатости. Гоголя преследовали длинноты, расянутость реплик, засоренность речи героев. Все это портило язык комедии, заслоняло образы, их действия. Вот как выглядело это же знакомое нам обращение городничего к чиновникам в первоначальной редакции:

«Я пригласил вас, господа... Вот и Антона Антоновича, и Григория Петровича, и Христиана Ивановича, и всех вас для того, чтобы сообщить одно чрезвычайно важное известие, которое, признаюсь вам, чрезвычайно меня встревожило. Вдруг сегодня неожиданное известие, что отправился из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать все относящееся по части управления и именно в нашу губернию, что уже выехал 10 дней назад тому и с часу на час должен быть, если не действительно уже находится инкогнито в нашем городе».

Из-за излишеств словесных зерно речи городничего здесь трудно уловимо, оно теряется в них. Во второй редакции то же обращение городничего, освобожденное от словесного сырья, несравненно короче и ясней:

«Я пригласил вас, господа,... вот и Артемия Филипповича, и Аммоса Федоровича, Луку Лукича и Христиана Ивановича... с тем, чтобы сообщить вам одно пренеприятное известие: меня уведомят, что отправился инкогнито из Петербурга чиновник и еще с секретным

предписанием обревизовать в нашей губернии все относящееся по части гражданского управления».

Несмотря на заметное укорочение, речь городничего и здесь еще не свободна от излишних слов. Только в последней редакции Гоголю удастся достигнуть искомого: отброшена вся шелуха, все мешающее и оставлено одно ядро — именно то главное, что ему надобно сказать собравшимся чиновникам: «к нам едет ревизор...». Несколькими короткими фразами последней редакции заменено целое множество их, лишь заслонявших основную суть реплики.

К этому устремился Гоголь в работе над языком своей комедии. Достижение этой сжатости, лаконичности в языке героев и являлось одной из важнейших задач его при многократных правках, постоянных исправлениях текста ее, производившихся в течение ряда лет.

Эту тенденцию Гоголя в «Ревизоре» следует особо отметить, ибо в своей прозе он в большинстве случаев предпочитает фразу широко развернутую. Однако чутье и сознание художника подсказали ему, что в драматургии, где слово передается со сцены, т. е. непосредственно, язык скупой и острый, как стрела, несравненно более действенен.

Очень характерны также исправления, которые делает Гоголь в реплике городничего о его «грешках», что можно увидеть из сравнения предварительных редакций с окончательной:

«Да знаете, теперь уж чересчур навхвата, — говорит городничий. — Городок таки, нечего сказать, прикрутил изрядно. Ведь вот что худо, что он то инкогнито; это, я вам скажу, просто прескверно, он может услышать такое, чего бы не хотелось, чтобы он услышал. Купцы и мещане на меня страх озорятся». Так было в первой редакции.

«Я, признаться сказать, уж слишком подстриг здешнее купечество и гражданство, — читаем мы во второй редакции, — так что и вряд ли ножницы в свете такие найдутся, которые бы могли еще что-нибудь захватить; на меня то они все теперь... так вот бы и съели, попадись только я им». «Купечество да гражданство меня смущают. Говорят, что я им солоно пришелся; а я, вот ей богу, если и взял с иного, то право без всякой ненависти» — таковы слова городничего в последней редакции.

В первом и во втором случае городничий говорит о себе с откровенностью, которая мало правдоподобна для такого продувного плута, каким рисует его Гоголь. Вряд ли стал бы он изъясняться подобным образом о таком щепетильном деле, как его «грешки». Это, несомненно, нарушало художественную правду образа. Сверх того, в этой редакции городничий еще не говорит языком, подвергшимся строгому художественно-

ему отбору, совершенно обязательному для подлинного произведения искусства, в особенности у Гоголя, где принцип отбора исключительно строгий. «Он может услышать такое, чего бы не хотелось» — это еще вовсе не язык персонажа комедии, а необработанный язык бытовой речи. Во второй редакции речь городничего подверглась большому отбору, но художественное неправдоподобие ее смысла осталось. Лишь в последней редакции Гоголь находит то, что ему нужно: городничий свои «грешки» чрезвычайно смягчает («если и взял с иного... говорят, что я им солоно пришелся...»), и все это выражено кратко, сжато, «плотно».

Замечательна также правка отдельных реплик городничего, где с такой ясностью выступает перед нами неминутым «инкогнито», — тот страх, который его, беспримерного пройдоху, заставляет «сосульку, тряпку» принять за ревизора.

«— Я не знаю, у меня в ушах так, как будто сверчки трещат... Я думаю, я не простудился ли как-нибудь. Право, так вот и представляется, что двери сейчас откроются, и входит ревизор», — так говорит городничий в первоначальной редакции.

Во второй редакции в этом месте вводится реплика почтмейстера, который предлагает городничему породистую собачонку, чтобы травить зайцев.

«— Бог с ними теперь, со всякими зайцами, — отвечает городничий. — У меня право в ухе так, как будто бы сверчок. Так право и ожидаешь, что вдруг откроются двери, и войдет он сам».

В печатной редакции 1836 г. уже вносится существенное изменение в эту реплику городничего:

«— Бог с ними теперь, со всякими зайцами, — читаем мы здесь, — у меня в ушах только и слышно, что инкогнито прокладает. Так и ожидаешь, что вот откроются двери, и войдет».

«— Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито прокладает сидит в голове. Так и ждешь, что вот откроется дверь — и шашть...» — так выглядит эта реплика городничего в окончательном тексте комедии.

Это изумительное «шашть» восхищало всех исследователей «Ревизора». Уже одно это слово с необыкновенной остротой и выразительностью передает объявивший городничего страх, что беда вот-вот нагрянет. В первой и второй редакциях, да и в печатном тексте 1836 г. слова еще не живут, еще не видно подлинно гоголевского языка, отточенного и заостренного. Лишь в последней, окончательной редакции в устах городничего зазвучало слово отобранное, просеянное выскальным художником. Здесь взяты типически народные, разговорные обороты, фразы лаконичны («Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы» и само это «шашть»).

Народно-разговорная лексика, народные обороты речи, которые Гоголь все время вводит в окончательный текст комедии, — явление особенно характерное для всех правок Гоголя. Такого рода правками он точно вдохнул жизнь в слова своих героев.

Очень характерны и выразительны также исправления, которые делает Гоголь в реплике городничего в той сцене, когда он узнает от Бобчинского и Добчинского, что «инкогнито» живет уже в городе полторы-две недели. Его реакция на это известие выражена совершенно по-разному в нескольких редакциях (в самой ранней — этой реплике еще нет).

«— Полторы недели! Что вы! Ай, ай, ай! В эти полторы недели высечена офицерская жена. Ай, ай, ай! В эти полторы недели арестантам никакой провизии не выдавали! О боже мой, боже мой! На улицах кабак и нечистота! О боже мой, боже мой!» — так выражает свой испуг и отчаяние городничий во второй редакции. Но вот какова его реплика по этому поводу в последней редакции:

«— Две недели! Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор, поношение!»

Яркость и прелесть всей реплике городничего в последней редакции придают больше всего народно-разговорные комические обороты: «Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники!», — которыми Гоголь сообщил всей фразе такой великолепно комический колорит. В предыдущей же редакции мы видим в этой реплике только восклицания (ай, ай, боже мой!), являющиеся еще только копией бытовой речи, а не художественно построенным языком персонажа комедии.

В разговоре городничего с Держимордой вначале вовсе не было вошедшего в послевиду изречения его: «не по чину берешь», а вместо него было: «Ты, дурак, с меня примера не бери», что звучало малоправдоподобно: вряд ли городничий мог быть столь откровенен, да еще с квартальным.

Путем таких тщательно продуманных и гениальных правок в каждой фразе, в каждой реплике добивался Гоголь тех вершин языкового творчества, благодаря которому язык «Ревизора» весь разошелся в пословицах, стал общенародным достоянием.

Не менее существенны изменения, внесенные Гоголем в язык Хлестакова. Известно, как огорчился Гоголь, когда актер, игравший эту роль в первых постановках, дал обыкновенного водевильного героя, а не характер типический, каким видел и изобразил его Гоголь. Но следует сказать, что образ Хлестакова и в самой комедии отнюдь

не сразу приобрел важнейшие свои черты со всей ясностью и отчетливостью, — черты, которые и до сих пор делают его комическим героем широчайшего обобщения. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с правками Гоголя различных реплик его.

Хлестаков беседует с Анной Андреевной. В ответ на вопрос ее: «— Вам после столицы должно быть очень скучно?» он отвечает в первой редакции очень пространной, хотя и немало комической по своему смыслу речью:

«— Да, признаюсь, как выехал, я заметил ощутительную перемену — даже вам может несколько странно — в воздухе этак, в городах... Все как-то говорит: «Да это не то! Например, общества какого-нибудь, бала великолепного, где была бы музыка, на дороге уж вы не сыщите. Ну, конечно, рассеяние, развлечение... Зрение, можно сказать, очаровано: с одной стороны этак вдруг являются горы, какое-нибудь этак приятное местоположение, проезжающие в колясках и каретах; этак что-нибудь вас вдруг займет: проезжающий экипаж... игра природы... все видишь, а недоволен».

Во второй редакции это комическое выступление Хлестакова, не удовлетворившее Гоголя прежде всего своей растянутостью, уже значительно сокращено:

«— Чрезвычайно скучно. Знаете, сделавши привычку жить в свете, пользоваться всеми удобствами, и вдруг после этого в какой-нибудь скверной дороге! Везде такая чепуха; не встретившись с образованным человеком, с которым бы можно поговорить о чем-нибудь: станционные смотрители такие невежи, народ без воспитания...»

Как видим, в этой редакции Гоголь сделал другой поворот в речи Хлестакова — упор делается на его фразу: «привыкли жить в свете». В последней редакции Гоголь, ухватившись за эту фразу, вложенную им в уста Хлестакова, расширяет ее, придавая ей этим совершенно необычайный комизм; одновременно он отбрасывает остальные, мало выразительные слова, заменив их несколькими другими, и в результате этой художественной операции реплика Хлестакова вся преобразовалась:

«— Чрезвычайно неприятно. Привыкли жить, *comprenez vous*, в свете и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества».

Это удивительно «*comprenez vous*» также озаряет весь текст, как и «шашь» городничего в своем месте. Гоголь здесь, как и в некоторых других случаях, пользуется иностранными словами для выражения особенно едкой иронии (вспомним несравненное «амбре» Анны Андреевны, «реприманд» и «пассаж» других героинь «Ревизора»). Такого же рода и это «*comprenez vous*». Фанфаронство Хлестакова, его стремление показать себя светским человеком, «фигу-

рой», порисоваться властью — все это с необыкновенной прелестью и выразилось в этой коротенькой, полной блеска и юмора фразе. «Грязные трактиры, мрак невежества», — не только светским человеком, но и образованным, вообще «особой» изображает себя Хлестаков в этой сцене. И всего этого достигает Гоголь несколькими фразами последней редакции этой сцены.

Первая редакция, хотя и исполненная комизма, чересчур растянута и не выделяла той существенной черты Хлестакова, которую добивался выразить Гоголь. Во второй редакции замысел тот же, что и в последней, но в ней еще нет комизма. Лишь в последней автор достигает того, к чему стремился, — сжатости, комизма и выявления той черты характера своего героя, которая была особенно важна, как черта типичная в нем.

Много изменений внес также Гоголь в речь Анны Андреевны, жены городничего. В начальной стадии работы над комедией в ее репликах было еще много утрированного, водевильного. Впоследствии все это было из текста вытеснено.

Подверглись многим изменениям и речи других персонажей. Очень сильно изменена в последней редакции речь почтмейстера, принесшего распечатанное им письмо Хлестакова к приятелю Тряпичкину.

В ранних редакциях (первоначальном наброске и второй редакции) она еще мало обработана, в языке почтмейстера нет столь характерных для «Ревизора» слов и словечек, которые навсегда уносит с собой зритель из театра. Его реплика еще близка к обычной разговорной речи, не отшлифованной пером художника. Вот как выглядит рассказ почтмейстера на ранней стадии работы:

«— Я, признаюсь, не утерпел: со страхом, с большим страхом, а распечатал... Городничий. Как же вы смели распечатать?»

Почтмейстер. Что ж делать? Решился, так уж напропало решился. Меня, признаюсь, подзадорило больше то, что на пакете написано было: Его благородию какому-то Тряпичкину. Если бы к какому-то превосходительству, то я бы никак не осмелился; но как увидел, что к благородию, то такое почувствовал любопытство, какого еще никогда не помню. Я даже приказал затворить ставни, чтобы никто не мог подсмотреть, а сам зажег свечу».

Но вот как преобразил Гоголь речь почтмейстера в окончательном тексте:

«— Сам не знаю; неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить его с эстафетой, но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу, слышу, что не могу! Тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь,

как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» Я придавил сургуч — пожилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось».

Комическая интерпретация чувств и ощущений почтмейстера нашла в этой редакции надлежащую форму: страх и любопытство, боровшиеся в нем, переданы его же собственным языком со всеми деталями («огонь... мороз... руки дрожат»).

Из работы Гоголя над языком героев «Ревизора», из целого ряда правок его можно убедиться, что ими он добивался прежде всего самого существенно — дать образам ту физиономию, которая была задумана им и которая в первоначальных редакциях еще не получила своего подлинного художественного воплощения.

Одним из важнейших средств для достижения этой цели — полноценного художественного языка героев комедии, придающего им живую плоть и кровь, — был для Гоголя язык народной речи в ее характерных национальных формах. По записным книжкам Гоголя мы видели, с каким вниманием учился он языку у народа, как жадно впитывал он, вбирал в себя все богатства его, накопленные веками, убежденный, что язык народа для художника — сила величайшая.

Но кроме этой непосредственной учебной языку у народа, изучал его Гоголь и по книгам, по имевшимся в его распоряжении словарям. Лексикологией русского языка занимался он с большим вниманием с юношеских лет. Еще в Нежине завел он словарь, записывая и внося в него множество слов. И впоследствии продолжал он это занятие, составив для себя путем выписок из имевшихся трудов словарь «простонародных и старинных» слов, пополняя его также и узнаваемыми из живой речи.

Из сравнения отдельных сцен «Ревизора» в разных редакциях мы имели возможность убедиться, что не найдем, не с легкостью давалось Гоголю это совершенство, а путем долгой, очень вдумчивой и кропотливой работы над каждой фразой и каждым словом. Искал же он всегда слова ясного, народного, острого по своему комизму и фразы сжатой, скупой, лаконичной. Эти поиски продолжались до тех пор, пока не бывали найдены те слова, которые кратчайшим путем раскрывали истинное лицо героя, пока не обнажалось важнейшее в нем.

Язык Гоголя всегда был и остается и поныне одним из самых могущественных и дальнбойных орудий его пронигновенного смеха — его величественной сатиры, столь опасной для всего отжившего.

«Рыцарь надежды»

Художественная биография генерального секретаря бразильской коммунистической партии Л. К. Престеса, написанная в 1942 году и недавно появившаяся в русском переводе¹, принадлежит к лучшим книгам Жоржи Амаду, передового бразильского писателя, хорошо известного у нас своими позднейшими романами — «Земля золотых плодов» и «Красные всходы».

Ж. Амаду — горячий патриот своей родины; неутомимый борец за мир, за освобождение своей страны от ига американского капитала и царящей в ней фашистской реакции.

В его книгах нашли широкое отражение социальные противоречия Бразилии — страны, которую душат хищники американского империализма, страдающая бразильского крестьянства, постепенное пробуждение подавленного гнетом народа, поиски им выхода, наконец, его борьба за национальное и социальное освобождение.

Только поняв всю глубину противоречий Бразилии, только поняв все бедствия и страдания ее народа, можно осознать значение Луиса Карлоса Престеса для своей страны, человека, с именем которого поработенный народ слил свою жажду освобождения. Только тогда во всей глубине раскрывается смысл трогательного и поэтического имени, которое дано Престесу простыми людьми Бразилии: «Рыцарь надежды».

Бразилия — «страна большого богатства и большой нищеты», страна, вся хозяйственная и политическая жизнь которой искажена и искалечена властью доллара; сами ее неисчислимые богатства превращаются в источник неслыханных народных бедствий.

Четвертая по территории страна мира, Бразилия обладает исключительными сырьевыми богатствами, ценными ископаемыми, огромными пастбищами для скота и... умирающим от голода населением. Экономика Бразилии чудовищно противоречива и уродлива, ибо американский капитал пытается все в стране подчинить своим интересам.

Бразилия — это медь, золото, железо, марганец, урановые руды. Но развитие бразильской промышленности искусственно задерживается американскими

монополистами. Бразилия обладает нефтью, но нефть не разрабатывалась, пока она не оказалась нужной империалистам США.

В Бразилии растет кофе, какао, сахарный тростник, хлопок, гранаты... Но уродливая экономика Бразилии сделала из нее страну монокультур. Все уходит на экспорт. И на «земле золотых плодов», на богатейших плантациях дети батраков пухнут и слепнут от голода.

Огромны реки Бразилии, и величайшая из них — Амазонка, но ее гигантский бассейн — район угрожающих наводнений, непроходимых влажных лесов и лихорадок — остается почти неосвоенным. В диких сельвах Амазонии разгласилась ярко описанная Амаду кровавая эпопея бразильского каучука. Тысячи бразильцев, устремившихся туда в погоне за каучуком, погибли в неравной борьбе с природой или становились рабами сначала бразильских капиталистов, а потом Форда, овладевшего Амазонией. Американские хищники стремятся захватить все: небольшую промышленность Бразилии, нефть и каучук, богатейшие плантации. Вытеснив английский и германский капитал, рассматривая Бразилию как источник стратегического сырья, превращая ее в свою колонию, США с помощью реакционных клик Варгаса и Дутра хищнически грабят богатства страны.

Иностранцам империалистам выгодна отсталость Бразилии, как аграрной страны с сильнейшими феодальными пережитками, с большими поместьями, в которых положение батраков мало чем отличается от рабства. В Бразилии во второй половине XX века основным сельскохозяйственным орудием остается мотыга, и свыше 30 миллионов жителей неграмотны.

В книге далеко не революционного автора Жозуэ де Кастро приведен потрясающий материал, рисующий нищету и голод бразильского народа. Там, в частности, описаны ужасы засухи в сертанх северо-востока, когда выжженные равнины усеяны скелетами павшего скота и люди начинают есть ядовитые растения, когда все живое бежит из сертан, и трупы погибших людей устилают дороги до самого моря.

Живя в стране, где волей партии и народа пустыни превращаются в цветущие

¹ Ж. Амаду. Лунс Карлос Престес. Нью-Йорк, 1951.

еще сады, мы с особой остротой воспринимаем трагедию страны огромных природных богатств, которая властью американских хищников превращается в ад нищеты.

Интересам иностранного капитала полностью подчинена реакционная политика бразильских правительств, кровавым террором пытающихся сломить растущее национально-освободительное, революционное движение в Бразилии. Фашистские клики, властвующие в Бразилии и представляющие блок реакционных помещиков и купцов, открыто отдают страну во власть доллара.

Против этого безмерного гнета нищеты, голода, политического произвола, кровавого террора поднимаются народы Бразилии и всей Латинской Америки.

Проникновенный образ революционера-коммуниста, ставшего вождем этих народных масс, дал Амаду в своей книге «Луис Карлос Престес».

В облике Престеса с самого начала выступает его цельность, неподкупность, мужество, настойчивость в поисках правильного политического пути, но особенно его глубокая близость с простыми людьми Бразилии. Сам вышедший из демократической интеллигенции, прошедший в юности суровую школу труда, Престес глубоко ощущал нужды простых людей, отвечавших ему восторженной любовью.

Амаду воссоздал большой идейный путь, который прошел Престес от молодого офицера военной школы, связанного с движениями революционно настроенного мелкобуржуазного офицерства, до вождя коммунистической партии, поднимающего миллионные массы Латинской Америки на борьбу против империализма. Биография Престеса стала у Амаду рассказом о путях революционно-освободительного движения в Бразилии.

Молодость Престеса связана с теми годами, когда Великая Октябрьская социалистическая революция пробудила революционные отклики во всем мире. 1918—1922 годы и в Бразилии ознаменованы стихийными выступлениями трудящихся, свидетельствующими о том, что страна созрела для буржуазно-демократической революции. В 1922 году возникла коммунистическая партия Бразилии, но молодая партия еще не могла возглавить демократической революции. Несколько романтизированно излагая историю выступлений офицерской молодежи начала двадцатых годов, Амаду, к сожалению, мало говорит о борьбе компартии в те годы.

В 1924 году Престес, бывший тогда молодым военным инженером, на юге Бразилии поднял восстание солдат строительного батальона, которое должно было поддержать восстание гарнизона в Сан-Пауло. Но движение, возглавленное Престесом, переросло в военные заговоры офицерства, далекого от народных масс. Оно вылилось в героиче-

ский поход колонны Престеса через всю Бразилию, поход, продолжавшийся два с половиной года и оказавший глубокое воздействие на широчайшие массы бразильского народа. Лучшая часть книги Амаду посвящена этому легендарному походу, смысл которого был в том, чтобы, пройдя во внутренние штаты страны, достичь самых глубин народа.

Во время похода обнаружился военный талант Престеса, который в 26 лет стал выдающимся революционным генералом. Применяя тактику подвижной войны, он быстро вел колонну по огромной стране, умело ускользая от правительственных войск, выматывая и разбивая их части.

Амаду создал яркие картины похода, раскрыв героизм его участников — солдат, офицеров, батраков, женщин, которые обошли страну, сделав более 25 тысяч километров, проходя по выжженным равнинам, пробиваясь через колючие кустарники, карабкаясь по скалистым нагорьям, утопая в болотах, измученные голодом, лихорадками и усталостью, но преодолевая все в революционном подъеме.

В глухих областях страны Престесу открылась вся глубина страданий, нищеты и бесправия крестьянства, которому надо было указать выход. Колонна Престеса несла крестьянству правосудие: уничтожала налоги, сжигая налоговые реестры, освобождая заключенных крестьян, отменяя несправедливые приговоры судов, Престес учил нищих и бесправных крестьян бороться против гнета и произвола помещиков.

Амаду подчеркивает социальное и политическое значение похода. Престес «пробудил в народе дух возмущения и стремление к борьбе за справедливость». К колонии стекалась беднота, у Престеса искали защиты индейские племена, о нем складывались бесчисленные песни и легенды. Имя «Рыцаря надежды» разносилось по всей стране и становилось знаменем народного освобождения. Крестьяне, хорошо говорит Амаду, называли его именем свои лачуги, так как не могли назвать его именем городские площади. Коммунистическая партия поддерживала колонну на ее пути. «В это время только две силы боролись против правительства — коммунистическая партия и колонна Престеса», — писала Долорес Ибаррури в своем очерке о Престесе. Поход колонны сыграл выдающуюся роль в пробуждении бразильского крестьянства, которое потом многие годы свои надежды связывало с возвращением Престеса.

Самому же Престесу поход колонны принес огромный жизненный и революционный опыт, раскрыл всю силу феодальных пережитков и необходимость народной революции. После похода, в изгнании Престес резко порвал с прежними друзьями, с теми слоями буржуазного офицерства, которые, испугав-

шись народной революцией, переметнулись в лагерь реакции. Престес открыто заявил о своем переходе к коммунизму. Годы изгнания в Боливии и Аргентине стали для Престеса годами глубокого освоения революционной теории — теории марксизма, изучения работ Ленина и Сталина; в эти годы Престес тесно сблизился с коммунистической партией Бразилии.

В книге Амаду подчеркнута исключительная роль Советского Союза для формирования Престеса как революционера и коммуниста. В начале тридцатых годов Престес едет в Советский Союз, чтобы увидеть практическое осуществление революционной теории. Он изучает опыт строительства новой, социалистической жизни, организацию Красной Армии, советскую деревню. Опыт русского большевизма помог ему понять, что Бразилия стоит перед буржуазно-демократической революцией, помог стать руководителем порабощенных народов Латинской Америки. В 1931 году Престес вступил в коммунистическую партию Бразилии и вскоре нелегально вернулся на родину.

Амаду живо передал обстановку нового подъема освободительного движения в Бразилии в 1934—1935 годах, возникшего в результате кризиса. Этот подъем, возглавленный компартией, охватил все слои трудящихся, выливаясь в мощных полуторамиллионных стачках рабочих, в вооруженных выступлениях крестьян, в движении молодежи. Престес стал во главе «Национально-освободительного Альянса» — широкого антиимпериалистического и антифашистского движения, объединившего все демократические силы страны. В книге Амаду ярко изображены энтузиазм и надежды, охватившие народные массы Бразилии, выступившие против реакционной диктатуры Варгаса под лозунгами освобождения Бразилии от ига иностранного капитала, ликвидации крупных помещичьих латифундий и передачи их беднейшему крестьянству, демократических свобод. Амаду лишь бегло говорит о восстании ушедшего в подполье «Альянса» в ноябре 1935 года, которое кончилось временной победой реакции, поддержанной американским и германским империализмом.

Последняя часть книги Амаду посвящена годам жестокого террора, который воцарился в стране после подавления восстания. Арестованный в 1936 году Престес был приговорен в общей сложности к 46 годам тюрьмы. Он потерял жену, замученную в гитлеровских застенках. Грубо инсценировались процессы, на которых Престес, как в Лейпциге Димитров, выступал обвинителем кровавой фашистской реакции. В защиту мужественного, негибкого революционера выступили передовые силы всего мира, кампания борьбы за Престеса приняла широчайшие размеры. Биография, написанная Амаду, была вкла-

дом писателя в дело освобождения Престеса.

В последних главах книги очень хорош образ матери Престеса. Эта сильная, благородная женщина сумела поднять общественность Европы на защиту своей родившейся в тюрьме внучки и вырвать ее из рук гестапо. Леокадия Престес разъезжала по всему миру, требуя освобождения своего сына. Амаду видит в этом образе матери как бы воплощение своей порабощенной и страдающей родины, которая уже разрывает цепи рабства.

Жизненный путь Престеса глубоко поучителен. Это путь от пылкого, но неопределенного свободолюбия юности через опыт проникновения в жизнь широчайших народных масс Бразилии и освоение этого опыта посредством революционной теории марксизма, через глубокое изучение строительства социализма в СССР, через опыт широкого массового демократического движения «Альянса» — к тому, чтобы после войны возглавить национально-освободительную борьбу народов Латинской Америки против ига американского империализма, их борьбу против фашистской реакции, их стремление, сметая остатки феодализма, осуществить народную, демократическую революцию.

Редкое обаяние Престеса, донесенное книгой Амаду, — не только в его высоком моральном облике, цельном и пламенном характере, но в значительности тех великих задач, за которые последовательно борются Престес и коммунистические партии Латинской Америки.

Образ Престеса, созданный Амаду, воспринимается читателем как высокий жизненный и политический идеал. «Рыцарь надежды» как бы поднимает читателя, ведя его к пониманию реальных путей к освобождению, к свободному будущему. В этом смысле книга Амаду имеет глубокое воспитательное значение.

Но можно говорить и о большом литературном значении созданного им образа. В середине тридцатых годов английский критик коммунист Ральф Фокс требовал создания крупных образов коммунистов, людей подобных Димитрову, людей большого политического действия, широкого кругозора, выдающихся интеллектуальных и моральных качеств. К тому времени уже была написана книга Барбюса «Сталин». С тех пор в передовой литературе появились автобиография Мориса Тореза «Сын народа», политическая биография Эрнста Тельмана, написанная Бределем, «Луис Карлос Престес» Амаду, книга Юлиуса Фучика.

При всем различии этих книг, они свидетельствуют о большом значении таких художественно-документальных биографий для формирования нового героя зарубежной передовой литературы и всей этой литературы в целом. Образ такого героя — политического

идейного руководителя народа — соединяет в себе все черты героя нового типа, человека коммунистического мировоззрения, политического борца, мыслителя, стратега и организатора народных масс. Но воссоздать жизнь такого человека немислимо вне истории партии, с которой слита его жизнь, истории народа, выдвинувшего его, истории его страны с ее социальной и политической борьбой. Поэтому такие биографии обогащают материал передовой литературы, раздвигая его до масштабов целой страны, до истории коммунистической партии, до истории народа на целых больших этапах их развития.

Это видно и на творческом пути самого Жоржи Амаду. После книги о Престесе он написал два своих лучших романа — «Землю золотых плодов», где вскрыта хищническая роль американского капитала в хозяйстве Бразилии, и замечательный роман «Красные всходы», эпическую картину путей бразильского крестьянства, его нищеты и бесправия, его поисков выхода, его политического пробуждения.

Однако в связи с поставленным вопросом раскрываются и некоторые слабости книги Амаду о Престесе, книги в целом сильной и увлекающей. В ней не всегда достаточно глубоко вскрыта связь Престеса с движением рабочего класса Бразилии и всей историей ее коммунистической партии, что особенно сказалось в изложении деятельности «Альянса». С этим связана и некоторая идеализация деятелей буржуазно-либерального республиканизма и военных выступлений двадцатых годов. Отсюда в этой ярко и образно написанной книге известный стилевой разнобой, так как приподнято-романтические интонации легенды, в которых выдержано начало, трудно применимы к последовательному изложению хода революционного движения Бразилии.

* * *

Биография Престеса доведена Амаду до 1942 года. По его словам, нужно было бы написать второй том, чтобы рассказать о выдающейся деятельности Престеса после войны.

В 1945 году в обстановке победы СССР над германским фашизмом компартия Бразилии вышла из подполья, где она находилась 23 года. Освобожденный Престес стал во главе бурно нараставшего в 1945—1947 годах демократического движения; за эти годы компартия выросла с 3 500 до 200 тысяч человек.

Но послевоенные годы — это годы бешеного натиска США на Бразилию и другие страны Латинской Америки. Растущий поток капиталов из США,

истерическая выкачка сырья, насаждение фашистских правительств, попытки создания панамериканских агрессивных союзов — все это циничные попытки США сделать из южноамериканского континента базу для будущей войны.

С 1947 года под давлением США в Бразилии господствует дикий террор. Запрещена компартия, разгромлены профсоюзы и другие демократические организации, царят аресты, пытки, разнузданные зверства жандармов, направляемых американским федеральным бюро расследований. В 1950 году издан приказ об аресте Престеса и других руководителей компартии, находящихся в подполье. Реакция откровенно призывает к его убийству. За его голову фашисты давали миллион крусейро. Идут аресты сторонников мира.

Но самый разнузданный террор не может заглушить в Бразилии демократического движения, возглавляемого компартией. Растущая в Бразилии борьба за мир неразрывно связана с борьбой за национальное освобождение, она направлена против ига американского империализма и его бразильских ставленников. Задачи этой борьбы были определены Престесом в «Программе демократического фронта национального освобождения».

Основные ее требования: освобождение Бразилии от власти американского империализма и правительств национальной измены, аннулирование иностранных долгов, удаление американских военных сил, дружба с Советским Союзом и странами народной демократии, передача помещичьих земель беднейшему крестьянству, конфискация банков и крупнейших предприятий, организация народной армии и вооружение народа, создание народного демократического правительства.

Эта большая программа национального освобождения — торжество всей героической жизни Престеса. В ней — чаяния тех миллионов, которые ждали избавления от «Рыцаря надежды». В ней путь к тому будущему, когда именем Престеса назовут не лачуги бедняков, а лучшие площади Рио-де-Жанейро.

* * *

Творчество и деятельность Жоржи Амаду отданы великой борьбе за мир. Его заслуги отмечены высокой наградой — международной Сталинской премией мира. Амаду заявил, что принимает ее от имени бразильского народа. Он был вправе сказать так, ибо все его творчество посвящено борющемуся народу Бразилии, от ее вождя А. К. Престеса до миллионов ее простых людей.

Виктор Гюго

«О чем мечтают короли? О войне. О чем мечтают народы? О мире. Народы любят друг друга и объединяются. Королям, обдумывающим и подготавливающим ужасные события, народы противопоставляют величие мирных действий. Мощный отпор!..»

Эти благородные слова, произнесенные в 1877 году и звучащие так, как будто они сказаны сейчас, принадлежат Виктору Гюго, великому французскому писателю, 150-летие со дня рождения которого отметят 26 февраля 1952 года все народы, борющиеся за мир.

Автор популярнейших социальных романов, которыми зачитывался весь мир, пламенный политический поэт-трибун, драматург-новатор, Гюго всем своим творчеством утверждал активную, действенную роль искусства в борьбе с реакцией. Враг «чистого» искусства, Гюго был убежден, что искусство должно прежде всего принести людям пользу.

Все боевое могучее искусство Гюго было поставлено на службу народу и защиты его священных прав. Певец народного горя, Гюго был оптимистичен, как сам народ. В нем он находил красоту, силу, героизм, здоровье, радость жизни. Народ был источником его жизнеутверждающего пафоса, его неиссякаемой веры в торжество будущей социальной справедливости.

Гюго никогда не замыкался в узкой литературной деятельности. Он прожил долгую жизнь и был свидетелем крупнейших исторических событий, происходивших на его родине. Он видел, как мужественно сражалась за свободу народная Франция на парижских баррикадах 1830 и 1848 годов. Он был свидетелем того, как французская буржуазия, которая пожинала плоды народных побед, предала республику 1848 года грязному проходимцу Луи-Наполеону, свергнувшему Францию в болото политической реакции Второй империи. Он был свидетелем седанской катастрофы 1870 года, когда из-за бездарности и продажности правительства французская армия без боя сдалась пруссакам. Он был свидетелем падения Парижской Коммуны и зверской расправы, учиненной версальцами над коммунарами. На все эти события Гюго откликался энергично и бурно всем своим пламенным сердцем патриота и демократа. Именно

поэтому его наследство живет и сейчас и поныне служит делу передового человечества.

В мрачные дни гитлеровской оккупации 1940—1944 годов творчество Гюго было взято на вооружение французским народом. Великий национальный поэт стал активным участником мощного движения Сопротивления. Тысячи и тысячи отважных сынов Франции, партизаны и вольные стрелки, вступившие в смертный бой с захватчиками, вдохновлялись патриотической поэзией Гюго, звучавшей, как призыв к победе. Его стихи печатались в «Юманите», подпольно выходившем органе ЦК компартии Франции, в многочисленных листовках, брошюрах. В первом номере «Леттр франсез», газеты прогрессивных французских писателей, появившемся в подполье 20 сентября 1942 года, в славную годовщину исторической победы при Вальми (1792), когда армии революционной Франции разбили интервентов, помещено было воззвание к французам. Оно заканчивалось отрывком из «Возмездия» Гюго, обращенного к «тем, кто спит»:

Разбивайте ваши цепи, сломайте ваши
тюрьмы!

Как! Вы боитесь этих шаполаев,
Но ваши отцы вызывали на бой
титанов!¹.

Слова Гюго, призывавшие патриотов дать отпор пруссакам, неоднократно вспоминали вожди французской компартии, призывая французский народ усилить борьбу с фашизмом. Неслучайно писатель-коммунист Жан Лаффит назвал свою книгу, посвященную борьбе французского народа с оккупантами, словами Виктора Гюго: «Живые борются». Этими словами начинается отрывок из стихотворения Гюго, многократным эхом повторявшийся в подпольной прессе:

Живые борются! И живы только те,
Чье сердце предано возвышенной
мечте,

Кто цель прекрасную поставив пред
собой,

К вершинам доблести идут крутой
тропью,

¹ См. книгу Е. М. Евниной «Литература французского Сопротивления», стр. 60. Изд-во АН СССР. 1951.

И, точно факел свой, в грядущее несут
Великую любовь или священный труд.

Эти великолепные стихи Гюго, которые Лаффит поставил эпиграфом к своей книге, говорят о живой традиции французского народа, связывающей разные поколения борцов за национальную независимость.

* * *

Гюго родился 22 февраля 1802 года в городе Безансоне в семье наполеоновского генерала. Юность Гюго прошла в годы тяжелой феодальной и католической реакции, которая царил в Европе. То была эпоха Реставрации, когда во Францию вернулась изгнанная революцией династия Бурбонов с дворянами и попами, снова ставшими у власти.

Мать Гюго, католичка и монархистка, пыталась было подчинить сына своему влиянию. Его первые юношеские произведения прославляли средневековые замки, монастыри и членов королевского дома. Но молодой Гюго очень скоро освободился от пут реакционной идеологии. В 25 лет он становится вождем прогрессивного крыла французских романтиков, объявивших войну старому аристократическому искусству классицизма, бывшему в ту эпоху опорой реакции. Гюго выступил в области драмы как смелый новатор. Разбив отжившие правила классицизма, безраздельно до того господствовавшие на французской сцене и позволявшие изображать только королей, принцев и герцогов, Гюго создал новую драму, проникнутую духом свобододобия. В своем знаменитом предисловии к драме «Кромвель», написанном в 1827 году и ставшем манифестом демократических романтиков, Гюго с большим блеском и красноречием изложил свои взгляды на новую драму. Требуя изображения живых людей, со всеми контрастами прекрасного и безобразного, трагического и комического, возвышенного и низменного, Гюго боролся за демократизацию искусства и приближение его к реальной действительности. Драма Гюго «Эрнани», появившаяся на сцене в самый канун июльской революции 1830 года, вызвала целую бурю в зрительном зале. Реакционная публика каждый вечер освистывала пьесу. Но революционно настроенная молодежь осыпала аплодисментами каждый стих пьесы, воспринимая ее бунтарское содержание как призыв к борьбе за свободу.

Гюго в предисловии к «Эрнани» объяснял сам, что за борьбой литературной скрывалась борьба политическая. «После того, что наши отцы увидели и сделали. — писал он, — мы, наконец, вышли из старых социальных форм; как же не выйти из форм литературных? Новому народу — новое искусство...»

В других своих драмах: «Марион де Лорм» (1829), «Король забавляется» (1833), «Рюи Блаз» (1838) — Гюго также восста-

вал против тирании. Гюго смело вывел на сцену простых людей, и все они — слесарь Жильбер, шут Трибуле, лакей Рюи Блаз — великодушнее, благороднее и морально выше тех аристократов, королей и герцогов, которые их преследуют и губят.

В первом значительном романе Гюго — «Собор Парижской Богоматери» (1831), — в котором он обратился к средним векам, громко звучали те же мотивы — презрения к угнетающим, паразитическим классам и глубокой любви к народу. Сумрачный образ собора выступал в романе как воплощение христианско-католического мира, порабощающего человека. В лице архидиакона собора монаха Клода Фролло, бросающего в руки палачей цыганку Эсмеральду за то, что она не разделила его страсти, Гюго заклеил бесчеловечие и лицемерие церковного аскетизма. В образах блестящего офицера, грубого и циничного распутника Феба и его пустой и ничтожной невесты Гюго разоблачил уродство и бездушие мира аристократии. Людей, способных на подвиг и самоотверженную любовь, Гюго находит только в народе: в уличной танцовщице Эсмеральде и в несчастном подкидыше звонаре Квазимодо.

После революции 1848 года Гюго, избранный сначала в Учредительное, а потом в Законодательное собрание, становится неутомимым борцом за демократическую республику. Его речи против преступной политики Ватикана продолжали его давнишнюю войну с клерикальной реакцией. Когда же племянник Наполеона Луи Бонапарт с помощью кучки политических бандитов захватил власть и уничтожил республику, превратив ее во Вторую империю, а себя — в Наполеона III, Гюго объявил ему войну не на жизнь, а на смерть. Вынужденный отправиться в изгнание сначала в Бельгию, откуда его выслали по требованию Наполеона III, а потом на норманские острова Джерсей и Гернсей в Атлантическом океане, Гюго в течение почти 20 лет не переставал в книгах, памфлетах и стихах хлестать узурпатора бичом своей сатиры.

Узнав, что Наполеон усмехнулся, прочтя его памфлет «Наполеон малый», Гюго пишет:

Смеешься? Под конец ты завопишь,
о мразь!
Еще весь трепеща, глядя на кровь и
грязь
Триумфа твоего — тебя я сгреб, как
вора,
На твой надменный лоб надел ярлык
позора.

Сборник огненных политических стихов Гюго «Возмездие» (1852), клеймящих позором Наполеона и его клику, проникнутых страстным гражданским гневом и скорбью патриота за растоптанную родину, был близок и дорог парижским коммунарам. Об этих стихах

Впоследствии писала Крупская в своих воспоминаниях о Ленине:

«...во вторую эмиграцию, в Париже, Ильич охотно читал стихи Виктора Гюго «Châtiments», посвященные революции 48-го года, которые в свое время писались Гюго в изгнании и тайно ввозились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напыщенности, но чувствуется в них все же веяние революции».

Деятнадцать долгих лет, проведенных Гюго в изгнании, были годами высочайшего подъема его как художника. Но он посвящает свой талант не только борьбе за родину. Находясь на чужбине, Гюго выступает против реакционных тюремщиков и палачей всех народов. В 1859 году Гюго пытается спасти от американского суда Джона Брауна, поднявшего негров на восстание. Вскрывая лицемерную сущность американской лжедемократии, Гюго с негодованием писал: «Палачом Брауна, — заявляю об этом во всеулышание (ибо короли уходят, а народы остаются, и народы должны знать истину), — палачом Брауна будет не прокурор Гентер, не судья Паркер, не губернатор Уайд, не маленький штат Виргиния; палачом Брауна будет, — дрожь пробегает по телу при одной мысли об этом, страшно даже произнести — вся Американская республика... Да, пусть Америка знает и подумает об этом: есть нечто более ужасное, чем убийство Авеля Каином; это убийство Спартака Вашингтоном».

В 1861 году Гюго в открытом письме публикует протест против колониальной политики Англии и Франции в Китае. Он выступает в защиту жителей Крита, поднявших знамя восстания против турецкого ига. Когда же в 1870 году остров Куба поднялся против угнетавшей его Испании, Гюго снова писал:

«Я буду защищать Кубу так же, как я защищал Крит. Ни одна нация не имеет права накладывать свою руку на другую нацию!.. Никакой народ не вправе владеть другим народом, так же, как никакой человек не вправе владеть другим человеком!..»

В годы изгнания завязывается близкое знакомство Гюго с Герценом. Гюго сотрудничает в «Колоколе».

Письмо Гюго к великому русскому революционному демократу свидетельствует о том, что они были соратниками:

«Мой доблестный брат по борьбе и испытаниям!.. Я слежу за вашей красноречивой и победоносной пропагандой, я рукоплещу вам и люблю вас. Гюго».

Обогащенный опытом политической борьбы, Гюго написал в изгнании свои лучшие социальные романы: «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866), «Человек, который смеется» (1869).

На фоне общего упадка французской литературы второй половины XIX века, скептицизма, неверия в людей, распро-

странения теории «чистого» искусства, эти романы Гюго, несмотря на романтическую оболочку, приобрели новую силу общественного воздействия. Непокоримая вера Гюго в прекрасные возможности, заложенные в народе, и страстная защита человека привлекли к его романам любовь широчайших масс всего мира.

Особенно популярен был своим демократическим пафосом роман «Отверженные» в России, где его читали в тюрьмах, ссылках, в рабочей, чиновничьей, интеллигентской среде.

Эпиграфом к роману «Отверженные» Гюго поставил следующие слова: «До той поры, пока не будут разрешены три основные задачи нынешнего века: угнетение людей, ставших пролетариями, падение женщин из-за голода, детское истощение в ночной работе... пока на земле царит нищета и невежество, книги, подобные этой, не могут быть бесполезны».

Рисуя судьбу своего героя бедняка Жана Вальжана, который украл булку для того, чтобы накормить голодных детей, и за это попал на 19-летнюю каторгу, Гюго показал бесчеловечие буржуазного закона, который служит интересам собственников.

Рассказывая о судьбе молодой швеи Фантины, вынужденной стать уличной женщиной, чтобы спасти своего ребенка, Гюго показывает, что преступления, порок и нищета неизбежно порождаются капитализмом. Правда, раскрывая язвы буржуазного общества, призывая к справедливости и состраданию, Гюго проповедует в духе мелкобуржуазного социализма Сен-Симона и Фурье моральное самоусовершенствование и всеобщее примирение классов. Но этим утопическим взглядам Гюго противоречат лучшие страницы его же романа, страницы, овеянные духом классовой борьбы.

С глубокой правдивостью, с сочувствием и восхищением изображает писатель вооруженную борьбу французской демократии на уличных баррикадах 1832 года. Он создает образ задорного парижского мальчишки Гавроша, который подносит патроны революционным бойцам и с веселой песней погибает на баррикадах. В этом обаятельном, глубоко национальном образе Гюго воплотил революционный дух французского народа, его бесстрашие и жизнелюбность.

В романе «Человек, который смеется» Гюго заклеил преступность английской монархии и английской знати. Показав, что английский парламент является защитником интересов реакционных господствующих классов, Гюго устами своего героя, странствующего актера Гуинплэна, бросает ему в лицо проклятие от имени народа.

Гюго вернулся на родину только после падения Наполеона III, когда прусские войска уже подступили к Парижу. В стихотворении «Перед возвращением

во Францию 31 августа 1870 г.» он написал такие прочувствованные строки:

...Я возвращусь к тебе, о мой
Париж, в ограду
Священных стен.
Мой дар изгнанника, души
моей лампаду
Прими взамен.
И так как в этот час тебе нужны
все руки
На всякий труд,
Пока грозит нам тигр снаружи,
а гадюки
Грозят вот тут.

И так как льется кровь, и так
как пламя блещет,
Звяя к борьбе,
И малодушие бледнеет
и трепещет,—
Спешу к тебе!
Когда насильники на нас идут
походом
И давят нас,
Не власти я хочу, но быть
с моим народом
В опасный час.

Зимой 1870—1871 года Гюго остается в осажденном пруссаками Париже. Он обращается к парижанам с зажигательными речами, пишет патриотические воззвания, записывается сам в Национальную гвардию. Его призывы к населению раздуть пожар партизанской войны нашел отклик во многих сердцах:

«Пусть улицы наших городов пожирают неприятеля, пусть окна шлют им смерть, пусть из жилищ в них бросают домашнюю утварь, пусть с крыш на них сыплется град черепиц... Будем вести войну днем и ночью, будем вести ее в горах, будем вести на равнинах, будем вести ее в лесах. Поднимайтесь! Поднимайтесь! Без передышки, без сна! Без отдыха!.. Вольные стрелки, идите, пробирайтесь через кустарники, переходите потоки, пользуйтесь тенью и сумерками, прячьтесь в оврагах, пробирайтесь ползком, прицеливайтесь, стреляйте, истребляйте полчища врагов. Защищайте Францию с героизмом, отчаянием, нежностью. Будьте безжалостны, патриоты!»

Откликом на эти события явился сборник стихов «Грозный год» (1872), посвященный теме народного героизма.

Гюго не понял всемирно-исторического значения Парижской Коммуны.

Революционные методы Коммуны пугали его, но он сохранил симпатии к революционному пролетариату. «На стороне Коммуны — право», — писал он. В дни зверской расправы буржуазии с коммунарами Гюго выступил с резким протестом против версальских палачей. Защищая коммунаров, Гюго предлагал им убежище у себя в Бельгии. Буржуазия ответила ему травлей и организацией покушения на его жизнь.

В последнем своем историческом романе, «93-й год» (1874), Гюго, воссоздавая

контрреволюционный эпизод Вандейского восстания, направленного против молодой якобинской республики, показал, что истинными патриотами были только представители революционного народа, в то время как контрреволюция готова была продать родину иностранцам.

22 мая 1885 года Гюго умер, и грандиозные похороны писателя-патриота превратились в событие политического значения.

* * *

Гюго был писателем больших чувств. И хотя он ошибочно рассматривал мир, как борьбу отвлеченных понятий Добра и Зла, и часто подменял классовые категории моральными, его пылкий гуманизм воспитывал людей, будил их от сна в глухие эпохи реакции. Замечательный советский писатель Алексей Толстой, рассказывая о своем первом знакомстве с творчеством Гюго, которое произошло в конце XIX века, писал:

«Справедливость, Милосердие, Добро, Любовь из хрестоматийных понятий вдруг сделались вещественными образами... Мальчишескому сердцу они казались титанами, и сердце училось плакать, негодовать и радоваться миру больших чувств... Он рассказал мне о жизни человечества, он пытался очертить ее исторически, философски, научно... Он набатно бил в колокол: «Проснитесь, человек бедствует, народ раздавлен несправедливостью!» Это было хорошо и грандиозно — будить человечество...

Оглядываясь на призраки моей юности, затянутые пылью времен, я с улыбкой горячей благодарности вспоминаю мои былые восторги. Гюго научил мое сердце биться — наука пошла на пользу. Я вновь в Большом мире, среди Больших людей».

В наши дни, когда весь мир раскололся на два лагеря — лагерь поджигателей войны и лагерь сторонников мира, — великий писатель-гражданин, защитник дела свободы чудесно зажил новой жизнью и присоединил свой голос к голосу миллионов простых людей.

«Мне кажется, — говорил Гюго парижанам в 1877 году, но нам кажется, что это он говорит всем свободолюбивым народам сегодня, — что в настоящий момент готовится столкновение между войной, к которой стремится прошлое, и миром, которого жаждет настоящее... Граждане, мир победит!»

В своих мечтах о будущем Гюго всегда видел Европу, в которой горжествуют мир и братство народов. Из своего изгнания Гюго писал о том, что в этой Европе порох будет употребляться не для того, чтобы стрелять в груди, а для того, чтобы взрывать горы.

«Мы верим, — писал Гюго, — только в жизнь, справедливость, освобождение, молоко матери, колыбель ребенка, улыбку отца, звездное небо. От тех, кто ле-

жит застывшими и окровавленными на полях битвы, излучается принцип братства... Знаете ли вы, что советуют живым эти покойники? Мир».

Французский писатель-коммунист, виднейший борец за мир Луи Драгон, приводя эти слова Гюго в своей статье «Гюго. Будущее. Мир», говорит, что та Европа, о которой мечтал Гюго, ничего общего не имеет с Европой Поля Рейно и Ги Молле, с Европой Аденауэра и Черчилля, Эйзенхауэра и Ранке. И если мечты Гюго были мечтами великого утописта, то наша уверенность в победе мира основана на реальности и совместных усилиях народов, которые должны и могут обуздать поджигателей войны.

Французской буржуазии, которая продала свою страну американцам, расстреливает рабочих и благожелательно смотрит на попытки нового Бонапарта — де Голля — захватить власть, чужд великий патриот Гюго.

В Париже стоял памятник Гюго на площади его имени. Памятник был сброшен гитлеровцами. Прошло 7 лет со дня освобождения Франции. Но памятник еще не восстановлен. Правителям маршаллизованной Франции безразлична память великого поэта. Больше того: американские хозяева этих гравителей водрузили на свободном постаменте памятника модель автомобиля системы «Форд», являющейся как бы символом маршаллизованной Франции.

Наследниками Гюго являются простые люди Франции. Дух Гюго живет в героической Раймонде Дьен, которая легла на рельсы, чтобы не пропустить поезд, груженный танками и оружием. Дух Гюго живет во французских докерах, которые, несмотря на безработицу и голод, отказываются разгружать транспорты с оружием.

Эти люди завоюют былую независимость Франции.

Друг русского реалистического искусства

«Любите вы людей могучих, энергичных, крепких, непобедимых, которые всегда и везде за себя постоят, да на которых и другие могут понадеяться как на каменную гору? Любите вы людей, которых ничто на свете не сдвинет с их линии и точки, на которых не подействует ни буря, ни ведро, ни угроза, ни ласка, и которые, ни на что не обращая внимания, ни на секунду не рассеиваясь по сторонам, идут к своей цели, к намеченному идеалу как герои, как уверенные в своей будущей победе могучие витязи?» Эти слова В. В. Стасова удивительно подходят к нему самому: он был именно таким человеком, и мы не можем не любить его за это.

Великое дело русских художников-передвижников, дело Репина, Перова, Крамского, было также делом жизни Стасова. Славное дело Глинки и Даргомыжского, композиторов «Могучей кучки» Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова Стасов всегда мыслил как свое дело. Когда А. А. Жданов призывал деятелей советской музыки прочно опираться на классическое наследие, он несколько раз привел в пример Стасова, напомнил его взгляды на народность, его демократизм, его борьбу с низкопоклонством перед Западом.

Мировоззрение Стасова складывалось в прямой зависимости от развития революционно-демократической мысли в России. Своим идейным воспитателем Стасов всегда признавал Белинского, а затем самое решающее воздействие оказал на него Чернышевский. В большой, до предела заполненной жизни Стасова (1824—1906) важнейшим периодом, несомненно, были шестидесятые годы и все то, что связано в русской культуре с шестидесятничеством, с подъемом революционного движения, ростом социального протеста, развитием материалистической философии, с новыми требованиями к искусству и литературе, к художникам.

Страстно убежденный в своих воззрениях, пламенно любящий искусство, горячий и неуправляемый в спорах, Стасов не избегал ни крайности, ни ошибок. Однако все то сильное, здоровое, прогрессивное, что определяло его деятельность, полностью искупает отдельные его заблуждения. Приукрашивать Стасова нельзя. Слишком бурно кипела

в нем жизнь, чтобы его живой облик мог когда-либо застыть перед нами.

Искусствоведческие работы Стасова, в которых наука неотделима от публицистики, интересно изучать не только специалисту; их с увлечением прочтет любой советский читатель, любящий искусство.

В 1950—1951 годах издательство «Искусство» выпустило два больших тома работ В. В. Стасова под названием «Избранное»¹. Это ценное и содержательное издание дает советскому читателю большой круг работ Стасова, множество его текстов, поистине богатый материал для чтения. В «Избранном» представлены работы Стасова с 1861 по 1906 год, посвященные русскому и зарубежному искусству (более всего — живописи, менее — скульптуре и графике), от кратких рецензий и критических откликов до обширных исторических обзоров.

Соратник Репина, Перова, Мусоргского, их друг, советчик и защитник, Стасов ни в чем и никогда немыслим вне борьбы. Что бы он ни делал, о чем бы он ни писал, он всегда был борцом за русское реалистическое искусство, за национальность и реализм, как он сам утверждал.

Стасов хорошо знал, за кого именно надо вести борьбу. В живописи это была прежде всего великая русская школа «передвижников», в музыке — «Могучая кучка» русских композиторов. И в том и в другом случае — явления, особенно близкие нам, составляющие золотой фонд русской художественной классики.

Хорошо знал Стасов и против кого следует вести борьбу. Антиреалистическое, антинародное искусство, реакционная проповедь «искусства для искусства» встречали в нем непримиримого врага. Возникновение и развитие декадентских течений в русском и зарубежном искусстве на исходе XIX века вызвали с его стороны грозный и гневный отпор. Одну за другой обрушивал он на декадентов свои статьи под названиями «Нищие духом», «Подворье прокаженных» и т. д.

В непосредственной зависимости от требований, которые предъявлял Стасов

¹ В. В. Стасов. Избранное. Живопись, скульптура, графика. В двух томах. Изд. «Искусство», т. I, 1950; т. II, 1951.

к искусству, сложился и тот метод, который характерен для его со б л и в с н о й работы ученого-критика-публициста.

Всего более ценил Стасов в искусстве верное и яркое отображение жизни, а не одни формы, краски и звуки, как бы они блестящи ни были. При этом не всякое отображение жизни и не всякую жизнь в произведениях искусства он приветствовал и поддерживал. Все в искусстве, что отражало социально значительное, прогрессивное, обличительно-протестующее в жизни народа, все, что раскрывало его силу, мощь, душевное величие, особенно горячо и настойчиво пропагандировалось Стасовым. Выступая как искусствовед, он, в сущности, поднимал знамя борьбы за определенные жизненные принципы, помогал возбуждать мысли о социальном переустройстве. В этом сильнее и ярче всего выражается связь Стасова с идеями Чернышевского.

Ничто не ценил в такой мере Стасов у великого Репина, как его силу в передаче народной массы, духа и характера русского народа. «У него совершенно свой, особенный взгляд и чувство, — писал Стасов о Репине, — и только тогда он силен и значителен, когда выражает это чувство. А чувство это состоит в постижении и передаче масс людских. В этом он встречается только с одним еще живописцем нашего времени, и опять-таки с живописцем русским — с Верещагиным. Говоря музыкальным языком, про обих надобно было бы сказать, что главная задача их творчества — это хоры. Изображение сцен и судеб отдельных личностей гораздо менее свойственно их натуре. Обоих их тянет в ширь и многообъемлемость масс, с их жизнью и душевными движениями, с целыми прожитыми годами, отразившимися на лице и всей фигуре, и тут-то проявляется все главное их значение. К этому еще, сила и грандиозность составляют всегда отличительную черту создания Репина. Мелкие события и сцены, мелкие личности и мелкие сюжеты лежат совершенно вне его натуры. Ни к кому так не идет, как к нему, название: Самсон русской живописи».

Ничто не ценил Стасов у Федотова, Пукирева, Перова так, как их склонность разоблачать подлинную социальную основу тех людских отношений, которые даны в картинах «Сватовство майора», «Неравный брак», «Приезд ставного на следствие».

Как горячо жаждал всегда Стасов не только увидеть в картине правдивое выражение горя народного, но почувствовать силу народа, уловить, как рождается и крепнет протест! За это он преклонялся перед Мусоргским. Этого он просил у Сурикова. В связи с прославленной картиной Сурикова «Боярыня Морозова» Стасов писал: «Пускай твердых, железных характеров было в самом деле тут мало, пускай их почти даже вовсе не было. Но все-таки, в та-

кую страшную минуту угнетения, позора любимого существа, нельзя себе представить, чтобы даже у самых кротких людей не двинулось что-то грозное в сердце, чтобы они не посмотрели с негодованием, с ненавистью на своих врагов, чтобы хоть на единую секунду не блеснуло у кого-нибудь в глазах чувство злобы, мести, отчаяния. И это должна была бы мне дать картина, хоть где-нибудь, хоть в каком-нибудь дальнем уголке. Пускай люди сжаты железным кольцом, задавлены колодками, а все-таки душа сверкнет и метнется, как ужаленная. И этого не утаишь даже ни перед какими стрельцами».

Требуя от художников прежде всего прогрессивных идейных замыслов, народности, реализма, обличительной силы, выражения чувства протеста, Стасов побуждал их к глубокому проникновению в свою тему, к изучению и подлинному постижению того, что они стремятся отобразить. Как резко отталкивали Стасова «общеευропейские», внешне-национальные скульптурные портреты у князя Трубецкого, который лепил «статую Данта, никогда не читавши ни единой строки этого великого автора; статуи и бюсты Льва Толстого, никогда не читавши ни единой строки Льва Толстого»!

Защищая в искусстве прежде всего активное художественное отображение жизни, Стасов ставил себе общие цели исследователя и критика во всех областях искусства. Художники считают Стасова искусствоведом, музыканты — музыковедом, а сам он никогда не отделил для себя эти области; он постоянно искал в различных искусствах общее содержание, прослеживал общие устремления. Могучий талант и многосторонние знания помогли Стасову верно судить о различных искусствах. При этом Стасов как будто бы не слишком углублялся в их специфику, мало писал о форме, не обращался к специальным терминам, непонятным читателю, неспециалисту. Однако, вчитываясь в работы Стасова, мы находим в них верные, меткие, острые суждения также о художественной форме. Только никогда они не приобретают у него самоудовольствующего значения, всегда целиком подчиняются оценке идеи, смысла, силы выражения в картине, скульптуре, в музыкальном произведении. Редкостное умение уловить общее в живописи и музыке, в литературе и изобразительных искусствах очень обогащает аналитический метод Стасова. Он раскрывает читателю столь важные общие идейные устремления в различных областях искусства, что ни один специалист, целиком ушедший в кропотливое описание художественной технологии (а таких во времена Стасова было очень много в формалистическом буржуазном искусствознании), ни о чем подобном и догадаться не смог бы! Так, в статье «Перов и Мусоргский» Стасов показы-

вает, как русская живэпись и русская музыка овладевают новой тематикой социального обличения и протеста, новыми жизненными образами, представленными в народных сценах «Бориса Годунова», «Хованщины», в песнях Мусоргского, а также в картинах Перова «Сельская проповедь», «Сельские проводы покойника», «Тройка», «Божий челодек» и др.

В своих обширных исторических обзорах Стасов берет весь процесс развития искусств, касается вопросов архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, характеризует их общее поступательное движение. Здесь о музыке пишется вовсе не только для музыкантов, а о живописи — отнюдь не только для живописцев. Отсюда обзоры эти, такие, как «Искусство XIX века», «Двадцать пять лет русского искусства», строго говоря, неделимы на части. Мысль Стасова — в том-то и особенность ее! — объединяла различные искусства в процессе их рассмотрения. Поэтому мы искусственно обединяем работы Стасова, если изымаем из его обзоров ту или иную часть. К сожалению, рецензируемое издание грешит как раз такого рода сокращениями. В самом обширном историческом обзоре «Искусство XIX века» исключены статьи «Архитектура» и «Музыка». Между тем в заключительной главе обзора мы находим целый абзац, посвященный превосходству музыки над другими искусствами именно в XIX веке. Прочитав эти строки и раздражившись ими, всякий пожалеет, что о музыке-то здесь ничего и нет! Сказанное относится также к обзорам «Двадцать пять лет русского искусства» и «Тормозы нового русского искусства»; все, что не касается живописи и скульптуры, в них исключено, хотя для этого пришлось буквально разорвать ткань второго из них.

В соответствии с эстетическими требованиями и методом Стасова находится и его литературный стиль. Стасов пишет смело и широко, с удивительной энергией, ярко, образно, резко, давая выпуклую характеристику явлениям искусства, растолковывая замысел художника и всегда отстаивая отчетливую оценку этого замысла. Никакая уклончивость, никакие «осторожные» формулировки для Стасова немислимы. Ни иоты ложной «научности» у него быть не может. Его речь звучит, как речь трибуна. Он не стесняется ни выражениями огненного восторга перед тем, что его захватывает и покоряет, ни выражениями негодования и презрения к тому, что его возмущает. Публицистика Стасова всегда наступательна, действительна, она увлекает и убеждает читателя.

С великой и благородной гордостью пишет Стасов о родине, о русском искусстве. В связи с подъемом прогрессивных направлений в искусстве XIX века

он заключает: «Какую же роль играла художественная Россия среди этого почти всеобщего движения? Она играла роль не только передовую, но просто — самую первую. Она на целых тридцать лет опередила остальные страны Европы».

Когда группа молодых и передовых русских художников в 1863 году, накануне выпуска, вышла из Академии художеств, протестуя против условностей и канонов ложноакадемической живописи (на конкурс была предложена мифологическая тема «Пир в Валгалле»), образовала «Художественную артель», а затем «Товарищество передвижных выставок», Стасов повел смелую, решительную и вдохновенную борьбу за реалистическое искусство «передвижников». Он раскрывал перед читателем истинный общественный смысл этого нового направления: «У них, — писал Стасов о «передвижниках», — была своя цель перед глазами, а цель эта не мирилась с тем, что совершалось в действительности». И далее он рассказывает о новых воззрениях русских художников, об их опоре на идеи революционных демократов, о тяге к новым социальным темам и сюжетам.

С поразительной меткостью и широтой разъяснял Стасов народный и национальный характер искусства «передвижников», т. е. Репина, Перова, Крамского, Вл. Маковского, Ярошенко, Савицкого, Мясоедова и других. «Все классы русского общества бывали у них представлены, но только если русский народ преимущественно состоит не из генералов и аристократов, не из графинь и маркиз, не из больших людей, а всего более из маленьких, не из счастливых, а из бедствующих, — то, понятно, большинство сюжетов в новых русских картинах, если они хотят быть «национальными», русскими непритворно, а равно и большинство действующих лиц в русских картинах должны быть не Данты и Гамлеты, не герои и шестикрылые ангелы, а мужики и купцы, бабы и лавочки, попы и монахи, чиновники, художники и ученые, рабочие и пролетарии, всяческие «истинные» деятели мысли и интеллекта. Русское искусство не может уйти куда-то в сторону от действительной жизни. Оно делает точь-в-точь то самое, что великая, правдивая и талантливая русская литература».

Особенно высоко ценил Стасов искусство Репина. Сейчас это настолько просто, что, казалось бы, иначе и быть не может. Однако тогда, когда Репина нужно было впервые понять, поддержать и отстаивать, это было возможно лишь при зоркости взгляда, смелости суждений и воинствующей позиции критика. Стасов был первым критиком, раскрывшим глубокий смысл такой картины, как «Бурлаки на Волге», о которой он отзывался многократно и всегда с восторгом.

Об известном «Протодиаконе» у Репина Стасов писал, что это один «из самых истых, глубоко национальных русских типов, «Варлаамище» из пушкинского «Бориса Годунова». В «Заметках о передвижной выставке» 1883 года Стасов дал превосходный анализ большой картины Репина «Крестный ход в Курской губернии», заключив его так: «И все это вместе,двигающееся прямо на зрителя, издали, громадной разрастающейся процессией — это одно из лучших торжеств современного искусства». В борьбе со всеми неверными толкованиями глубоко и верно раскрыл Стасов высокий смысл знаменитой картины Репина «Не ждали», сказав еще в 1884 году: «Я считаю эту картину одним из самых великих произведений новой русской живописи. Здесь выражены трагические типы и сцены нынешней жизни, как еще никто у нас их не выражал». К лучшим достижениям Стасова относятся также работы о Перове.

В каждой картине Перова Стасов раскрывал ее связь с действительной жизнью, обнаруживая при этом такую творческую силу и такое проникновение в социальные конфликты, которые были просто поразительны для его времени: он постигал не только суть изображаемых русскими художниками жизненных конфликтов, но и возможность их развития; он видел в картине не только настоящее, но порою и неизбежное будущее ее героев.

О картине Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом» у Стасова сказано, что она — «не трагедия покуда, но настоящий пролог к трагедии. Вся купеческая семья высыпала встречать новоприезжую барышню из столицы: впереди всех — разжиревший отец-самодур; он стоит тумбой в своем плисовом халате и упер заплывшие глаза на оробевшую девушку, которая поспешно шарит рекомендательное письмо; позади него — мужичка-жена, только прибежавшая с кухни и подозрительно глазящая на гувернантку; бесцвечная дочка-девочка, уже огрубевшая; сын — будущий кутила трактиров, теперь покуда жадно глядящий на гувернантку, — целая семья из «темного царства». Какая трагедия ожидает эту свежую, приезжую из столицы девушку!»

В этом кратко и выразительно анализе есть все необходимое: подчеркнут идейный и эмоциональный смысл картины, ее драматическая тенденция, и — в самом ходе изложения — выделены важные элементы ее композиции, очерчены ее характеры, выявлен ее основной контраст.

Не одних русских художников-реалистов поддерживает и пропагандирует Стасов. Горячо откликается он на все лучшее в зарубежном искусстве. Многие страницы его работ, посвященные ис-

панцу Гойя и англичанину Гогарту (в которых Стасов видел родоначальников реализма), а затем французам Курбе, поляку Матейко и десяткам других зарубежных художников-реалистов, свидетельствуют о глубоком интересе Стасова к передовому искусству ряда европейских стран, о его обширных знаниях также и в этой области.

Исключительный интерес представляет та смелая и решительная борьба, которую повел Стасов с нарождающимися течениями декаданса в искусстве. «Разве у нас, в России, — писал Стасов в 1899 году, — выдуманы слова «декадент», «декадентство»? Никогда. Они придуманы на Западе, и их назначение — клеймить ту секту, которая большинству людей противна, гадка и невыносима, как безобразие, как насильствие природы, как искажение ее, как поклонение тому, что безумно по содержанию и бестолково по форме». Работы Стасова, в которых он разоблачает антинародную, гнилую сущность декадентства, звучат и сегодня во многом актуально: мощный голос Стасова хорошо помогает нам в борьбе с упадочным буржуазным искусством!

Величие и сила Стасова более всего не позволяют умалчивать о его ошибках и заблуждениях. Стасов был силен там, где проявлялась его общая идейная близость к русским революционным демократам. Вместе с тем Стасов был слабее их в целом ряде своих утверждений и домыслов. Так, он далеко не всегда правильно понимал исторический процесс; отстаивая новое искусство, доходил до крайностей и отрицал многое в старом (в частности, в русском искусстве XVIII века, в искусстве Ренессанса). Наряду с ошибочными суждениями об отдельных картинах Серова, Васнецова, где он высказывал подчас неверные, крайние взгляды на развитие жанров русского искусства (например, оперы). Бывали даже случаи, когда Стасов не постигал вполне крупнейших явлений русского реализма: так он не сумел оценить по достоинству Чайковского. Обо всем этом следовало бы прямо и недвусмысленно сказать, комментируя новое издание работ Стасова. Однако это не сделано в должной мере, что уже справедливо отметил В. Кеменов в статье «В. Стасов и русское искусство» («Большевик» № 17, 1951). Не исправлены в некоторых случаях и грубые опечатки, перенесенные из старого трехтомного «Собрания сочинений В. В. Стасова» в нынешнее «Избранное».

Не снимая этих существенных упреков к новому изданию трудов Стасова, подчеркнем все-таки в заключение: советский читатель получит и огромную пользу и высокое удовлетворение от того богатства идей и художественных наблюдений великого русского публициста, которые он здесь найдет.

Образ советского судьи

Русские классики уделяли немало внимания дворянско-буржуазной юстиции. Судьи, прокуроры, присяжные заседатели, следователи, адвокаты, «ходатаи» по делам, как отрицательные персонажи, проходят перед нами на страницах произведений Н. Гоголя, А. Толстого, А. Островского, Ф. Достоевского, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Лескова, Г. Успенского, А. Чехова и других. Н. Гоголь в «Ревизоре» увековечил почтенного судью Аммоса Федоровича Тяпкина-Ляпкина, сама фамилия которого ярко характеризует квалификацию и моральный облик этого жреца правосудия. Великий сатирик, создавая галерею образов «небокоптителей» и нравственных уродов николаевской России, естественно, не мог обойти молчанием судью — блюстителя закона, опоры крепостничества и самодержавия.

А. Толстой в «Воскресении» показал судебную систему дворянско-буржуазного государства во всей ее отвратительной наготе; он заклеил бюрократизм этой системы, тупость, ограниченность и преступное равнодушие судей к простому человеку, попадающему на скамью подсудимых. Судьи Катюши Масловой — истуканы в мундирах!

М. Горький в романе «Мать» дал великоленную характеристику классовой природы буржуазного суда, карающего передовых рабочих, поднявшихся на борьбу за свое освобождение. Судьи Павла Власова — лакеи российского капитализма, одержимые слепой ненавистью к рабочему классу, к революции, к социализму, ко всему прогрессивному вообще.

Вл. Короленко был неутомимым борцом с буржуазной юстицией. Его очерки о «Мултанском жертвоприношении», по делу Бейлиса, «Сорочинская трагедия», «Честь мундира и нравы военной среды» — образец художественной публицистики, написанной кровью сердца и оставляющей неизгладимое впечатление.

А. Толстой, М. Горький, Вл. Короленко, при всем различии их идейных позиций, не просто обличали «неправедных» судей, прокуроров, следователей и сенаторов. Они ополчались против самих основ буржуазного суда и законодательства, призванного ограж-

дать интересы эксплуататорских классов.

А русские народные поговорки о дореволюционных судах и судьях! Сколько в них справедливого гнева и презрения к деятелям царского «правосудия»!

Судья дворянско-буржуазного мира был врагом народа, душителем народных чаяний, надежд, порывов к свободе и счастью. Образ такого судьи отражен в бессмертных творениях русских классиков, в фольклоре.

Советский судья — друг народа, его защитник и соратник в борьбе за коммунизм. Наши писатели не создали ни одного запоминающегося образа народного судьи, прокурора, следователя, адвоката социалистического общества. А жаль! Судебная практика дает огромный материал для этого. Свидетельство тому — очерк В. Шалагинова «Судья», напечатанный в журнале «Новый мир»¹ под рубрикой «Дневники, воспоминания, документы».

В. Шалагинов не литератор-профессионал. Он — судебный работник. Ему захотелось рассказать о жизни и деятельности сибирского судьи Николая Александровича Елизарьева, с которым он связан многими годами совместной работы, и получился впечатляющий документальный портрет судьи-большевика, человека нового, социалистического типа.

В советском «Законе о судостроительстве» говорится: «Советский суд, применяя меры уголовного наказания, не только карает преступников, но также имеет своей целью исправление и перевоспитание преступников. Всей своей деятельностью суд воспитывает граждан СССР в духе преданности родине и делу социализма, в духе точного и неуклонного исполнения советских законов, бережного отношения к социалистической собственности, дисциплины труда, честного отношения к государственному и общественному долгу, уважения к правилам социалистического общежития».

Эти слова, данные в сноске под текстом, следовало бы поставить эпиграфом к очерку В. Шалагинова, потому что все эпизоды и образы очерка пре-

¹ 1951 г., №№ 10, 11.

восходно иллюстрируют эту не только карающую, но и воспитывающую роль советского суда, возложенную на него «Законом о судостроительстве».

Николай Александрович Елизарьев, сын сапожника, сирота, выращенный и воспитанный советской властью, трудится на судейском поприще не одно десятилетие. В Шалагинове лаконично и убедительно рисует различные этапы судебной практики Елизарьева, его духовный и профессионально-судейский рост, рассказывает о его первых ошибках и достижениях.

Разные дела приходилось разбирать Н. Елизарьеву: бракоразводные, кражи, бытовые убийства, преступления по должности, кулацкий саботаж и вредительство, террористические акты и т. д.

Заслуга В. Шалагинова в том, что он не увлекается простым фотографированием тех или иных судебных процессов, хотя они любопытны и сами по себе. Эпизоды процессов нужны автору очерка для постановки больших вопросов, для широких обобщений.

Вот слушается дело молодого вора Еруслана Лазаревича Пятибротова. Обвиняемый безоговорочно признает свою вину, щеголяет блатными словечками, аттестует себя как опытного, умелого и несправимого «рецидивиста». Казалось бы, ему обеспечено заслуженно суровое наказание. Но в деле обнаружен технический чертёж, сделанный рукою обвиняемого на ватмане. Чертёж заставляет судью призадуматься. Под маской «неудобного профессионального вора» судья проницательно распознает не более чем позерство молодого паренька, в основе своей труженика, а не преступника. Судья приговаривает Пятибротова к наказанию условно, потом долго беседует с осужденным, устраивает его учиться в школу ФЗО. Судья-большевик ведет упорную борьбу за человека. И борьба приносит победу: Пятибротов становится отличным работником на транспорте.

В этом эпизоде правдиво раскрывается гуманизм советского суда, чуткость и человечность самого судьи, народных заседателей, помогавших Елизарьеву выпрямить свихнувшегося Еруслана Пятибротова.

«Судебное дело, — пишет В. Шалагинов, — это подчас повесть о конфликте, о столкновении человеческих страстей, интересов. Но совсем не всегда факты, запечатленные на страницах дела, открывают прямую дорогу к истине. Наоборот, некоторые из них заслоняют правду, уводят от нее, дают пищу ложным, ошибочным представлениям. И чтобы установить истину, надо дать верную оценку всем этим фактам, объяснить себе все неясное и противоречивое».

Судья Н. Елизарьев выступает перед нами талантливым искателем истины в судебном процессе, мастером распутывания сложнейших противоречий. Талант его особенно наглядно раскры-

вается в крупных уголовных делах. Вот дело об убийстве кулаками двадцатипятилетнего Миронина, дело об ограблении колхозной кладовой и убийстве сторожа Еремеева и ряд аналогичных дел. Как ни хитрят, ни изворачиваются обвиняемые, как ни стараются они запутать судебное следствие различными «маневрами», — логика судьи побеждает и неизменно торжествует истина. Невинные оправданы, преступники наказаны!

Елизарьев говорит: «Никто не может продиктовать нашим судьям приговора по делу, предрешить исход дела до суда и без суда. Мы не простили бы этого ни тому, кто велел, ни тому, кто послушался. Но допустим, что приговор вынесен. Я огласил его именем Республики. Значит, это не только мой приговор и не только приговор трех судей, но приговор всех моих соотечественников, всего народа. Именем народа! Как же мне может быть безразлично отношение к нему советских людей, отношение советских и партийных органов! Государственно ли решено дело — вот что волнует судей. И главное: что надо сделать для предупреждения подобных преступлений в будущем».

Эти формулы освещают ярким светом всю судебную практику Н. Елизарьева, помогают нам понять его непримиримость к врагам народа, его «мягкость» к случайным преступникам, подающим надежды на исправление, систему его профилактических усилий. Да, он решает дела государственно!

Особый интерес представляет педагогическая практика Н. Елизарьева. Он передает свой опыт молодым судьям, воспитывает начинающих юристов. Молодой судья готовится к отчету перед населением и обращается за советом к Н. Елизарьеву. «Вы пишете, что Вам хотелось бы нарисовать идеальный образ советского судьи, — отвечает Елизарьев, — и что, перерыв всю районную библиотеку, Вы не смогли найти подходящего материала. Прочтите еще разок речь Иосифа Виссарионовича в Большом театре 11 декабря 1937 года. Помните: быть таким, как Ленин. Судья должен стремиться быть таким, как Ленин, должен быть деятелем ленинского типа».

«Товарищеские письма» Н. Елизарьева молодым судьям пронизаны этим стремлением — помочь быть деятелем ленинского типа! И отсюда их конкретность, требовательность, умный, пристрастный в хорошем смысле слова разбор ошибок и промахов народных судей.

Диапазон «назидательных» писем Н. Елизарьева поразительно широк. Ничто не ускользает от его зоркого глаза! Он настойчиво требует от судей государственного подхода к малым и большим делам. Надо полагать, что «Товарищеские письма» Н. Елизарьева принесли огромную пользу тем, кому были

адресованы. Но они интересны и нам, не юристам, обыкновенным читателям. В каждом письме чувствуется живая мысль, страстная заинтересованность в деле, педагогический такт автора и, мы бы сказали, судейская мудрость, основанная на большевистской партийности.

Интересно ставится в очерке В. Шалагинова вопрос об интуиции в судейской практике. Вопрос трудный, мало исследованный психологами и юристами-теоретиками. Спираясь на опыт судей Елизарьева, Старовойтова и следователя Носова, автор предлагает вниманию читателя ряд эпизодов, где показана интуиция в действии. Бывают столь сложные, замысловатые по содержанию дела, когда и опытный судебный работник долго не может подобрать «ключа», не знает, как подступиться к разбору, чтоб не впасть в ошибку.

Председатель колхоза Демидов совершил неслыханное в практике земледелия: засеял двадцать гектаров на невспаханной земле! Райисполком направил об этом докладную прокурору. Следователю Носову поручили начать следствие. Носов рассказывает: «— Так вот, сижу у окна, наблюдаю, и вдруг сзади меня — шаги... Смотрю — Демидов. Большой, внешне спокойный. Начинаю допрос. А Демидов все как бы недослышит: ответит на мой вопрос — и покосится в окно. «Признаете, — спрашиваю, — себя виновным?» — «Признаю», — говорит. А сам снова глядит в окно. Тогда я сухо-официально говорю: «Слушайте, Демидов, вы, кажется, до сих пор не усвоили, что статья, которая вам грозит, влечет за собой лишение свободы. Тюрьму!» А он поднял на меня глаза и смотрит. Прямо, неотрывно. А потом и говорит — медленно так, глухо: «Побольше беда есть, товарищ следователь». — «Умер кто-нибудь?» — «Нет, — говорит, — хуже! Засуха! Вот если и эта туча мимо пройдет — погиб наш хлеб». И показывает мне на окно. Вижу — большая туча подходит. Темнее, темнее — и вдруг как посыплет! Ну прямо ливень! Сразу дышать стало легче, по свежему вокруг, мокрой землей запахло! Стою я у окна, люблюсь, и Демидов со мною рядом. За подоконник ухватился и все небо осматривает. Потом рассмеялся: «Уж это не вы ль дождем распорядились? — спрашивает. — Обложной, долгий стал-быть. Пролетела, выходит, беда, товарищ следователь. С хлебом будут колхозы!.. Давайте о вашем ко мне деле говорить». А я подумал-подумал и говорю: «Нет у меня к вам больше дела. Поезжайте, говорю, домой, Алексей Кузьмич!». — На каком, спрашиваешь, основании я так поступил? А вот на каком. Я рассудил: если общая колхозная беда ближе сердцу этого человека, чем своя собственная, то, значит, он не преступник. И значит, достаточно того, что я ему сказал».

Речь, видимо, шла о посеве пшеницы по стерне по методу Т. Д. Лысенко. В

Сибири это было дело новое, неслыханное и невиданное. Экспериментатор-мичуринец мог очутиться на скамье подсудимых, ибо даже райисполком не слышал о таких посевах. Возможно, следователь в то время тоже не слышал о посевах по стерне, проводимых лысенковцами-практиками, но интуиция подсказала ему, что обвиняемый Демидов не преступник, не враг народа. Следователь Носов принял верное решение, государственно подошел к трудному вопросу. Председателя колхоза спасла следовательская интуиция.

Есть в очерке примеры и обратного свойства, когда интуиция подвела неопытных, плохо подготовленных судей. Вывод напрашивается сам собою: оружие интуиции бьет без осечки лишь в умелых руках.

Заслуживают внимания также мысли В. Шалагинова и Н. Елизарьева о роли адвоката в советском суде, о функциях юрисконсульта в советском учреждении, на заводе и др.

В «Товарищеских письмах» Н. Елизарьева чрезвычайно любопытны замечания о языке судебной документации. Поправляя молодого судью, Н. Елизарьев говорит:

«— Вы довольно хорошо пишете приговоры и решения. Полно, толково, содержательно... Мотивируете, ссылаясь на законы. Но Ваш язык? Сколько древностей в нем! «Содеял» — вместо «совершил», «учинил дебош» — вместо «подрался», «вчинил иск» — вместо «предъявил иск» и т. д. Шеголяние подобной терминологией иногда считают у нас хорошим тоном, а некоторые юристы даже думают, что этот музейный словарь чуть ли не обязателен. Они предполагают, что юристам свойственны свой язык, своя языковая форма, и что она определенным образом отличает их от простых смертных, — вроде, как мундир отличает военного от штатского. Это не совсем так. Право, как и любая наука, имеет, конечно, и собственную терминологию. Но зачем хорошие русские слова заменять плохими (старыми) словами или же без надобности иностранными?»

— В протоколах судебных заседаний у Вас господствует штамп. Почему? Потому, что Ваши секретари подавляют человеческую индивидуальность каждого, кто говорит на суде, стараясь писать «грамотнее»; по сути же дела, заменяют собой и подсудимого, и истца, и свидетелей, и прокурора, и адвоката. Пример. Свидетель говорит: «Шел пешком». А Ваш «грамотный» секретарь записывает: «Передвигались без помощи транспорта». Или, что это за выражение: «Привел себя в нетрезвое состояние». Кто так скажет? Разве один Илья Сохатых из «Угрюм-реки!» Простой человек скажет: «написал», «выпил», «хватил лишнего». Утюг Ваших секретарей не просто наводит лоск грамотности на судебные документы — он губит жизнь,

а ведь в самом законе сказано, что показания в протоколе записываются в первом лице и по возможности дословно».

Прошу прощения у читателей за длинную выписку, но цитата кажется мне совершенно превосходной. Она относится не только к языку судебных протоколов. Доводы Н. Елизарьева заключают в себе неоспоримый, всеобщий смысл. Разве не относится гневный упрек судьи к некоторым нашим прозаикам, драматургам, поэтам? Разве нет у нас писателей, наводящих «лоск грамотности» на диалоги и монологи своих героев и губящих тем самым живую речь? Разве нет литераторов, «подавляющих человеческую индивидуальность» в языке героев? И разве нет литературоведов, которые, подобно юристам, выдвигают «свою языковую форму», свою терминологию, пишут так, что рядовой читатель не в силах ничего понять?

Очерк В. Шалагинова заканчивается словами судьи Н. Елизарьева: «Есть у нашего суда одна драгоценная особенность: мы судим прошлое, старое, рачищаем дорогу в будущее, дорогу к коммунизму, к счастью человечества. Если там, за рубежом, в капиталистическом мире, судьи от денежного мешка тщетно пытаются рубить полные сил побеги будущего, то мы выкорчевываем худую траву, злой татарник, острец, старые гнилые пни, еще распространяющие порой миазмы в нашем обществе. В этом источник силы и правоты нашего народного суда».

Образ судьи Николая Александровича Елизарьева, нарисованный В. Шалагиновым, убеждает в том, что советские судьи успешно судят старое и «выкорчевывают худую траву» на необъятных полях социалистического общества. Наши судьи — люди с чистой совестью!

Однако в очерке «Судья» имеется существенный недостаток. Все наиболее яркие примеры из биографии Н. Елизарьева относятся к двадцатым и тридцатым годам. Практика Н. Елизарьева в годы Отечественной войны и после вой-

ны не показана, и это придает очерку исторический характер. А следовало бы «подтянуть» материал к нашим дням, насытить его злободневностью, показать судью в атмосфере непосредственной борьбы за коммунизм, в свете новых задач, поставленных жизнью перед органами советской юстиции.

Вообще надо сказать, что заключительные главы очерка написаны слабее. Глава «О шелухе и плесени» весьма легковесна, явно рассчитана на увеселение читателя. Дело о продаже двумя мошенниками дрянной старой скрипки как «Страдивариуса» заведующему бакалейным киоском представляет собою вариацию рассказа О'Генри «Дети в джунглях», где жулики продают за две тысячи долларов халтурную картину «Досуги любви», назвав ее произведением Леонардо да Винчи.

В эпизоде В. Шалагинова и в рассказе О'Генри покупатель одержим зудом спекуляции, стремлением «поработать» на покупке. Пагубная страсть заводит его в ловушку профессиональных жуликов, более искушенных в криминале, чем он сам.

Разумеется, жулики, описанные В. Шалагиновым, вряд ли знакомы с рассказами О'Генри. Возможно, они изобрели этот прием самостоятельно. Однако суть не в этом. Таких «дел» в судебной практике мало, и они не типичны для нашей страны, отдадут судейским анекдотом. Для показа борьбы с пережитками капитализма автор мог подобрать более характерные и жизненные случаи.

Очерк написан точным, выразительным языком. В. Шалагинов обладает дарованием рассказчика, умеет найти нужную интонацию для передачи мысли, оттенка ее, знает цену художественной детали в повествовании, знает «секрет» эмоционального воздействия на читателя.

Хочется посоветовать автору продолжить работу над очерком и подготовить «Судью» для издания отдельной книгой.

Новые книги

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Литературно-художественный и документальный сборник «За Родину! За Сталина!»¹ воскрешает важнейшие события Великой Отечественной войны, начиная с первых дней ее и вплоть до решающей победы Советской Армии под Сталинградом. Книга повествует об исторических подвигах комсомольцев, о боевых делах славной советской молодежи. В своей статье «Поколение героев» дважды Герой Советского Союза генерал армии В. И. Чуйков, высоко оценивая мужество молодых участников сталинградского сражения, тепло пишет «...о гордом, непреклонном, неукротимом волевым характере Сталинского поколения молодежи, о широкой отважной душе ее, о высокой воинской дружбе и братстве...»

Первые месяцы войны... Битва за Москву... Бои под Ленинградом... Героическая оборона Одессы и Севастополя... Великое сражение под Сталинградом... Эти важнейшие вехи войны составили пять разделов сборника. В книгу вошли исторические речи И. В. Сталина от 3 июля и 7 ноября 1941 года. Читатель найдет в ней и ряд других документов: выступление А. А. Жданова на заседании Верховного Совета СССР в июне 1942 года об обороне Ленинграда, сообщения Совинформбюро о поражении немцев под Москвой, о прорыве блокады Ленинграда, о разгроме немецких захватчиков под Сталинградом. Статьи и фотографии о немержнувших подвигах Николая Гастелло и Виктора Талалихина, Наталии Ковшовой и Марии Поливановой, Александра Чекалина и Тимура Фрунзе, известные очерки П. Лидова «Ганя» (о подвиге Зои Космодемьянской), В. Коженикова «Декабрь под Москвой», В. Гроссмана «По дорогам наступления», А. Хамадана «Бессмертие», отрывок из киносценария Н. Вирты «Сталинградская битва», стихи В. Лебедева-Кумача, А. Твардовского, Н. Тихонова, А. Суркова, Джамбула в яркой форме воспроизводят незабываемые дела и битвы. Среди многочисленных фотодокументов, органически входящих в книгу, запоминается выразительная телеграмма, полученная Ленинградским областным комитетом комсомола через несколько часов после речи товарища Сталина по радио 3 июля 1941 года: «Все комсомольцы Сланцевского района уходят добровольцами на фронт и в партизанские отряды».

¹ ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА! Комсомольцы и молодежь вооруженных сил Союза ССР в Великой Отечественной войне. Литературно-художественный и документальный сборник. 1941—1942 гг. Воениздат. М. 1951.

НА СТРАЖЕ МИРА

Повесть Якова Пановко «Огневой взвод»², выпущенная издательством «Молодая гвардия» в серии «Первая книга молодого автора», будет с интересом встречена читателями. Писатель рассказывает в ней о боевой учебе советских воинов-артиллеристов, о дружном армейском коллективе, воспитывающем в каждом бойце высокие моральные качества советского патриота и закаляющем его волю и характер.

Действие повести происходит в 1949—1950 годах. Молодой писатель сумел показать неразрывную связь, существующую между нашим народом и его армией: в жизнь артиллерийского полка властно вторгается кипучая жизнь страны, и каждый воин — от командира полка до рядового солдата — полон чувства высокой гордости от сознания, что ему доверена священная обязанность охранять мирный труд советских людей, строящих коммунизм.

«Телегин стоит на посту, — пишет автор. — Тишина... И повсюду сотни сотен Телегиных охраняют сотни сотен постов. Пробуждается Родина... Бегут во все концы страны поезда — с кубанской пшеницей, с туркменским хлопком, с турбинами для Волги, с комбайнами для украинских степей...»

СТИХИ ОСИПА КОЛЫЧЕВА

Небольшая книжка стихов и песен О. Колычева³ включает произведения, написанные или переработанные поэтом за последние десять лет. Главная тема первого раздела сборника — «Победа» — Великая Отечественная война. Центральное место здесь занимает «Баллада о Сталинграде», которая передает чувства преданности и любви советских воинов к своему великому вождю и полководцу И. В. Сталину, чье незримое присутствие и неизменную поддержку бойцы ощущали в дни самых тяжелых боев:

Нередко в самый трудный час
Он появлялся среди нас.

.....

Когда сраженья шли в домах
Во весь невиданный размах,
Он в каждый заходил этаж,
Он в каждый заходил блиндаж,
Главнокомандующий наш.

Картины подмосковной природы, сенокос, уборка урожая, жизнь в пионерском лагере — вот темы произведений второго разде-

² Яков Пановко. Огневой взвод. Л. «Молодая гвардия», 1951.

³ Осип Колычев. Стихи и песни. М. «Советский писатель», 1951.

ла книги — «Дубки молодые». В последнем разделе — песни.

Поэтический сборник Осипа Колычева оставляет неровное впечатление. Наряду с удачными произведениями («Реактивный самолет», «Соловьи», «Баллада о Сталинграде», «Земляника», «Песня о Красной Армии», «Песня о советском солнце») нередко встречаются и стихотворения бессодержательные, риторичные, мало выразительные, недостаточные по мастерству («Дары леса», «В Подмосковье», «Лето 1950 года», «Зимней ночью», «Мичуринец», «На физкультурном параде»). В стихах попадаются тяжелые словесные обороты и языковые погрешности («Кронами он уж достал коммунизм», «с бровью, как стих из акына»). Думается, что поэт мог бы избежать этих недостатков, если бы более тщательно работал над этими стихами.

КНИГА О ГАЙДАРЕ

«Когда его страна воевала, он был солдатом; в мирные годы писал книжки для детей. Такова в нескольких словах биография Аркадия Гайдара, начавшаяся во время гражданской войны и прерванная его героической и безвременной гибелью на фронте войны Отечественной», — пишет об Аркадии Гайдаре С. Я. Маршак в своей небольшой статье, открывающей сборник «Жизнь и творчество А. П. Гайдара»¹.

Это — первый сборник материалов о Гайдаре. Из воспоминаний его друзей-писателей Р. Фраермана, К. Паустовского, Б. Емельянова, Л. Кассиля, сестры и сына писателя, его фронтовых товарищей, из публикуемых дневников и писем Гайдара встает обаятельный образ этого талантливого писателя и человека, умного наставника детей и их большого друга, умевшего находить путь к сердцу советских ребят. В своих жизнерадостных, проникнутых теплым юмором и овеянных подлинной романтикой поэтических произведениях Аркадий Гайдар ставил важнейшие вопросы нашей действительности, воспитывая в своих юных читателях любовь к Родине, мужество, глубокую человечность, чувство товарищества.

Читатели книги познакомятся с несколькими образцами творчества Гайдара-журналиста, в частности с его интересным и ярким очерком о рыболовецком колхозе на севере — «Шумит Мудьюга». В сборник включены также неопубликованные произведения писателя: неоконченная повесть «Бумбараш», отрывок из повести «Обыкновенная биография», задуманной Гайдаром как продолжение известной повести «Школа», и др. В конце книги помещены даты жизни и творчества Гайдара и библиографическая справка, свидетельствующая о широкой популярности произведений писателя.

Дом детской книги, подготовивший сбор-

ник материалов об А. П. Гайдаре, сделал полезное дело. Однако отбор этих материалов проведен недостаточно строго. Из огромного наследия Гайдара-журналиста нетрудно было выбрать более значительные и совершенные образцы, чем фельетон «Альбомные стихи» и стихотворение «Еще и еще раз в эти метельные дни...». Хотелось бы также, чтобы статья Ф. Эбин о творчестве писателя была более обстоятельной и глубокой. Аркадий Гайдар этого заслуживает.

СКАЗКИ НАРОДОВ СЕВЕРА

Сказка — один из наиболее распространенных жанров народного творчества. В ней отражаются жизнь и быт народа, его нравы и обычаи, его стремления и мечты. Выпущенный Государственным издательством художественной литературы обширный сборник сказок народов советского Севера² представляет особый интерес: в него включены образцы творчества 24 народностей, еще до недавнего времени не имевших письменности.

Своеобразная и суровая жизнь народов Крайнего Севера — ненцев, эвенков, нанайцев, чукчей, алеутов, эскимосов, юкагиров, нивхов и других, упорная и тяжелая борьба охотников, оленеводов и рыбаков с природой, мир животных, их повадки, их огромное значение для человека — все это послужило содержанием большинства сказок. Безрадостной и тяжелой была в прошлом жизнь северных народностей, находившихся в кабале у богатеев и шаманов. Во многих сказках отразился протест народа против угнетения и бесправия: наряду со сказочными богатырями, побеждающими темные силы, героями таких сказок нередко выступают смелые и умные бедняки. В сказках нашла выражение давняя дружба малых народов Севера с русскими людьми, защищавшими их от набегов из-за моря, от непрошенных гостей — американских авантюристов, торгашей, беззащитно грабивших охотников за пушниной.

Свободная жизнь, которую советская власть дала трудящимся, породила новые темы в народном творчестве. В современных сказках зазвучали новые мотивы: любовь к советской Родине, к великим вождям Ленину и Сталину, которые принесли в тундру свет новой жизни, уверенность в счастливом будущем.

Нанайская сказка «Солнце народа» рассказывает о том, как богатырь Ленин «взял солнце в руки и повернул его самыми горячими лучами туда, где было темно, где страдали забитые люди». А когда землю постигло большое несчастье, когда умер Ленин, повествуется сказка, «самый близкий Ленину друг и товарищ» Сталин взял «из рук Ленина солнце и поднял его высоко-высоко. И с тех пор не гаснет на земле радость, потому что никогда ведь не может погаснуть солнце».

¹ «Жизнь и творчество А. П. Гайдара». М.-Л. Детгиз, 1951.

² «Сказки народов Севера». М. Гослитиздат, 1951.

СОДЕРЖАНИЕ

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ. Здравствуй, университет!	
<i>Роман (Окончание)</i>	3
САВВА ГОЛОВАНОВСКИЙ. Соседи. <i>Повесть в стихах.</i>	
Перевод с украинского Б. Иренина	125
ИВАН ПИНЯЕВ. В пути. <i>Стихи</i>	138

ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ. Люди, покорившие Дон . . .	139
---	-----

Н. В. ГОГОЛЬ

Л. МЫШКОВСКАЯ. Работа Гоголя над образом и словом	156
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Е. ГАЛЬПЕРИНА. «Рыцарь надежды»	173
М. ЧЕРНЕВИЧ. Виктор Гюго	177
Т. ЛИВАНОВА. Друг русского реалистического искусства	182
И. АРАМИЛЕВ. Образ советского судьи	186
НОВЫЕ КНИГИ	190

Главный редактор — **Панфёров Ф. И.**

Редколлегия: **Бабаевский С. П., Казымов П. А.** (зам. главного редактора),
Крупеников Л. А., Луконин М. К., Первенцев А. А., Прятков А. В.

Адрес редакции: Москва, ул. «Правды», 24, комн. 234, тел. ДЗ-32-37.

А — 10137. Тираж 130.000. Подписано к печати 31/ХІІ 1951 г. Печ. л. 12.

Изд. № 67.

В печ. л. 60 000 зн.

Заказ № 3087.

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

ГОССТРАХ

П Р И Н И М А Е Т
НА ДОБРОВОЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО

обстановку, одежду, обувь, музыкальные инструменты, книги, ноты, картины, пишущие и швейные машины, велосипеды и др.

ГОССТРАХ ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ,

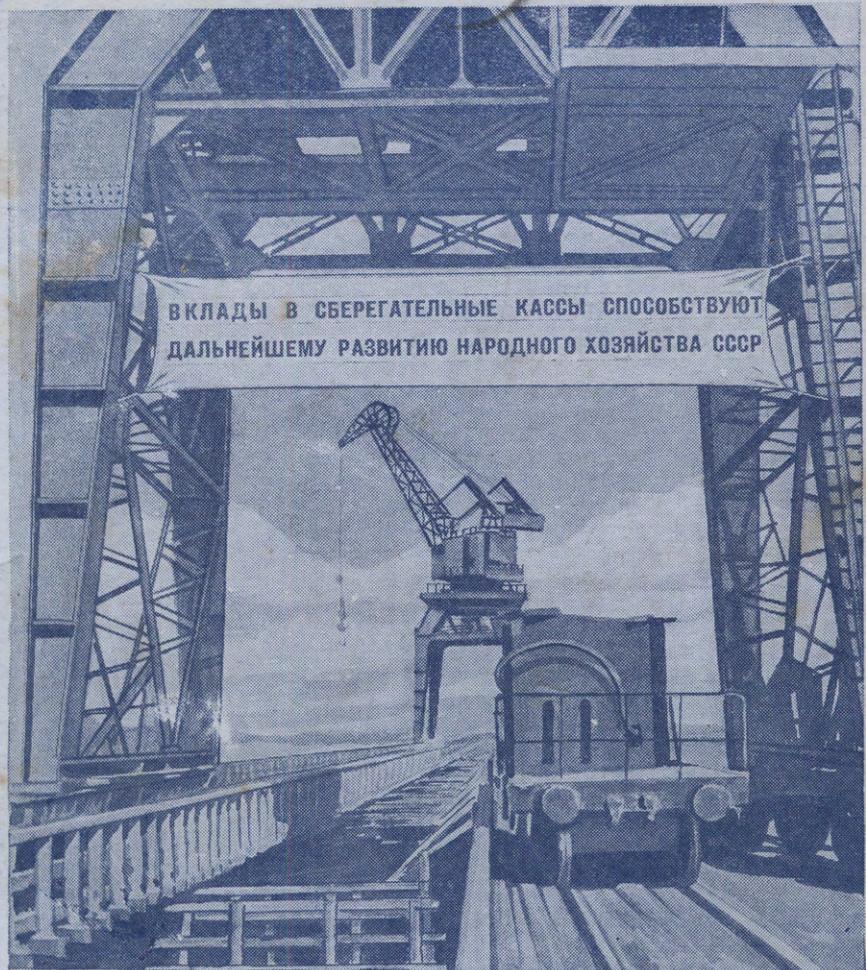
происшедшие от пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий

**Заклучайте и своевременно
возобновляйте договоры страхования
домашнего имущества!**

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ИНСПЕКЦИИ ИЛИ К АГЕНТАМ
ГОССТРАХА.

Управление государственного страхования по РСФСР.

Цена 5 руб.



СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ:

ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ до востребования, срочные, выигрышные, условные и на текущие счета;

ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ по первому требованию вкладчиков;

ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ из одной сберегательной кассы в другую;

ВЫДАЮТ и ОПЛАЧИВАЮТ АККРЕДИТИВЫ;

ВЫПЛАЧИВАЮТ ВЫИГРЫШИ по облигациям государственных займов.

ПО ВКЛАДАМ, ВНЕСЕННЫМ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ, ВКЛАДЧИКАМ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ДОХОД В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ И ВЫИГРЫШЕЙ.

**ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ
в сберегательных кассах!**